

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

---

ВОПРОСЫ  
ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 1952 ГОДУ

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

5

СЕНТЯБРЬ — ОКТЯБРЬ

---

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

МОСКВА — 1985

## СОДЕРЖАНИЕ

Трубачев О. Н. (Москва). Языкознание и этногенез славян. VI . . . . .	3
Швейцер А. Д. (Москва). Социолингвистические основы теории перевода . . . . .	15

### ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

Кононенко В. И. (Киев). Функционирование русского языка на Украине . . . . .	25
Вахтин Н. Б. (Ленинград). Некоторые особенности русско-алеутского двуязычия на Командорских островах . . . . .	35
Гюльмагомедов А. Г. (Махачкала). Роль русского языка в активизации некоторых процессов в лезгинском литературном языке . . . . .	46
Репина Т. А. (Ленинград). Лингвистические аспекты изучения художественного текста в трудах В. Ф. Шишмарева по истории литературы (К 110-летию со дня рождения) . . . . .	53
Береговская Э. М. (Смоленск). Проблема исследования зевгмы как риторической фигуры . . . . .	59

### МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

Волков С. С. (Ленинград). Общерусские и региональные исторические словари как база для исторической лексикологии русского языка . . . . .	68
Кутина Л. Л. (Ленинград). Элементы этимологического анализа в словаре исторического типа . . . . .	76
Судаков Г. В. (Вологда). Лексические диалектизмы и диалектные объединения языка Московской Руси . . . . .	83
Холодов Н. Н. (Иваново). Проблема отношений аналогичности и неаналогичности в синтаксисе . . . . .	94
Логачева Е. П. (Псков). О прототипах грамматических терминов в «Органоне» Аристотеля . . . . .	104
Биткеев П. Ц. (Элиста). Проблема долготности в фонологической системе ойратского языка . . . . .	111

### КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

#### Рецензии

Толстой Н. И. (Москва). <i>Čakavisch-deutsches Lexicon</i> . . . . .	121
Кодухов В. И. (Ленинград). <i>Шадури Т. Н. Общее языкознание</i> . . . . .	123
Кривонос А. Т. (Москва). <i>Бондаренко В. И. Отрицание как логико-грамматическая категория</i> . . . . .	125
Козинский И. Ш. (Москва). Типология результативных конструкций (результатив, стив, пассив, перфект) . . . . .	128
Ефимов А. Ю. (Москва). <i>Svantesson J.-O. Kammu phonology and morphology</i> . . . . .	132

### НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Хроникальные заметки . . . . .	135
--------------------------------	-----

### РЕДКОЛЛЕГИЯ:

*В. Г. Гак, А. В. Десницкая, Ю. Д. Дешериев, А. И. Домашнев,*  
*Ю. Н. Караулов, Г. А. Климов (отв. секретарь), А. Н. Кононов,*  
*В. З. Панфилов (зам. главного редактора), Б. А. Серебrenников, Н. А. Слюсарева,*  
*В. М. Солнцев (зам. главного редактора), Г. В. Степанов (главный редактор),*  
*О. Н. Трубачев, Д. Н. Шмелев*

Адрес редакции: 121019 Москва, Г-19, ул. Волхонка, 18/2. Институт русского языка, редакция журнала «Вопросы языкознания». Тел. 203-00-78

Зав. редакцией *И. В. Соболева*

ТРУБАЧЕВ О. Н.

ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ЭТНОГЕНЕЗ СЛАВЯН. VI \*

Дальнейшие германо-славянские аналогии  
и название железа

В последнее время много пишут о культуре металлов и о названиях металлов. Наше внимание привлекают названия железа в силу важности самого железа как металла и железного века, который, раз воцарившись в I тыс. до н. э., до сих пор в сущности продолжается и определяет культурную жизнь наших народов (о том, какой важной — датирующей — балто-славянской контактной инновацией является именно название железа, уже было упомянуто выше, о самом материале названий нам еще придется говорить).

Оказывается, что германцы сначала знали только бурый болотный железняк, откуда объясняется раннее германское название железа, хорошо засвидетельствованное в фин. *rauta* «железо» (древнее заимствование из германского), далее — в др.-исл. *raudí* «железо», «болотный железняк, руда, Raseneisenerz. Erz» [42], буквально «красное», ср. др.-исл. *rauda* «красный», нем. *rot*, англ. *red*.

В принципе так же шли дела у славян. Еще в молодости, при чтении книги Б. А. Рыбакова «Ремесло Древней Руси», мне запомнилось указание, что славяне, Древняя Русь, не зная еще открытых позднее горно-рудных месторождений и не завися даже от привозных источников сырья, начиная со скифской эпохи добывали железо в том виде, в котором оно встречалось буквально под ногами в лесной, лесостепной, болотной местности — в виде болотного железняка [43, с. 38, 123—124]. Этот источник добычи сохранял промышленное значение до XVIII в., но потом забылся, уступив место разработке горно-рудных месторождений. Однако следует помнить, что наша древнейшая терминология железа, включая название самого металла, порождена эпохой болотного железняка, потому что, забыв об этом, мы повторим ошибку историков, которые настаивают на привозных<sup>1</sup> источниках сырья ввиду удаленности месторождений ископаемых железных руд (впрочем, как удостоверяют археологи, криво-рожские железорудные залежи разрабатывались уже в скифское время). Но, как верно сказал Б. А. Рыбаков по этому поводу, «подход к древнему производству с мерками современной нам крупной промышленности не может дать точных результатов [43, с. 38].

Дальше требуется этимологический комментарий. Наше слово *руда*, слав. *\*ruda* формально и семантически было первоначально прилагательным женского рода со значением «красная, бурая, рыжая»; принадлежность к женскому роду была обусловлена употреблением в составе устойчивого словосочетания — праслав. *\*ruda zemja* «красная, бурая земля» — о буром железняке. Эта исходная адъективность формы и функции *\*ruda* поддается проверке на примере близкого, но самостоятельного субстантивированного употребления русск. диалектн. *руда* «кровь», на табуистический характер которого обратил внимание Фасмер. Последнее (название крови) тоже, видимо, восходит к особому двучлену *\*ruda voda* «красная вода» (иносказательно о крови). Таким образом, применительно к древней металлургии наших предков праслав. *\*ruda* обозначало бурую

\* «Языкознание и этногенез славян. V» см. ВЯ, 1985, № 4 (там же — сведения о предыдущих статьях серии).

земляную породу, иначе — болотный железняк, из которого добывалось железо. До сих пор, например, в.-луж. *ruda* значит не только «руда», но и «железняк, бурая земля», н.-луж. *ruda* — «болотный (или луговой) железняк; руда из болотного железняка; сырая, бурая железистая земля», а *Ruda* в качестве местного названия обозначает дуг с болотным железняком [44]. Вообще у славян, в частности, восточных славян, немало местных и водных названий *Ruda*. *Pyda* того же происхождения. Ясно, что слово \**ruda*, *pyda* изначально относилось только к железистой, железистой земле и к другим металлам, особенно к меди, не имело первоначально никакого отношения. «Интересно отметить, что главная масса болотных железных руд залегает именно там, где отсутствует медная руда» [43, с. 38].

В данном случае проявился независимый, но очень яркий и близкий германо-славянский параллелизм, причем — как в культурном плане (древние славяне, как и древние германцы, имели дело первоначально с железом из болотного железняка), так и в плане сходной языковой инновации, лексико-семантического новообразования: и.-е. \**roudh-* «красный» именно в языках древних германцев и древних славян было употреблено как обозначение болотной железной руды, болотного железняка.

Неприемлемо поэтому толкование русск. *pyda*, праслав. \**ruda* как заимствования из шумер. *urudu* «медь». Это старое и случайное сближение вызывало сомнения в общем всегда, что со стороны фонетической формы убедительно показал еще Брюкнер: «Ошибочно выводят название *rudy* „рыжий“ из шумерского *urudu* „медь“; гласные этого корня *rūd-*, *reud-*, *roud-* доказывают его принадлежность к арийской (индоевропейской. — Т. О.) общности, а *urudu* случайно звучит похоже» [45]. Несмотря на давний интерес к шумер. *urudu*, фигурировавшему в перечнях ближневосточно-индоевропейских лексических сходжений, следует признать, что здесь все-таки преобладали слишком беглые взгляды и кривотолки (заимствовано как культурное слово из шумерского в индоевропейские языки или наоборот — из индоевропейского в шумерский [см. 46, 47]). Кроме совершенно недвусмысленных лингвистических показаний в пользу исконности происхождения русск. *pyda*, праслав. \**ruda*, которое можно считать вполне удовлетворительно объясненным словом, против сближения \**ruda* — *urudu* говорит семантическая эволюция праславянского слова, весь культурный фон. Очевидно, что праслав. \**ruda* «болотный железняк, бурая железистая земляная порода» и шумер. *urudu* «медь» не имеют ничего общего между собой. Номенклатура железа, железной руды, с одной стороны, и меди — с другой стороны, явно гетерогенны, как гетерогенны и разноместны месторождения болотного железа и медной руды (о чем — выше). Нельзя считать удачными поэтому новые попытки возродить толкование русск. *pyda*, слав. \**ruda* из шумер. *urudu* [см. 13, с. 111; 48, с. 22], тем более, что авторы этой новой попытки не добавили никаких новых конкретных лингвистических аргументов в пользу старого формального сближения и — что вызывает особенное сожаление — не уделили внимания резервам внутриславянского и индоевропейского объяснения слав. \**ruda* и родственных слов, о которых мы рассказали несколько подробнее выше.

Очерченный кратко эпизод германо-славянского культурно-языкового параллелизма в использовании болотного железняка и применения к этому виду железной руды местного продолжения индоевропейского обозначения красного цвета не затухает, однако, самобытных, различных путей дальнейшего формирования лексики железа у германцев и у славян. Здесь мы, действительно, имеем возможность говорить о свободной германо-славянской аналогии. Положение усложнилось тем, что в игру вступил третий мощный этнос, повлиявший как на германцев, так и на славян именно в области культуры железа. Как раз на эту эпоху приходится расцвет культуры, которая, будучи этнически кельтской, получила название гальштатской по месту находки Hallstatt в альпийской части Австрии, неподалеку от Зальцбурга. Эти районы были ареной восточной экспансии кельтов, охватившей затем территориально близкие

Норик<sup>1</sup>, Паннонию, Среднее Подунавье, т. е. древний праславянский ареал, о чем с разных сторон мы уже говорили. Похоже, что праславяне, придя в движение под воздействием этой кельтской экспансии, увлекли кельтов за собой в Южную Польшу, на Вислу, и даже дальше на северо-восток, в Среднее Поднепровье, ср. отмечавшееся археологами наличие предположительно кельтских предметов гальштатской культуры в Поднестровье (ср. в общем там же, кстати, и кельтский топоним *Карробоуон* ~ *Каменец-Подольский*), а также предметов латенской культуры в составе зарубинецкой археологической культуры Среднего Поднепровья.

Для германцев кельты также были в течение длительного времени мощным культурным соседом с юга. Это привело к ряду важных культурно-языковых заимствований, которые практически всегда шли в одном направлении: с кельтского Юга на германский Север. И германская терминология железа подпала под кельтское влияние: название металла железом германцы заимствовали у кельтов — нем. *Eisen*, англ. *iron*. Славяне также многим обязаны культуре кельтов; опуская здесь прочие свидетельства разностороннего влияния кельтской культуры на славян (см. о них отчасти в ранее опубликованных статьях данной серии), упомянем о деятельности кельтов как прекрасных металлургов своего времени. Существует даже мнение, что распространение знакомства с железом, добытым из болотного, лугового железняка, — дело рук кельтов [49]. Следы железоделательного промысла кельтов находят и в Южной Польше, в непосредственной близости от современного металлургического комбината Новая Гута им. В. И. Ленина. Однако, в отличие от германцев, славяне не переняли название этого металла у кельтов, а образовали свое собственное, из исконнославянских элементов: праслав. *\*želězo*, русск. *железо* и т. д. (близкие формы во всех славянских языках).

Этимология славянского названия железа, которой посвящено наше дальнейшее изложение, прекрасно укладывается в эпизод культуры болотного железняка и стоит того, чтобы на ней остановиться особо. До самого недавнего времени выходят публикации со все новыми гипотезами о происхождении слав. *\*želězo*, тогда как давно уже имеется возможность в этом вопросе резко сократить число вероятных решений и остановиться на одном из них как единственно отвечающем требованиям языкознания и истории культуры.

Славянское название железа входит в число старых, праславянских названий семи основных металлов (золото, серебро, железо, медь, свинец, олово, ртуть), которые были известны праславянам [50]. Все индоевропейские названия металлов исключительно ареальны, и, если, например, посмотреть на них из славянской перспективы, то родственные соответствия охватывают в лучшем случае три-четыре древних диалектных группы. Наиболее распространенными при этом оказываются соответствия славянскому названию золота — в германском, диалектно — в восточнобалтийском (латышском) и, по-видимому, во фракийском, что, возможно, позволяет усмотреть территориальную близость к древнему центру добычи золота в Трансильвании. Близкие формы названия серебра объединяют славянский, балтийский и германский (несколько напоминающая отношения названий золота), но это отношения не родства, а древнего заимствования.

Так, восточнобалтийские названия серебра восходят к архетипу *\*sudrab-/sidabr-*, германские — к *\*silubr-/silabr-* и славянские — к *\*sirabr-*, представляя собой разные (самостоятельные) преобразования некоего исходного, вероятно, индоарийского, *\*sub(h)ri apa* «светлая вода», с проведенной уже сатэмизацией и предположительной локализацией в Предкавказье, на Кубани, важном перевалочном центре при импортировании серебра с Востока на Запад, в Северное Причерноморье и Центрально-Восточную Европу. Результаты исследования на эту тему были опубликованы мной несколько лет тому назад, см. [31, с. 95 и сл.]. Эта

<sup>1</sup> Здесь было сосредоточено производство особого сорта железа — «норикского железа» (*ferrum Noricum* античных авторов), о чем специально — в цитированной нами ранее книге Альфельди о Норике, см. [22, с. 113, 284].

работа осталась неизвестной авторам новейшего опыта о «протоиндоевропейском серебре» [52, с. 1 и сл.], хотя их вывод («...ясно, что серебро распространилось либо из Прикубанья, либо через Прикубанье в Северное Причерноморье...») в сущности дублирует мою мысль «о кубанском происхождении восточноевропейских названий серебра» [51, с. 99]. Говорить о «протоиндоевропейском» названии серебра можно также лишь с оговоркой, что все эти названия региональны, имея, при этом в виду и названия с корнем *\*arg-* «светлый, блестящий», ср. диалектный характер суффиксальных производных от него: *\*arġ-ent-o-/\*arġ-nt-o-* (индоиран., арм., лат., кельт.), *\*arg-ur-o-* (греч., иллир.), есть и переходные между ними типы (тохар.). Таким образом, в отличие от золота, серебро импортировалось в Древнюю Европу извне, причем в Северной Европе вплоть до эпохи железа оно вообще отсутствовало (см. [52, с. 9] и карту там же, на с. 1, где районы распространения древнейшего серебра в Европе III—IV тыс. до н. э. находятся в основном на юге от Карпат). Известные диалектные индоевропейские прототипы названий серебра распределяются в остальном на южные (*\*arġnto-*, *\*arġuro-*) и восточные (*\*sibrap-/\*subrap-* < индоар., см. выше). Оба древних диалектных прототипа обнаруживают исходное для термина «серебро» значение «светлый, белый».

В заключение excursus о серебре представляется полезным в методологическом отношении напомнить произведенное в моей работе [51, с. 97—98] сопоставление исторической и лингвистической моделей решения проблемы «серебро у славян». Из них первая (и с т о р и ч е с к а я) более близка к горизонту собственно письменной истории, излишне опирается на фактор римской торговли, европейского ювелирного и монетного дела и в итоге не может решить загадку происхождения славянского названия и реалии серебра, ключ к которой лежит не на европейском Западе, а на Востоке (и в гораздо большей древности), что давно предполагала вторая (л и н г в и с т и ч е с к а я) модель проблемы «серебро у славян», хотя до недавнего времени не удавалось конкретизировать этот восточный источник, о котором — у нас, выше.

Встречающиеся иногда высказывания о картвельском (грузинском) происхождении славянского, балтийского и германского названия серебра маловероятны.

Вообще, разумеется, названия металлов — это культурные слова, которые вполне могут служить предметом заимствования, как и сама реальность — металл. Однако подобную возможность нет оснований чрезмерно обобщать, так как это может вести на неверный путь. Ясно, что терминология металлов обладает первостепенным значением при решении не только лингвистических, но и этнолингвистических вопросов. Не случайно, возможно, славянское название железа оказывается общим или близким с соответствующим балтийским названием металла (ср. у нас ранее о потенциальной датирующей способности этого названия в вопросе балто-славянских отношений), а название меди (слав. *\*měďь*) совершенно различно у балтов и славян, как бы сигнализируя большие различия в языковых переживаниях между теми и другими в соответствующую более древнюю эпоху — эпоху бронзы, при всей, впрочем, недостаточной ясности этимологии славянского названия меди (к диалектн. праслав. *\*směďь/\*sněďь* «желтоватый»? Известная этимология В. И. Абаева, выводящая слав. *\*měďь* из иранского названия страны *māda-* «Мидия» через греческое посредство, все-таки сомнительна).

В новой книге Вяч. Вс. Иванова «История славянских и балканских названий металлов» читаем: «Балт. *\*g<sup>h</sup>elġh-* (лит. *geležis* „железо“, диал. жем. *gelžis*, латыш. *dzelzs* „железо“, прус. *gelso*), как и слав. *g<sup>h</sup>elġh-*, русск. *железо* и т. п., закономерно соответствует греч. *\*k<sup>h</sup>l̥k-* > *χαλκ-*, что позволяет возвести данное общее заимствование к исключительно раннему времени, когда соответствующие „восточные“ индоевропейские диалекты представляли единое целое. В свете приведенных данных возможной датой заимствования представляется III тыс. до н. э.» [48, с. 99]. Итак, предлагается гипотеза о заимствовании славянского названия желе-

за из слова хаттского (малоазийского неиндоевропейского) языка *ḥapalki* или *ḥawalki* (с вероятным чтением *xaflki*) «железо», откуда таким путем объясняется название меди — греч. χαλκός, микен. греч. ka-ko [48, с. 95, 98]. Автор подробно говорит о структуре хатт. *ḥawalki*, а также о структурно близких древних словах этого языка, но практически не останавливается на лингвистической характеристике интересующих нас славянских и балтийских слов. Впрочем, хаттская словообразовательная характеристика для нас тоже по-своему поучительна. Так, оказывается, что слово *ḥawalki* «железо» — это образование с префиксом *ḥa-*. Далее, интересно узнать, что груз. *rḱina* «железо» и арм. *erhat* «то же», которые, по-видимому, действительно заимствованы на Южном Кавказе из малоазийского хаттского языка, не имеют отражений этого префикса вообще. Напомню, что и в слове *барс*, которое Вяч. Вс. Иванов правдоподобно объясняет как восходящее к хаттскому *ḥa- prašsun*, начальное *ḥa-* тоже не передается при заимствовании. После этого мы можем усомниться в том, что χαλκός является «греческой передачей хатти *xaflk* [48, с. 98].

Если верно, что индоевропейцы были носителями металлургии бронзы и бронза была единственным металлом древних индоевропейцев [48, с. 32], то маловероятно постулировать неиндоевропейское заимствованное происхождение названия железа для времени, по сути предшествующего даже бронзовому веку, каким было III тысячелетие до н. э. В эпоху, когда не было еще хозяйственного использования металлов вообще, не было необходимости в заимствовании названия железа, с добычей и применением которого познакомились едва только в I тыс. до н. э. Этот контраргумент действителен и против Мейе и его последователей, которые видели в слове \**želězo* неиндоевропейское либо восточное заимствование.

Таким образом, толкование слав. \**želězo* из хатт. *ḥapalki* можно оправдать лишь верой в примат древней ближневосточной культуры (в частности, металлургии), но эти мотивы не могут нам заменить лингвистической аргументации. Названная этимология не выдерживает проверки известными лингвистическими фактами, как впрочем, и данными местной (европейской) культурной ситуации. Слав. \**želězo* и балт. \**gel(e)ž-* элементарно не соответствуют фонетически хатт. *ḥapalki/ḥawalki* и не могут быть получены из него путем заимствования, ср. звонкое согласное начало в и.-е. диалектн. \**ghel(e)ǵh-*, лежащем в основе славянского и балтийского слов, при начальном [ха-] в упомянутом малоазийском термине, не говоря уже о том, что, как выяснилось по вероятным параллелям заимствований из хаттского, префиксальное *ḥa-* при достоверных заимствованиях в другие языки не сохраняется.

Но имеются и другие веские возражения. Самым слабым местом этимологий, объясняющих слав. \**želězo*, русск. *железо* как культурное заимствование из другого языка, является то, что авторы таких этимологий всякий раз забывают нам сказать, как же они в таком случае объясняют слово *железá*. А это упущение, характерное, кстати, для всех старых и новых сторонников заимствования названий железа<sup>2</sup>, можно сказать, все решает: от правильной оценки слова *железá* зависит (как говорят немцы: *steht und fällt damit*) правильный вывод о происхождении названия

<sup>2</sup> Так, например, железой (в животном организме) совершенно не интересуется и Генри Лиминг, когда он предлагает нам свою особую этимологию слав. \**želězo* из первоначального сложения \**žel-ěz-*, где первый компонент \**žel-* — цветообозначение, родственное \**žiltъ*, желтый, а второй компонент \**ěz-*, «если ž(ять) — дифтонгического происхождения» (мы пытаемся показать далее, что здесь имела место долгота — продление, не совместимая с дифтонгом), связан, по мнению Лиминга, с гот. *aiz* «бронза, медь» в том смысле, что слав. \**ěz-* заимствовано из гот. *aiz* [53]. В целом все очень сомнительно, поскольку семантическая реконструкция \**želězo* как «желтая медь» или «желтая руда» (Лиминг) противоречит всему, что известно о металле железо и способах его номинации. Железо — это не цветной, а «черный» металл, и металлургия железа — «черная» металлургия, и это нельзя игнорировать при этимологизации. Сам Г. Лиминг приводит примеры именно такой номинации железа — др.-инд. *śyātam āyas, kulāyasa, kṛṣṇāyas* «черный, темный, темно-синий металл», в отличие от ясного, блестящего, красного металла — меди, *lohitam āyas, lohīāyas*, в соответствии с толкованиями М. Мольер-Уильямса и О. Шрадера, но, к сожалению, Лиминг не заметил, что этот материал противоречит его собственной этимологии и реконструкции \**želězo* как «желтая руда».

металла. Именно так, а не наоборот: этимологию слова *железо* надо начинать с этимологии слова *железѧ*. Лишь на этом пути возможен выход из тупиковой ситуации, в которую зашла этимологизация названия железа. Поскольку при этом убедительно демонстрируется случай, когда культурное слово (название хозяйственно важного металла) получается не через межъязыковое заимствование, а как бы «рекрутируется» из местной обиходной лексики, пример этот может, кажется, представить и общеметодологический, а не только узкоспециальный этимологический интерес.

Наша этимология строится, как это видно, на постулате родственной связи (исторического тождества) слов *железо* и *железѧ*, против которой не имеет смысла спорить. Древний, очевидный характер связи слав. \**želězo*: \**zel(e)za* виден из самобытного полного параллелизма этим отношениям в литов. *geležis* «железо»: *geležuonys, geležuones* мн. «железѧ (в теле)». Слово *железѧ* (в животном теле) среди русских словарей не нашло, кажется, самое лучшее и вышуклое толкование у Даля, бывшего, кстати, не только лексикографом, но и медиком: «к л у б о ч е к, зернистый снаряд, через который проходят сосуды для выработки каких-либо соков» (ясно, что этимолог предпочтет недостаточно характеризующему и вместе с тем неэкономному толкованию современного четырехтомного словаря русского языка: *железѧ* — «орган у человека и животных»... (следуют лингвистически менее релевантные научные сведения о секреции) — именно далевское толкование как более характерное). О заимствовании названия железы (животной) с Ближнего Востока не может быть речи, в то же время родство слов *железо* и *железѧ* (животная) совершенно очевидно. Оно имеет свои лингвистические и культурно-исторические основания, к рассмотрению которых мы переходим. Название металла *железо* производно на исконнославянской языковой почве от названия животной железы, а не наоборот. Об этом говорят все лингвистические данные, составляющие семасиологию, акцентологию и этимологию (образование) слова *железо*. Продуктом первичной номинации явилось значение «железѧ животного организма»; от этого термина и значения вторично мотивировано искомое нами значение «железо-металл». Чтобы понять, почему состоялась эта семантическая деривация, надо учитывать неоднократно упоминаемую нами выше архаическую культурную стадию добычи и обработки болотной железной руды, болотного железняка. Прийти к такому пониманию не всегда легко, даже историков культуры и археологов озадачивала ситуация, когда они сталкивались с наличием раннего железоделательного промысла при отсутствии следов горнорудного промысла, например, в раннесредневековой Польше.

Между значениями «металл железо» и «железѧ животная» не было непреодолимой пропасти, во всяком случае — в начальной стадии: образ клубочка, комочка (кстати, сюда же, но с другим суффиксом принадлежит слово *желвак*, что знал уже Даль) был использован для фигурального обозначения железа именно в том виде, в котором им впервые заинтересовались славяне (и не только они одни — на ранней стадии), — в виде болотного железняка. «По внешнему виду болотная руда представляет собой плотные тяжелые землистые комья красно-рыжего оттенка» [43, с. 125]. Кстати, в упоминавшейся нами книге [48], где собрана масса информации о добычании и металлургии метеоритного и земного ископаемого железа, ни словом не упоминается как раз культура болотного железняка, без чего просто невозможно понять древнюю европейскую (славянскую, балтийскую, германскую) лексику железа и ее истории, а без соблюдения этого условия, в свою очередь, несколько иной оказывается картина славянской языковой и этнической древности; она невольно подвергается искажению.

Принимая членение слова \**žel-ězo*, где *-ěz-* — суффикс, а корень восходит к и.-е. \**ghel-*, выступающему в разных названиях шишек, желваков, камешков, ср. сюда \**žely* «черепашка», русск. *желвак* — с расширением *-ŭ-*, мы тем самым во всем существенном остаемся при своей давней этимологии, см. [54]. Разумеется, сейчас многое стало ясно (культурный аспект болотного железа), есть что добавить; так родился нынешний

новый этюд по номенклатуре железа. Тогда, давно, не была еще продумана связь с названием животной железы. Попутно заметим, что нет принципиальной разницы в обозначении желваков органических (животных) и неорганических. Прочая старая литература отражена у Фасмера (см. [55, с. 42—43]), где и сомнительное сближение с именем железоделателей тельхинов.

В плане наших изучений исключительно интересно темное до сих пор латинское название железа — *ferrum*. И здесь поиски, вероятно, следует продолжать не в направлении установления крайне сомнительного древнего заимствования (см. [56], с древнееврейскими, сирийскими и ассирийскими параллелями), а в плане реконструкции культурно-языковой ситуации, пережитой также другими индоевропейскими племенами Европы, — культуры болотного железа и его комковатой, сыпучей, земляной породы, в связи с чем наиболее вероятная реконструкция из возможных — *ferrum* < \*fersom < \*dhersom. Эта последняя праформа отнюдь не изолирована среди индоевропейского словарного состава и для нее могут быть указаны родственные формы и значения, весьма перспективные как для древней индоевропейской диалектологии, так и для культурно-исторической реконструкции, занимающей нас здесь. Так, лат. *ferrum* (\*dhersom), по-видимому, этимологически родственно нем. *Druse* «verwittertes Erz» (откуда заимствован наш минералогический термин *дрюза* «группа кристаллов, сростшихся в основании») < герм. \*drōs- < и.е. \*dhrōs-/\*dhrās-. Очень поучительно для нас здесь тесное родство этого минерального *Druse* и немецкого названия животной железы — *Drüse*, др.-в.-нем., ср.-в.-нем. *druos*, ср.-н.-нем. *drōse drüse* (см. [57], где дается несколько отличная реконструкция герм. \*prōs, а лат. *ferrum* не привлечено совсем). Между тем родство и.-е. \*dher-s-om и \*dhr-ōs- (с допустимыми вариациями огласовки корня и суффикса) довольно правдоподобно, и оно, к тому же, позволяет углубить дометаллическую семантику лат. *ferrum* «железо» в направлении, обследуемом нами на примере слав. \*želězo: «конгломерат кристаллов; комочек», откуда тоже лексикализовалось побочно «железá» (*Druse: Drüse*), что определяется комочкообразным видом как соответствующей минеральной породы, так и соответствующего животного органа. Далее, сюда же, видимо, следует все-таки отнести такое название крупного песка, гравия, т. е. осадочных пород, как русск. *дресва́*, словен. *dřstev*, польск. *drzqstwo*, чеш. *drst* «мусор» — из праслав. \*dresva/\*drěsva (это слово, обескураживающее неустойчивостью своих вариантов, например, русск. диалектн. *зверста́, хверсть, грества́, жерства́, жерста, сербохорв. звр̑ст*, было признано неясным у Фасмера, ср. и вторичные созвучия с явно звукоподражательными, в свою очередь, литов. *gai gđždas* «крупный песок, гравий», *žvii gždas* «то же»; по этим соображениям оно не было в свое время включено в Этимологический словарь славянских языков, что, впрочем, можно сейчас пересмотреть в пользу вывода о древности особого праслав. \*dresva — не из и.-е. \*der- «драть», а из и.-е. \*dhre-s- в названиях осадка, осадочных пород, ср. [58: *dher-, dherð-*]). В итоге мы получаем немаловажную культурно-историческую изоглоссу (изолексу), связывающую германский, славянский и латинский на уровне индоевропейских диалектов: \*dhrōs- (*Druse/Drüse*) «комочкообразная порода; животная железа» — \*dhres- (*дресва*) «осадочная, крупнозернистая порода» — \*dhersom (*ferrum* «железо» <) «комочкообразная порода». Это сближение приоткрывает средствами языкознания завесу над предысторией европейской черной металлургии, каковой для ряда индоевропейских племен древней Европы была эпоха болотного железяка в районах, где, видимо, были привычны и болота, и луговые пространства (можно при этом вспомнить нашу латинско-славянскую параллель *pal-ud-* ~ \*pola voda).

Во всяком случае, не более предпочтительно, особенно в свете констатаций (выше), что железо (судя и по его разным старым обозначениям) — не «цветной» металл, спорное толкование Георгиева, который в свое время предполагал в лат. *ferrum* первоначальное цветообозначение \*gh<sup>v</sup>el-ro-m-«желтоватое» [59].

Собственно говоря, для наших целей (этимология слова *железо*) не так важен дальнейший словообразовательный анализ *\*žel-žz-o*), сколько отношение слов *железо* и *железá* и способы выражения мотивации одного из этих слов другим. Средствами выражения мотивации *железá* → → *железо* послужили (кроме семантической деривации, см. о ней выше) вокализм и акцентология. Оба слова скорее имитируют восточнославянское полногласие, причем *железá* и его соответствия — в большей степени (церк.-слав. *жѣлза* «*glandula*», русск. диалектн. *залозá, золóза*, укр. *залóза*, белорусск. *залозá*, чеш. *žláza*, словц. *žlaza*, болг. *жлезá*, сербохорв. *žlijèzda*, словен. *žléza*; в стороне остаются редукционные варианты — польск. *zólza*, в.-луж., н.-луж. *žalza*, укладывающиеся в характеристику исходной краткости, см. ниже), чем продолжения праслав. *\*želēzo*, где «полногласие» представлено повсюду. Но важно другое: слово *железа* последовательно обнаруживает более архаичный — к р а т к и й в о к а л и з м к о р н я, т. е. праслав. *\*žel(ě)zā*, с закономерным старым окончательным ударением в русск. *железá*, ср. сербохорв. *žlijèzda* [60], с правильным переносом ударения с краткого или циркумфлектированного (вин. пад. *жѣлзу*), слога на акутовый (исконно долгий слог окончания). В слове *железо* мы видим постоянное ударение на корне, совпадающее с долгой гласной (*\*želēzo*), что можно трактовать как акутовую долготу — продление в п р о и з в о д н о м слове. Отношения *\*želēzo* < *\*žel(e)za* напоминают при этом известный пример *ворóна* (акутовая долгота в производном *\*vōrnā*) ← *vóron* (циркумфлекс *\*vořnъ*), при имеющихся отличиях в деталях (в *ворона*: *ворон* представлена чистая формула *tort*). Важно главное: долгота *ě* в *\*želēzo* инновационна (об этом догадывались и раньше, это видно и по вокализму балтийских соответствий), эта долгота носит характер деривационного продления *e* → *ě* (на этот счет ясность отсутствовала, как и насчет родства *железо*: *железá*). Дифтонгическое происхождение *ě* в *\*želēzo* исключается. Балтийские формы представляют последовательно краткий вокализм корня — в вариантах *\*gelž-* и *\*gelež-*. Весьма любопытно, что отношения между «железой» и «железом» выражены в балтийском совсем не так, как в славянском, а весьма своеобразно: на производную суффиксальную форму *\*geležōn-* (литов. *gēležuonys, geležūnės*) перенесено непроизводное (исходное) значение «железа, желвак», а за непроизводной, исходной формой *\*gel(e)ž-* (литов. *gēležis*, диалектн. *gelžis*) закреплено производное, инновационное значение «железо», т. е. в духе нередко встречаемой нами в старых производных автономии (разнонаправленности, анизоморфизма) деривации словообразовательной и деривации семантической.

#### Концентричность культурных и языковых ареалов в Центральной Европе

Не вдаваясь здесь в обсуждение большого круга вопросов, связанных с известной новой гипотезой о ближневосточной прародине индоевропейцев, все же считаем очевидным, что в основе ее лежит серия преувеличений вроде только что разобранного нами критически в случае с железом, который при более детальном лингвистическом анализе, напротив, заставляет нас вернуться в древнюю индоевропейскую Европу, жившую и развивавшуюся в своих самобытных условиях.

Таким образом, ни Восток (вопреки Гимбутас), ни Средиземноморье (с этим как будто согласны все), ни Север Европы (древний климат!) не подходили для обитания древних индоевропейских племен. Так называемая Западная Европа была освоена индоевропейцами тоже вторично, причем отчасти — уже на глазах письменной истории (Британские острова — сначала кельтами, потом германцами, не считая других завоевателей). Остается — Центральная Европа. Напомним, что на ней же мы остановились и в поисках ареала древнейших славян. Мы возвращаемся, таким образом, к идее концентричности древнейшего славянского и индоевропейского ареалов — идее, которая не раз уже возникала в этой продол-

жающейся серии и которая, кажется, наиболее адекватно соотносится с лингвистической аргументацией (например, с проблемой кентум—сатэм, которую, вероятно, имеет смысл решать в понимании центрального положения наиболее продвинутого — сатэмного состояния, а не периферийного — юговосточноевропейского генезиса языков-сатэм, как до сих пор еще представляют дело некоторые авторы, например, [61, с. 411], и, разумеется, не игнорируя эту проблему вообще, как считают иногда возможным делать другие).

Однако при этом важно видеть не одно лишь обострение споров и умножение проблем, но и перспективы сближений и общих решений, разумные выходы из трудных ситуаций, созданных более слабыми или проблематичными сторонами концепций. Так, Т. Лер-Сплавиному, М. Рудницкому (и всей польской автохтонической школе), а также между прочим, нашим А. А. Шахматову и А. И. Соболевскому славяне выделялись с древнейших (догерманских) времен на Балтийском море. Сейчас языковедение способно противопоставить этим воззрениям ряд аргументов. О вторичном освоении Висло-Одерского бассейна с юга на север говорит наличие здесь ряда индоевропейских гидронимов без четкой славянской языковой характеристики, с чем, в сущности, согласны и польские автохтонисты, во всяком случае — некоторые из них (например, Роспонд). Выдвигается тем самым тезис о том, что славяне здесь не первые индоевропейцы (см. об этом также выше). В связи с этим может представить интерес один культурно-языковой ареал, полученный на основе синтеза согласных свидетельств археологии, письменной истории и языковедения. Ареал этот также простирается на более древнем Юге, в основном не захватывая Висло-Одерский бассейн. Он касается типов жилищ и их номенклатуры. Вопрос этот заслуживает внимания, поскольку типы жилищ обычно стойко сохраняют свою традиционность и могут служить весьма характерными отличиями этноса. Например, традиционное праславянское жилище — прямоугольная (полу)землянка с печью в углу наглядным образом отличает также восточных славян на Верхнем Днепре от соседних балтов с их столбовыми наземными жилищами (ср. [62]). Соответствующий пример почерпнут из 12-го выпуска Этимологического словаря славянских языков, где под реконструированной праславянской формой *\*kōtja* объединено характерное название дома или помещения с печью, прослеживаемое в языках южных и отчасти восточных славян, ср. прежде всего болг. *къща*, сербохорв. *кућа* и др. Этимологически и словообразовательно праслав. *\*kōtja* интерпретируется как первоначальное прилагательное женского рода, производное с суф. *-j-* от *\*kōtъ* («внутренний угол»; допустимо думать, что это прилагательное было устойчиво согласовано с словом *\*pektъ* «печь», т. е. *\*kōtja pektъ* значило «угловая печь, печь в углу». В связи с широко представленным значением отдельных славянских продолжений *\*kōtja* — «дом» и «помещение с печью» можно реконструировать более раннее (промежуточное) значение: «прямоугольное помещение с печью в углу» (известные нам особенности происхождения, состава и семантики слова *\*kōtja* не могли относиться, например, к жилищу овальной или круглой формы). Древний ареал слова *\*kōtja*, практически неизвестного западным славянам, близко соответствует археологически устанавливаемому ареалу прямоугольных землянок с очагом или печью в углу, типичному жилью древних славян, который, в свою очередь, накладывается на область примерного распространения склавен = славян по Иордану (VI в.): от Среднего Подунавья до Днестра и на север до Вислы. Ни типичное жилище древних славян, ни соответствующее ему название практически не представлены на позднейшей западнославянской (по Иордану — венедской) территории на Одере и Висле. Славяне, к этому времени, по-видимому, освоившие также и этот регион, приспособивались к новым видам жилищ, как приспособились они вторично и к бывшей здесь до них индоевропейской гидронимии и прочим новым условиям. Это еще один довод в пользу вторичной славянизации данного пространства на Севере, которое польским ученым-автохтонистам видится, наоборот, как извечная праславянская родина на Одере и Висле.

К сожалению, в основном повторение на удивление старых истин мы находим в новой, адресованной широкому читателю и, надо сказать, роскошно изданной книге компетентного чехословацкого археолога Зденека Вани — «Мир древних славян» [63], где встречаем на каждом шагу утверждения, с которыми полемизируем на страницах «Вопросов языкознания», а именно — что «до этногенеза славян дело дошло гораздо позднее, чем у кельтов и германцев», что их этногенез протекал «в отдаленных окраинах Восточной Европы», что славяне выделились из первоначального индоевропейского единства (?) последними и поэтому они — «самая молодая» индоевропейская ветвь. З. Ваня примыкает также к висло-одерской теории прародины славян в общем — без новых аргументов, потому что утверждение о «чисто славянских названиях» между Одером и Вислой не является ни новым, ни верным (полным) аргументом. Говоря о пражском типе славянской керамики, «находки которого покрывают южную часть нынешней Польши и ГДР и всю чехословацкую территорию с ответвлениями в австрийское Подунавье», автор делает вывод: «Из этого только южную часть Польши и, может быть, восточную оконечность Словакии можно относить к первоначальному исходному ареалу славян; заселение остальной территории — это уже следствие славянской экспансии» [63, с. 22]. Однако «пражская» керамика в Подунавье — не изолированный феномен, она территориально согласуется с распространением типично славянских прямоугольных земляных жилищ с печью в углу и с распространением склавен по Иордану (на север до Вислы!). Совокупность этих явлений не получила объяснения в книге З. Вани. Факт позднего появления единообразной пражской (пражско-корчакской) керамики у славян — в VI в. н. э. — автор толкует очень упрощенно, видя в этом доказательство поздней датировки славянского этногенеза — IV—V вв., гуннское время! Он забывает при этом, что наука давно располагает фактами славяно-иранских и славяно-кельтских языковых отношений, которые нельзя датировать позднее середины — второй половины I тыс. до н. э. Славянский этнос и язык тогда уже достоверно существовали. В широком распространении славянской керамики единообразного пражского типа в VI в. н. э. надо видеть только то, что есть, — распространение популярной моды в подходящих условиях, но уж, конечно, не символ завершения этногенеза славян. Некоторые высказывают мнение, что пражская культура VI в. н. э. — это свидетельство вторичного возрождения славянского единства [64], но и здесь содержится сильное преувеличение и, в конечном счете, неточность.

Во всяком случае именно в Подунавье и чешских землях древние славяне смешивались не только с более поздними германцами, но и с более древним неславянским темноволосым населением, видимо, кельтского происхождения, как это выявляют чехословацкие археологи в Средней Чехии (Podřipsko). И, хотя интерпретации все еще расходятся, лингвистическое исследование уже считается с фактом наличия относительно более развитой ранней металлургической терминологии именно в славянских языках дунайского ареала, например, в чешском, с соответствиями в кельтском и латинском (см. [65]).

Однако мне не хотелось бы быть понятым только в том смысле, что меня единственно заботит полное одоление висло-одерской концепции прародины славян. Продолжая считать ее крайней концепцией, я все же думаю, что отметить начисто точку зрения оппонентов было бы и в данном вопросе едва ли плодотворно и полезно для науки. Поэтому целесообразно внимательно присмотреться к тому, что не только не вызывает противоречий, но и может быть плодотворно развито: это ю ж н ы й ф л а н г в и с л о - о д е р с к о г о а р е а л а, который приблизительно совпадает с северной периферией среднедунайского славянского ареала по нашей концепции. Уже на киевском съезде славистов в 1983 году в дискуссии было высказано мнение, что наиболее проблематичен — в понимании сторонников висло-одерской теории — как раз южный фланг этого ареала, т. е. он как бы открыт и допускает ту или иную коррекцию. Надеюсь, я не очень удивлю читателя, если предложу одну такую кардинальную

коррекцию в духе всего того, что уже высказано мной в нынешней серии по этногенезу, а также в итоге длительного изучения трудов польской автохтонистской школы: примирение висло-одерской и дунайской теорий древнейшего славянского ареала возможно, если гипотетический висло-одерский праславянский ареал как бы «осадить» по широтной шкале к Югу, не меняя его меридиональных параметров, которые у него фактически оказываются близкими к аналогичным параметрам дунайского ареала славян, разрабатываемого выше. Современная висло-одерская концепция, как она есть, фиксирует, скорее всего, не извечную прародину славян, а их раннюю северную миграцию в духе уже рассмотренной нами традиции общеевропейской подвижки Север ↔ Юг. Не следует особенно настаивать (как это делают отдельные сторонники висло-одерской теории) на том, что висло-одерская локализация праславян якобы продиктована ранними германо-славянскими связями. И эти, и другие контакты логично мыслить также на более южных широтах. Особенно же это относится к кельтам, которые далеко на север не проникали. Кельтско-славянские контакты предполагала и висло-одерская теория (Лер-Сплавинский), но это оставалось слабым местом данной концепции, по которой эти контакты в географическом отношении как бы повисали в воздухе, а довольствоваться их локализацией лишь в Южной Польше, периферийной для кельтской экспансии (ср. и «Повесть временных лет» о волохах), недостаточно.

Продолжается, разумеется, диалог и с другими концепциями древнего славянского ареала, например, с предкарпатской теорией Удольфа, который в новых своих выступлениях (см. [66]) выдвигает попытки исторического объяснения единообразия исходного ономастического ландшафта и славянской преемственности в нем. Однако археологи, например, на основании данных о влиянии позднезарубинецких, черняховских и собственно славянских древностей VI—VII вв. говорят «о заселении Северо-Восточных Карпат на протяжении I тыс. н. э. выходцами из восточнославянских земель» [67], что тоже скорее свидетельствует против теории Удольфа.

### Из загадок на будущее

Прежде чем отложить перо, хотелось бы поделиться кое-чем из области догадок. Трудный путь к воссозданию этнолингвистической картины древнего славянства складывается, как это легко понять, далеко не из одних твердых находок и обобщений достигнутого, но из вереницы догадок, которыми обрастают любые поиски во времени и пространстве; они тревожат и смущают исследователя, а порой даже кажутся незрелыми и зыбкими. Но пройти мимо не задумываясь, быть может, равносильно добровольному отказу от разгадки новой тайны, новой информации не только и не столько о прародине, но и о масштабах мысленной ойкумены древних и древнейших славян, о которой прежде и не подозревали, как о том проблеске возможной синонимичности древнеиндийского названия Молочного моря «Северного Ледовитого океана» (*Kṣīra-samudra-*, *Kṣīradhi-*, *Kṣīr(amah)ārṇava-*, *Kṣīravāri*, *Kṣīrasāgara-*, *Kṣīrasindhū-*, *Kṣīrābdhi*, *Kṣīrāmbudhi* [см. 68—70]) и названия *Amalchius Oceanus* «mare congelatum, замерзшее море» в «Естественной истории» Плиния (Plin. NH IV, 95). Плиний, опираясь в своих сведениях на греческую традицию и записи, не дает ясного представления о локализации и идентификации, и отождествление *Amalchius Oceanus* = *Morimarus* (см. [71]; относительно второго названия и его принадлежности мы неоднократно писали в предыдущих частях нашей серии) может вызвать сомнения в свете других данных. Не отражено ли в форме *Amalchius* искаженное в греческой передаче праслав. \**melčъ*, \**melčьnъ* или даже предпраславянское \**mālkijā*-«м о л о ч н ы й»? (близкое название молока известно еще в германском и тохарском, но словообразовательная модель прилагательного с суфф. -j- все-таки, скорее всего сла-

вянская<sup>3</sup>. Значит ли это, что славяне древности знали самый северный океан планеты или до них по крайней мере доходили глухие предания о нем? Кому они обязаны этим знанием и какую роль играла при этом древнеиндийская традиция (в которой удивительно много сведений о Крайнем Севере и М о л о ч н о м море «Северном Ледовитом океане» [72])?

#### ЛИТЕРАТУРА

42. *Birkhan H.* Germanen und Kelten bis zum Ausgang der Römerzeit. Der Aussagewert von Wörtern und Sachen für die frühesten keltisch-germanischen Kulturbeziehungen. Wien, 1970, S. 141, примеч. 141.
43. *Рыбаков Б. А.* Ремесло Древней Руси. М., 1948.
44. *Schuster-Šewc H.* Historisch-etymologisches Wörterbuch der ober- und niedersorbischen Sprache. Hf. 16. Bautzen (в печати).
45. *Brückner A.* Słownik etymologiczny języka polskiego. Kraków, 1957, S. 272—273.
46. *Kilian L.* Zum Ursprung der Indogermanen. Forschungen aus Linguistik, Prähistorie und Anthropologie. Bonn, 1983, S. 34.
47. *Scherer A.* — In: die Urheimat der Indogermanen. Hrsg. von Scherer A. Darmstadt, 1968, S. 296.
48. *Иванов Вяч. Вс.* История славянских и балканских названий металлов. М., 1983.
49. *Bukowski Z.* Celtowie. — In: Mały słownik kultury dawnych Słowian. Pod red. Leceiejewicza L. Warszawa, 1972, S. 62.
50. *Mareš F. V.* Die Metalle bei den alten Slaven im Lichte des Wortschatzes. — RS, 1977, t. XXXVIII, cz. 1, S. 31 и сл.
51. *Трубачев О. Н.* Серебро. — В кн.: Восточнославянское и общее языкознание. М., 1978.
52. *Mallory J. P., Huld M. E.* Proto-Indo-European «Silver». — KZ, 1984, 97.
53. *Leeming H.* A Slavonic metal-name. — RS, 1978, t. XXXIX, cz. 1, s. 7 и сл.
54. *Трубачев О. Н.* Славянские этимологии 1—7. — В кн.: Вопросы славянского языкознания. II. М., 1957, с. 29 и сл.
55. *Фасмер М.* Этимологический словарь русского языка. Т. II. М., 1967.
56. *Walde A. — Hofm J. B.* Lateinisches etymologisches Wörterbuch. Hrsg. von Hofmann J. B. 4. Aufl. Bd. 1, Heidelberg, 1965, S. 485—486.
57. *Kluge F.* Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. 20. Aufl. Berlin, 1967, S. 145.
58. *Pokorny J.* Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Bd. I. Bern-München, 1959, S. 251.
59. *Georgiev V.* Lat. ferrum, griech. χαλκός, abg. želězo und Verwandtes. — KZ, 1936, LXIII, S. 250 и сл.
60. *Kiparsky V.* Der Wortakzent der russischen Schriftsprache. Heidelberg, 1962, S. 205.
61. *Schmid W. P.* Griechenland und Alteuropa im Blickfeld des Sprachhistorikers. Θεσσαλονίκη, 1983 (отд. отт.), с. 411.
62. *Третьяков П. Н.* По следам древних славянских племен. Л., 1982, с. 89.
63. *Váňa Z.* Svět dávných Slovanů. Artia, Praha, 1983.
64. *Пивторак Г. П.* Праслов'янська епоха у світлі сучасних наукових даних. — Мовознавство 1982, № 2, с. 41.
65. *Němec I.* Neistarsí české kovářské termíny. — Listy filologické, 1984, 107, s. 167 и сл.
66. *Udolph J.* Kritisches und Antikritisches zur Bedeutung slavischer Gewässernamen für die Ethnogenese der Slaven. — In: XV. Internationaler Kongreß für Namenforschung. Resümees der Vorträge und Mitteilungen. Leipzig, 1984, S. 197.
67. *Балагури Э. А.* Этно-культурная карта Северо-Восточных Карпат на рубеже нашей эры. — In: Rapports du IIIe Congrès International d'archéologie slave. Т. 2. Bratislava, 1980, s. 39.
68. *Böhtlingk O.* Sanskrit-Wörterbuch in kürzerer Fassung. Т. II. St. Petersburg, 1881, S. 127.
69. *Monier-Williams M.* A Sanskrit-English dictionary. New ed. Oxford, 1964, p. 329, 330.
70. *Кочергина В. А.* Санскритско-русский словарь. М., 1968, с. 182.
71. *Kowalewicz H.* Amalchijskie Morze. — In: Słownik starożytności słowiańskich. I, Wrocław — Warszawa — Kraków, 1961, s. 21.
72. *Бонгард-Левин Г. М., Грантовский Э. А.* От Скифии до Индии. М., 1983, passim.

<sup>3</sup> Ср. и ту сложную семантическую связь, которая установлена при этом, с одной стороны, с названием м о л о к а — праслав. \**melko* и, с другой стороны, с названием з а м е р з а ю щ е г о в о д о е м а, ср. сербохорв. *mlаkа* «лука, которая замерзает зимой» (см. [55, с. 645—646]).

ШВЕЙЦЕР А. Д.

## СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕОРИИ ПЕРЕВОДА

За последние годы как у нас в стране, так и за рубежом наблюдается значительная активизация научного поиска в области изучения перевода — этой сложной и в значительной мере еще непознанной сферы взаимодействия языков и культур. Появилось немало серьезных исследований, в том числе и лингвистических, проливающих новый свет на языковую природу процесса перевода [1—6]. Если в отношении ранних лингвистических работ по теории перевода были в известной мере справедливы слова советского переводчика и литературоведа И. А. Кашкина о том, что «лингвистическая теория перевода по необходимости ограничена рамками соотношения двух анализируемых языков» [7, с. 444], то в отношении исследований 70-х и 80-х годов такой упрек был бы явно необоснован. В центре внимания специалистов находится широкий круг вопросов, далеко выходящих за рамки узколингвистического подхода: стратегия переводческого решения, языковые и внеязыковые факторы, влияющие на процесс межъязыковой коммуникации, перевод как явление не только языковое, но и социально-культурное.

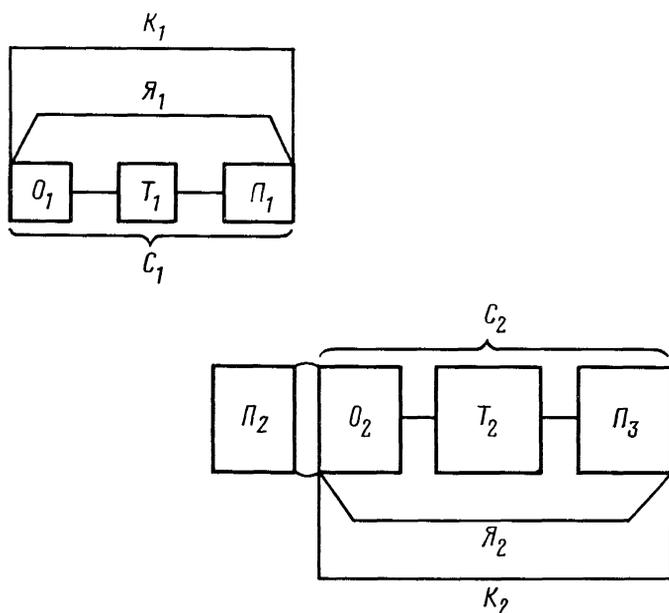
Современная лингвистическая теория перевода рассматривает перевод как особую коммуникативную ситуацию, в которой соприкасаются не только разные языки, но и разные этносы и социумы. Эта теория не сводится к простому перекодированию языковых единиц, а представляет собой сложный процесс создания нового текста — аналога оригинала, предназначенного для функционирования в совершенно иной социальноэтической среде.

Мощным стимулом для развития этого современного направления теории перевода явился поворот современного языкознания от ориентации на имманентные свойства языка и на статические описания внутрисистемных отношений к установке на раскрытие связей между языком и человеком, между языком и обществом, на выявление динамики функционирования языка в реальных ситуациях общения. Думается, что сотрудничество с возникшими в связи с этой новой ориентацией направлениями, в том числе с социалингвистикой, открывает широкие перспективы перед теорией перевода.

Социальная природа перевода за последние годы все больше привлекает к себе внимание исследователей. Так, один из основателей лейпцигской школы теории перевода О. Каде рассматривал перевод как важнейший вид языкового посредничества (Sprachmittlung), т. е. межъязыковой коммуникации, представляющей собой общественное явление — языковую деятельность людей, связанную общественными условиями и служащую общественным целям [8, с. 29]. В советском языкознании идеи О. Каде получили развитие в работах Л. К. Латышева, рассматривающего общественное предназначение перевода как его постоянный классифицирующий признак во всех его реализациях [9, с. 8].

Социальные аспекты перевода в той или иной форме получали известное освещение в работах по теории перевода. Однако в этих работах они чаще всего рассматривались разрозненно, без привлечения понятийного аппарата, разработанного современной социалингвистической теорией. Между тем есть основания полагать, что, будучи общественно детерминированным явлением, перевод обладает рядом существенных черт, входящих в сферу компетенции социалингвистики. Среди социалингвистических проблем, имеющих прямое отношение к переводу, следует, в первую

очередь, выделить такие, как «язык и социальная структура», «язык и культура», «язык и социология личности». В соответствии с этим важно рассмотреть следующие три стороны перевода: а) перевод как социально детерминированный коммуникативный процесс; б) социальная норма перевода; в) перевод как отражение социального мира.



Рассмотрим прежде всего социальные аспекты перевода как коммуникативного процесса. Обычно этот процесс изображается в виде известной схемы, включающей такие компоненты, как отправитель исходного текста ( $O_1$ ), исходный язык ( $Я_1$ ), исходный текст ( $T_1$ ), переводчик, действующий как получатель исходного текста ( $\Pi_2$ ), язык перевода ( $Я_2$ ), текст перевода ( $T_2$ ) и получатель перевода ( $\Pi_3$ ). Недостаток этой схемы в том, что она исходит из перевода как чисто языковой операции. Между тем, как справедливо отмечает В. Вильс, перевод следует скорее рассматривать как психолингвистический и социолингвистический процесс [5, с. 76]. Поскольку в нашу задачу не входит рассмотрение психолингвистических аспектов перевода, ограничимся ссылкой на то, что помимо двух языков — исходного и языка перевода — модель перевода как коммуникативного акта должна включать и две культуры, и две социальных ситуации. В самом деле, процесс перевода пересекает не только границы языков, но и границы культур. Создаваемый при этом текст транспонируется не только в другую языковую систему, но и в систему другой культуры. Вместе с тем он реализуется в рамках двух социальных ситуаций — ситуации ( $C_1$ ), участниками которой являются отправитель исходного текста и его получатель — носитель исходного языка и исходной культуры ( $K_1$ ), и ситуации ( $C_2$ ), в которой участвуют переводчик и воспринимающий текст перевода носитель другого языка и другой культуры ( $K_2$ ).

Рассматривая эту схему, следует, прежде всего, иметь в виду, что из множества лежащих в ее основе отношений для социолингвистической теории перевода особое значение приобретают прагматические отношения, т. е. иными словами, отношения между текстом и участниками коммуникативного акта — отправителями и получателями сообщения. Не случайно Ю. Найда, выдвинув на основе сходной схемы понятие динамической эквивалентности текстов при переводе, определил его как соответствие между восприятием исходного текста ( $T_1$ ) получателем ( $\Pi_1$ ) и восприятием текста перевода ( $T_2$ ) получателем перевода ( $\Pi_3$ ) [10, с. 202].

При этом следует подчеркнуть, что для теории перевода понятие «прагматический», как и для социолингвистики, приобретает не индивидуально-субъективное, а социально-объективное значение. Иными словами,

в теории перевода речь идет не о субъективной реакции конкретного получателя на данный текст, а о восприятии текста или, точнее, того или иного класса или типа текстов определенными социальными категориями получателей [11, с. 60].

Затронутый выше вопрос имеет принципиальное значение для теории перевода. Дело в том, что в некоторых работах по переводу высказывается мысль о том, что поскольку переводчик имеет дело не со всеми текстами данной эпохи или данного автора, а с отдельным конкретным текстом, теория перевода должна строиться не на создании общих моделей процесса перевода, а на выработке гибкой герменевтической стратегии интерпретации текста. «Наблюдение над отдельными текстами, — пишет сторонник этой концепции Р. Штольце, — важнее для адекватной деятельности переводчика, чем выдвижение гипотез об этой деятельности» [12, с. 201]. Думается, однако, что такой сугубо эмпирический подход противоречит самой сущности теории, которая всегда строится на обобщении, на выдвижении гипотез и их верификации. Попутно отметим, что, вступая в явное противоречие со своим постулатом, Р. Штольце в своих наблюдениях над отдельными текстами оказывается вынужденным оперировать такими обобщенными понятиями, как технический текст, юридический текст, экономический текст и др. В целом можно согласиться с А. Нойбертом, который усматривает собственно социолингвистический аспект перевода как коммуникативного процесса в том, каким образом в коммуникативной общности носителей языка перевода при данных социальных условиях реализуется потребность в переводе с учетом специфики данного класса текстов исходного языка [13, с. 54].

Рассмотрим различные виды социально обусловленных прагматических отношений, определяющих сущность перевода как коммуникативного акта. Прежде всего существенным для перевода представляется отношение «отправитель — текст» ( $O_1 — T_1$ ). Оно может быть охарактеризовано как коммуникативная установка отправителя или, иными словами, как прагматическая мотивация исходного текста.

Конкретные коммуникативные функции, выполняемые текстом в соответствии с его прагматической мотивацией, поддаются обобщению, на основе которого строится функциональная типология текстов. Одну из попыток создать такую типологию применительно к теории перевода предприняла К. Райсс, выделившая три основных типа текстов — информативный, экспрессивный и оперативный, соответствующих различаемым К. Бюлером трем функциям — обозначению, выражению и апелляции [14]. Еще ранее другая функциональная типология (Р. Якобсона) была использована для описания перевода как коммуникативного акта в моей книге [15, с. 66—68].

Важность учета функциональных характеристик текста связана с тем, что они в значительной мере определяют решение переводчика. Недостатком функциональных классификаций текстов является то, что они чаще всего сводят функциональную характеристику текста к какой-то одной функции. Между тем реальные тексты, с которыми имеет дело переводчик, как правило, полифункциональны. Именно в этой связи мною было в свое время выдвинуто положение о функциональных доминантах текста как о комплексе функциональных характеристик, играющих в нем ведущую роль, отвечающих коммуникативной установке отправителя и определяющих закономерности анализа и синтеза языковых средств. Специфичная для данного текста конфигурация функциональных доминант и образует тот инвариант, который сохраняется в процессе перевода [15, с. 68—70]. Впоследствии это положение легло в основу выдвинутого Р. Левицким тезиса о функциональной адекватности перевода, сформулированного следующим образом: «Функциональная адекватность обозначает аналогичность связей между компонентами переводного текста по отношению к связям между компонентами текста подлинника» [16, с. 70]. При этом под понятием связи компонентов подразумевается функция отдельных компонентов в относительно замкнутом, функционирующем в определенных культурно-общественных условиях тексте. Иными сло-

вами, в функционально адекватном переводе функции компонентов оригинального текста, образующие функциональные доминанты текста как целого, должны быть сохранены в максимальной степени.

Интерпретация прагматической мотивации оригинального текста и связанное с этим выявление его функциональных доминант определяют стратегию перевода. Это особенно ярко проявляется в тех случаях, когда передача одной из функциональных характеристик текста оказывается несовместимой или неполностью совместимой с передачей других. Ср. следующий пример из перевода на русский язык пьесы. Б. Шоу «Дом, где разбиваются сердца»: «M a z z i n i. The fact is, you dont strike on my box, and I certainly dont strike on yours.— M r s. H u s h a b y e. I see. Your marriage was a safety match». «М а д з и н и. Дело в том, что Вы, как бы это сказать, от меня не загоритесь, и я от Вас не загорюсь.— М и с с и с Х э ш е б а й. Понятно, Ваш брак, по-видимому, это нечто вроде пожарного крана».

Здесь важно было передать не сам каламбур (по английски *safety match* — это и «безопасная спичка», и «безопасный брак»), а выполняемую им экспрессивную функцию. Такой перевод повлек за собой известные модификации как смысловой, так и образной структуры оригинала.

Не менее важно с точки зрения определения конечного результата процесса перевода и отношение  $O_2$  —  $P_3$  (переводчик — получатель перевода). Здесь наиболее ярко проявляется то, что переводимый текст не только воплощается в материи другого языка, но и переносится в другую культуру. Об этом свидетельствует следующий пример из перевода на английский язык романа Достоевского «Идиот»: «... он останавливал прохожих и слогом Марлинского просил вспоможения под коварным предлогом, что он сам „по пятнадцати целковых давал просителям“». «He had been accosting passers-by in the florid style of Marlinsky and begging them for a few coppers under the artful pretext that in his time he used to give away as much as fifteen roubles to those in need».

Перевод этого отрывка требует преодоления не только социально-культурной, но и временной дистанции, отделяющей читателя оригинала — современника Достоевского от читателя перевода. Ведь если у первого имя русского писателя XIX в. Марлинского и его стиль связывались с совершенно определенными представлениями и социальными установками, то современный читатель (англичанин или американец) нуждается в раскрытии хотя бы наиболее существенных черт этой аллюзии. Именно этим объясняется то, что в переводе речь идет не просто о «слоге Марлинского», а о цветистом слоге (*florid style*).

В свое время А. Нойберт предложил классификацию текстов с учетом их ориентации на различные категории получателей: тексты, ориентированные на носителя исходного языка и исходной культуры, тексты, ориентированные на иноязычного получателя, носителя иной культуры, тексты, занимающие промежуточное положение между первыми и вторыми, и, наконец, тексты, лишенные специфической ориентации на носителя определенного языка и определенной культуры [17].

Тексты первой категории (некоторые законоположения, материалы местной прессы, освещающие внутренние события, реклама, рассчитанная на внутренний рынок, и др.) полностью исходят из специфических черт получателя исходного текста, из его знаний, психологии, из окружающей его социально-культурной среды. Тексты такого рода порой непонятны иноязычному получателю даже при наличии семантически точного перевода. Например, текст рекламы сигарет „Уинстон“ (*Bad grammar, good taste*) представляет собой понятную лишь американцу аллюзию (прежний текст — *Winston tastes good like a cigarette should* — вызвал многочисленные нарекания из-за того, что в нем в нарушение грамматической нормы использовалось *like* вместо *as*). Иными словами, тексты этой группы адресованы тем, кто владеет не только исходным языком, но и социально-культурными нормами его функционирования.

К текстам второй группы относятся различные материалы, адресованные иноязычному получателю. В идеале такие тексты не нуждаются

в культурной адаптации, поскольку они пишутся (или, по крайней мере, должны писаться) с учетом особенностей восприятия иноязычного читателя или слушателя. К третьей группе относятся произведения художественной литературы, созданные в первую очередь для носителей исходной культуры и исходного языка, но имеющие к тому же и общечеловеческую ценность. Такие тексты порой нуждаются в культурной адаптации, но, разумеется, не в такой мере, как тексты первой группы. И, наконец, последняя группа включает научные тексты, адресованные ученым, в равной мере знакомым с предметом и обладающим более или менее одинаковым объемом исходной информации. Культурная адаптация таких текстов сводится к учету находящейся в них отражение научной традиции, имеющей порой национальную и культурную специфику и воплощающейся в частичной несоизмеримости терминологических и понятийных систем.

Адаптация текста, связанная с его транспонированием в иную культуру, смыкается с одной из фундаментальных проблем социолингвистики — проблемой «язык и культура». В этой связи уместно вспомнить слова известного французского лингвиста Ж. Мунена, считающего, что переводчик, не выполняющий одновременно функции этнографа, не может полностью справиться со своей задачей [18]. Вместе с тем культурная адаптация текста — и в этом проявляется один из многочисленных парадоксов перевода — не может быть абсолютной. В самом деле, перевод произведения классиков, переводчик, с одной стороны, несомненно адаптирует текст, приближая его к современному читателю (например, произведение Шекспира переводится не на русский язык шекспировской эпохи, а на язык современный, легко воспринимаемый русским читателем XX в.), а, с другой, использует особые языковые средства для сохранения старинного колорита («патину», по образному выражению Вл. Россельса [19]). Поскольку эти средства не выстраиваются в ряд однозначных соответствий архаичным элементам оригинала, возникает необходимость в переводческой компенсации: потеря в одном месте текста компенсируется в другом. Так, в переводе М. А. Дьяконова фраза Теккерея из «Ярмарки тщеславия» *holding her green eyes downwards* приобретает старинный колорит: «потупив долу свои зеленые глаза». Зато в других местах из-за отсутствия подходящего соответствия переводчик был вынужден передавать архаичные элементы текста вполне современным русским языком. И в этом нет беды, т. к. отмеченные «патиной» элементы придают старинный колорит не отдельным словам, а тексту в целом.

То же самое относится и к преодолению дистанции между двумя культурами. Эта дистанция никогда полностью не исчезает. Абсолютизация принципа культурной адаптации приводит не только к утрате национального колорита оригинала, но и — при переводе на русский язык — к его русификации, против которой выступал еще Некрасовский «Современник», где был высмеян один из таких переводов [20, с. 79].

Важнейшими звеньями перевода как коммуникативного акта являются также отношения «оригинал — переводчик» ( $T_1$  —  $P_2$ ) и «переводчик — конечный текст» ( $O_2$  —  $T_2$ ), связанные с участием в этом акте переводчика. В идеале переводчик, выступающий в роли получателя исходного текста ( $P_2$ ) и отправителя текста перевода ( $O_2$ ), «входит в образ автора» и полностью перевоплощается в него. Однако такое перевоплощение осуществимо лишь в идеальной схеме перевода. На деле же переводчик, подобно актеру, перевоплощающемуся в действующее лицо драматического произведения, не утрачивает и своих личностных характеристик. Чем выше удельный вес творческого начала в процессе перевода, тем ярче сквозь текст перевода проступает личность самого переводчика, его социальные установки, ценностная художественно-эстетическая ориентация. «Во всяком мастерстве, в том числе и мастерстве перевода, — писал в свое время К. И. Чуковский, — неминусом отражается мастер» [20, с. 41]. Особенно рельефно личность переводчика проявляется в поэтическом переводе. В этом легко убедиться, сравнив, скажем, оригинал известной баллады Р. Бернса «Джон — Ячменное зерно» с переводами С. Маршака и Э. Баррицко: «There was three kings into the east,/Three

kings both great and high/. And they haе sworn a solemn oath/ John Barleycorn should die/. They took a plough and plough'd him down,/Put clods upon his head, /And they haе sworn a solemn oath/ John Barleycorn was dead». Перевод С. Маршака: «Трех королей разгневал он, / И было решено, / Что навсегда погибнет Джон /Ячменное зерно /. Велели выкопать сохой / Могилу короли /, Чтоб славный Джон, боец лихой / Не вышел из земли ».

Перевод Э. Багрицкого: «Три короля из трех сторон /Решили заодно:/ Ты должен сгннуть, юный Джон / Ячменное зерно! / Погибни, Джон, в дыму, в пыли, Твоя судьба темна!/ И вот взрывают короли / Могилу для зерна».

Нет никакого сомнения в том, что как в интерпретации оригинала, так и в его воссоздании оба переводчика стремились точно передать и смысловое содержание подлинника, и характерную интонацию бернсовского стиха. Однако в первом переводе легко угадывается творческий почерк С. Маршака, а во втором — Э. Багрицкого.

К переводу как коммуникативному акту вполне приложима разработанная английским лингвистом М. А. К. Хэллидеем социально-семиотическая модель текста и детерминирующей его ситуации [21, сс. 139—145]. Согласно Хэллидею, семиотическая структура ситуации образуется на основе взаимодействия элементов триады — поля (field), или типа социального действия, тональности (tenor), или типа ролевых отношений, и модуса (mode), или типа символической организации. Поле включает комплекс социальных актов определенной конфигурации, в рамках которых соответствующую роль играет и текст. Структура ролевых отношений охватывает отношения между участниками социального действия, в том числе и речевой деятельности. Структура межличностных отношений между участниками коммуникативного акта лежит в основе тональности текста. Модус — это способ речевой организации, определяемый символическими формами взаимодействия, письменными и устными, а также их жанровыми разновидностями.

Рассмотрим в качестве примера газетный текст, входящий в поле массовой коммуникации. Одним из языковых рефлексов этой коммуникативной ситуации является стандартизация языка, степень которой колеблется в зависимости от типа (жанра) текста. Особенно четко стандартизация синтаксиса выявляется при анализе построения зачина газетно-информационной заметки. В американской и английской прессе зачин, резюмирующий наиболее существенную информацию, содержащуюся в тексте, должен в принципе отвечать на шесть вопросов: кто? что? когда? где? как? почему? Чаще всего порядок следования смысловых компонентов зачина следующий: 1) событие предшествует указанию на источник информации; 2) агенс предшествует действию, за которым следует сперва указание на место, а затем на время действия: «Gen. Pierre Koenig, former French Defence Minister and military governor of Paris after the Liberation in 1944, died in hospital in Paris on Wednesday, it was announced yesterday». Зачин русской информационной заметки строится иначе: 1) источник информации обычно фигурирует в самом начале; 2) действие регулярно предшествует агенсу, а указание на время и затем на место — агенсу. Соблюдение этого правила приводит к следующей перегруппировке компонентов высказывания при переводе: «Согласно поступившему вчера сообщению, в среду в Париже скончался в госпитале генерал Пьер Кёниг, бывший после освобождения Франции в 1944 г. министром обороны и военным губернатором Парижа».

Стандартизация структуры газетно-информационной заметки является одним из проявлений отмеченной В. Г. Костомаровым [22] тенденции языка газеты к стандартизации (регулярности, повторяемости, воспроизводимости). Эта тенденция связана с высокими темпами газетного производства, его массовостью, широкомасштабностью и унификацией. Таким образом перевод как коммуникативный акт отражает не только специфические черты того или иного типа речевой деятельности, но и ряд характерных признаков социальной деятельности, частью которой она является.

В связи со сказанным встает вопрос о социальной норме перевода. Как и любая социальная норма, норма перевода является механизмом, через посредство которого общество детерминирует поведение личности [23]. Социальная норма перевода представляет собой совокупность наиболее общих правил, определяющих стратегию переводческого решения. Эти правила в конечном счете отражают те требования, которые общество предъявляет к переводчику. Не будучи чем-то раз и навсегда заданным, они меняются от эпохи к эпохе и представляют собой исторически изменчивое явление. Указанные требования, порой несовместимые друг с другом, можно назвать «парадоксами перевода». Одним из важнейших парадоксов является совмещение тенденции к предельной точности и тенденции к воспроизведению смысла подлинника. В своем крайнем воплощении эти тенденции приводят, с одной стороны, к буквалистскому воссозданию оригинала в ущерб его общему смыслу и языку перевода, а с другой — к так называемому вольному переводу, допускающему неоправданные отступления от оригинала во имя передачи его духа.

Известным проявлением первой тенденции являются средневековые переводы Библии, буквальность которых, как отмечает А. В. Федоров, «проистекала не столько из осознанного теоретического принципа, сколько из пиетета, из „трепета“ перед библейскими текстами» [24, с. 25]. Впоследствии эта норма была расшатана, и некоторые современные переводы Библии характеризуются установкой на вольный перевод. Об этом, в частности, свидетельствуют два перевода одного и того же отрывка из «Послания римлянам», приводимые Ю. Найдой [25, с. 256—257] — старый и новый: 1) «Through whom we have received grace and apostleship unto the obedience of faith among all nations for his name's sake»; 2) «Through him God gave me the privilege of being an apostle for the sake of Christ, in order to lead people of all nations to believe and obey». Рассмотрим еще один парадокс перевода, о котором речь уже частично шла выше, — требование транспонировать текст в культуру получателя и одновременно сохранять его «инокультурный» колорит. В прошлом это требование было не столь жестким, о чем свидетельствуют, в частности, некоторые русские переводы XIX в., в которых текст оригинала подвергался полной русификации. Ср., например, приписываемый О. И. Сенковскому перевод цитированной выше баллады Бернса «Джон — Ячменное Зерно»:

Были три царя на Востоке,  
Три царя сильных и великих;  
Поклялись они, бусурманы,  
Известь Ивана Ерофеича Хлебное-зернышко.  
И вырыли они глубокую борозду, да и бросили его в нее,  
И навалили земли на его головушку;  
И клялись они, бусурманы,  
Что извели Ивана Ерофеича Хлебное-зернышко.

Переведенное ритмизованной прозой в духе русской народной былины и включающее элементы русского просторечия (*бусурманы, известь*), это произведение явно не соответствует современной норме перевода и может расцениваться как стилизованное переложение [26, с. 543].

Некоторые нормы перевода еще находятся в процессе формирования. Об этом, в частности, свидетельствуют дискуссии под рубрикой «Арифметика и алгебра перевода» в «Литературной газете», а также на страницах ряда литературных журналов. Так, в частности, среди литературных критиков и самих переводчиков отсутствует единодушие по таким вопросам, как допустимость проявления творческой личности переводчика в художественном переводе, возможность использования элементов просторечия в тексте перевода и др. Невозможность однозначного решения этих вопросов связана со сложностью и противоречивостью перевода, с его многочисленными «парадоксами».

Наконец, еще одним существенным социолингвистическим аспектом перевода является отражение социального мира в процессе межъязыковой коммуникации. Эта проблема характеризуется двумя основными аспектами. Первый аспект связан с непосредственной передачей в тексте

перевода социальных реалий исходной социокультурной системы, а второй — с опосредованным отражением социальной дифференциации общества через социально обусловленную дифференциацию языка.

Проблема перевода социальных реалий связана с поиском их функциональных аналогов в другой культуре. Порой вся сложность этой проблемы проистекает на основании разного членения социальной действительности. Рассмотрим в качестве примера трактовку в «Большом англо-русском словаре» понятия «middle class»: «люди среднего достатка, средние слои общества (средняя и мелкая буржуазия, интеллигенция, служащие, высокооплачиваемые рабочие)». В то же время в контексте словосочетания этот термин порой конкретизируется и приобретает однозначные соответствия в русской общественно-политической терминологии: *upper middle class* «крупная буржуазия»; *middle class prejudices* «буржуазные предрассудки».

Еще сложнее обстоит дело с передачей социальных реалий в тех случаях, когда речь идет о культурах, разделенных значительной дистанцией. Так, по свидетельству Ю. Найды, для английского словосочетания *common people* «простые люди» на языке майя удалось найти лишь более или менее адекватное описательное соответствие «люди, живущие на окраине поселка», поскольку в культуре индейских племен Юкатана удаленность жилья от центра поселка является показателем социально-экономической стратификации [27, с. 93].

Социально обусловленная вариативность языка находит свое воплощение в речи персонажей, а порой и в авторской речи. По мнению А. Нойберта, «решающее значение для теории перевода имеют результаты сопоставления двух систем вариативности» — исходного языка и языка перевода [13, с. 54]. Сопоставляя эти системы, следует помнить, что социальная вариативность языка и речи характеризуется наличием двух измерений — стратификационного и ситуативного. Стратификационная вариативность самым непосредственным образом связана с социальной структурой общества и находит свое выражение в тех языковых и речевых различиях, которые обнаруживаются между представителями различных социальных слоев и групп. В то же время ситуативная вариативность проявляется в преимущественном употреблении тех или иных языковых средств — отдельных единиц или целых систем или подсистем — в зависимости от социальной ситуации [28, с. 78—79].

В комедиях Аристофана дорийский диалект служит в качестве стратификационного маркера, характеризующего провинциала, не владеющего образцовой аттической речью. В некоторых переводах комедии «Лисистрата» на английский язык в качестве аналога дорийского диалекта используются местные диалекты английского языка. Так, например, в английском издании один из персонажей, спартанский гонец, говорит на шотландском диалекте (Scots): «H e r a l d. Whaur sall a body fin' the Athanian senate/Or the gran lairds? Ha gotten news to tell». В американском издании аналогичную функцию выполняет южный диалект американского варианта английского языка: «H e r a l d. This Athens? Where-all kin I find the Council of Elders or else the Executive Board? I brung some news». Наконец, в опубликованном в Нигерии варианте комедии в тех же целях применяется пользующийся низким социальным престижем нигерийский пиджин: «M e s s e n g e r. Wusa ah go find una chiefs or wetin una de call dem leaders? Ah bring important news for dem» [29, с. 110—114]. Такого рода прием, т. е. передача диалектной речи с помощью диалектов языка перевода, явно противоречит принятой у нас норме, не допускающей полной русификации подлинника и лишения его национального колорита. Именно поэтому русский переводчик комедии — А. Пиотровский — использовал для речевой характеристики этого персонажа отдельные элементы сниженной разговорной речи: «Привязался же, болтун!», «Что за вздор ещел!», «От Лампито пошла зараза» и др.

Аналогичные компенсационные приемы используются и при передаче ситуативной вариативности языка. Одним из проявлений ее является варьирование тональности речи под влиянием меняющихся ролевых отно-

шений между участниками коммуникативного акта, описываемого в тексте. В русском языке одним из индикаторов ролевых отношений служат личные местоимения *ты* или *вы* при обращении к собеседнику. При переводе на английский язык, где отсутствует аналогичная система местоименных оппозиций, требуется каждый раз подыскивать функциональный эквивалент, передающий те же ситуативно обусловленные значения. Рассмотрим несколько примеров из перевода на английский язык романа Достоевского «Идиот»: «Евгений Павлович, это ты? ... Ну как же я рада, что наконец разыскала...» — «Is that you, Eugene, darling, I'm so glad to have found you at last...»; «И не может он быть на ты и в таких дружеских отношениях с Настасьей Филипповной — вот в чем главная задача» — «And he couldn't be on such familiar and friendly terms with Nastasya Filippovna — that's what's so puzzling about the whole affair»; «— Кстати! Кстати! — опомнился наконец Парфен, — Милости просим, входи. Они говорили друг другу на ты». — «No, no, — Parfyon cried recollecting himself, — Do come in, I'm so glad to see you. They spoke to each other like two old friends». В первом примере Настасья Филипповна при всех обращается к Евгению Павловичу на «ты», подчеркнуто афишируя близкие отношения с ним. Здесь переводчик использует в качестве аналога интимное обращение *darling*. Во втором примере то же самое предстает перед нами с точки зрения лиц, присутствовавших при этой сцене. Здесь, по-видимому, важно не само обращение, а то, что за ним кроется (фамильярные и дружеские отношения). Наконец, в последнем примере князь Мышкин и Парфен Рогожин разговаривают друг с другом на «ты» («как старые друзья» в интерпретации переводчика). Так в переводе отражается полифункциональность социального маркера.

Таким образом, решая задачи, связанные с отражением в тексте стратификационной вариативности языка, переводчик вплотную сталкивается с проблемой «язык и социальная структура». Стремясь учесть в переводе ситуативную вариативность, он фактически имеет дело с языковыми рефлексамися межличностных отношений, т. е. с одним из аспектов проблемы «язык и социология личности».

Использование понятийного аппарата и инструментария современной социолингвистики дает возможность глубже проникнуть в механизм перевода, выявить его социальные детерминанты, точнее охарактеризовать всю сложность и противоречивость стоящих перед ним задач и неоднозначность переводческого решения. Все это позволяет, на наш взгляд, расширить и углубить наши представления об этом во многом еще неясном для нас процессе и открывает новые перспективы перед наукой о переводе.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Бархударов Л. С. Язык и перевод. М., 1975.
2. Комиссаров В. Н. Лингвистика перевода. М., 1980.
3. Jager G. Translation und Translationslinguistik. Halle (Saale), 1975.
4. Kade O. Die Sprachmittlung als gesellschaftliche Erscheinung und Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchung. Leipzig, 1980.
5. Wills W. Übersetzungswissenschaft. Probleme und Methoden. Stuttgart, 1980.
6. Koller W. Einführung in die Übersetzungswissenschaft. Heidelberg, 1983.
7. Кашкин И. Для читателя-современника. Статьи и исследования. М., 1977.
8. Kade O. Zu einigen Grundpositionen bei der theoretischen Erklärung der Sprachmittlung als menschlicher Tätigkeit. — In: Übersetzungswissenschaftliche Beiträge, Leipzig, 1977.
9. Латышев Л. К. Проблема эквивалентности в переводе: Автореф. дис. на соискание уч. ст. докт. филол. наук. М., 1983.
10. Nida E., Taber Ch. The theory and practice of translation. Leiden, 1969.
11. Sveizer A. D. Übersetzung und Soziolinguistik. — In: Übersetzungswissenschaftliche Beiträge. Leipzig, 1977.
12. Stolze R. Grundlagen der Textübersetzung. Heidelberg, 1982.
13. Neubert A. Übersetzungswissenschaft in soziolinguistischer Sicht. — In: Übersetzungswissenschaftliche Beiträge. Leipzig, 1977.
14. Reiss K. Texttyp und Übersetzungsmethode. Der Operative Text. Kronberg, 1976.
15. Швейцер А. Д. Перевод и лингвистика. М., 1973.
16. Левуцкий Р. Об оправдании функциональной адекватности перевода. — Состоятельно языковедение, 1984. № 3.

17. *Neubert A.* Pragmatische Aspekte der Übersetzung.— In: Grundfragen der Übersetzungswissenschaft. Leipzig, 1968.
18. *Mounin G.* Les problèmes théoriques de la traduction. Paris, 1963.
19. *Россельс Вл.* Заботы переводчика классики.— Тетради переводчика, 1967, № 4.
20. *Чужовский К. И.* Искусство перевода. М.— Л., 1936.
21. *Halliday M. A.* Language as social semiotic. London, 1979.
22. *Костомаров В. Г.* Русский язык на газетной полосе. М., 1971.
23. *Кречмар А.* О понятийном аппарате социологической теории личности.— В кн.: Социальные исследования. Теория и методы. М., 1970.
24. *Федоров А. Ф.* Основы общей теории перевода. М., 1983.
25. *Nida E.* Language structure and translation. Stanford, 1975.
26. *Левин Ю. Д.* Бернс на русском языке.— В кн.: *Бернс Р.* Стихотворения. М., 1982.
27. *Nida E.* Linguistics and ethnology in translation problems.— In: Language in culture and society. New York, 1964.
28. *Швейцер А. Д.* Современная социолингвистика. Теория, проблемы, методы. М., 1976.
29. *Bailey R. W., J. L. Robinson.* Varieties of present-day English. New York, 1973.

## ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

КОНОВЕНКО В. И.

## ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА НА УКРАИНЕ

В условиях возрастания социальной значимости русского языка как средства межнационального общения народов СССР, дальнейшего развития и совершенствования национально-русского и русско-национального билингвизма, активизации взаимодействия и взаимообогащения языков происходят закономерные изменения в процессах функционирования русского языка в национальных республиках, связанные не только с расширением сфер его употребления наряду с родным языком, но и с повышением уровня его нормативности, использованием свойственной ему вариативности и т. д. К наиболее характерным особенностям функционирования русского языка в окружении национальных языков, проявившимся в последний период, могут быть отнесены: а) дальнейшее распространение и упрочение литературных норм русского языка, прежде всего лексических и грамматических; б) предпочтительное употребление в русской речи билингов тех лексических и грамматических вариантов, которые по своим структурным признакам сближаются с соответствующими фактами родного языка; в) сужение сферы интерферирующего воздействия национального языка на русскую речь, концентрация интерферирующих явлений в отдельных, более проницаемых звеньях языковой системы; г) включение в русскую речь апробированных в художественно-литературных и газетно-публицистических текстах национально ориентированных этнографизмов, экзотизмов и других преимущественно лексических заимствований, калек. Одновременно усиливается воздействие русского языка на национальный язык, расширяется и обогащается их общий лексический фонд, появляются черты общности в структуре предложений, в лингвостилистической организации текста и т. д. [см. 1].

Учитывая, что «социологический подход к изучению проблемы культуры языка в условиях многонационального государства предполагает рассмотрение объекта исследования в условиях конкретной языковой ситуации» [2], можно заключить, что функционирование русского языка будет иметь свои специфические черты в зависимости от языкового окружения, степени владения русским языком и других социолингвистических и собственно лингвистических факторов. Особенности русской устной, в меньшей мере — письменной речи на Украине во многом обусловлены близостью русского и украинского языков, восходящих, наряду с белорусским языком, к одному источнику — древнерусскому языку, их параллельным развитием, постоянным, практически непрерывным взаимодействием на протяжении длительного исторического периода, а отсюда — возможным наложением фактов одного языка на факты другого языка в речи билингов. Современная языковая ситуация в республике характеризуется общим достаточно высоким уровнем развития украинско-русского и русско-украинского билингвизма, что предопределяет параллельное общение на одном и другом языке в различных условиях, как в общественно-политической, экономической, культурной, научной сферах, так и в быту. Вместе с тем определяются социально-демографические и речевые факторы, способствующие преимущественному общению на украинском или русском языках; русский язык шире используется, в частности, в городской местности, в многонациональных производственных коллективах, на крупных промышленных предприятиях, в среде рабочих, инже-

нерно-технических работников. Однако границы распространения украинского и русского языков постоянно смещаются, не являются закрепленными за определенными общественными сферами [см. 3, с. 7]; русской речью пользуется сельское население, интеллигенция; получило распространение и смешанное употребление, оно может проявляться как в общении собеседников на разных языках, при котором обычно достигается полное взаимопонимание, так и в чередовании украинских и русских фрагментов в речи одного собеседника, в большей или меньшей степени придерживающегося литературных норм каждого языка.

Русская речь на Украине, имеющая давние и прочные исторические традиции [см. 4, 5], отличается ориентацией на нормативное употребление, относительной однородностью и стабильностью, незначительной региональной дифференциацией. Русская устная речь в украинском языковом окружении формировалась в результате сложного взаимодействия русского литературного языка в его письменной и устной разновидностях и городского стереотипа, сложившегося в Киеве, Харькове, других крупных центрах преимущественно Левобережной Украины (в незначительной мере сказывалось воздействие и одесского жаргона). Общесистемные параметры этой речи в ряде проявлений смыкаются с фактами русского просторечия, южнорусских говоров, во всяком случае, с теми из них, которые находят свои аналоги в украинском литературном языке (ср., например, произношение фрикативного [γ], акцентную норму *зб́нят*, формы *бежи, хочут*, управление *идти со школы, говорить за него* и др. [см. 6, 7]). Функционирующие на Украине островные русские говоры, связанные преимущественно с миграцией в исторически отдаленный период, в силу факторов социолингвистического характера существенно не воздействуют на русскую устную речь украинцев, хотя некоторыми фонетическими, лексическими и грамматическими чертами сближаются с русской речью в украинском языковом окружении [8]; по-видимому, это можно объяснить, во-первых, воздействием на русскую речь на Украине южнорусских говоров в целом, к которым частично принадлежат и островные говоры, во-вторых, общими результатами интерференции украинского языка как в говорах, так и в русской речи украинцев. В большей мере на русскую речь на Украине оказывают влияние диалектные проявления украинского языка, особенно заметные в области произносительных норм (ср., например, произношение [л], среднего между русским и европейским, в речи полтавчан, жителей западных областей Украины); как результат по характеру фонетической интерференции подчас можно соотнести русскую речь украинца с тем или иным украинским диалектным окружением.

В то же время русская речь на Украине, в том числе устная, находится под постоянным, все более усиливающимся воздействием и контролем русского литературного языка с присущими ему нормативностью и кодификацией, с одной стороны, благодаря письменным источникам его изучения, средствам массовой коммуникации и т. д., с другой стороны, благодаря ограниченному непосредственному смешению с русской разговорной речью основного ареала (хотя связи с русской разговорной речью поддерживаются в силу движения населения и других социально-демографических факторов). Поэтому русская речь в украинском языковом окружении лишена ряда типичных примет русской разговорной речи основного ареала (ср., например, нехарактерные в целом для русской речи украинцев объединения в одном фонетическом такте — синтагме — нескольких знаменательных слов, их динамическую неустойчивость в высказывании и др. [9]).

Степень владения русской речью отдельными социальными группами населения, тем более индивидами, естественно, не совпадает, определяясь комплексом разнородных социально-демографических, психологических и собственно лингвистических факторов (социально-общественная среда, пол, возраст, национальность, профессия, состав семьи, социальное положение, родной язык, язык непосредственного окружения и т. д. [см. 10]). Среди билингвов представлены группы лиц, владеющих русским и украинским языками в координативной форме (полное соблюдение норм

обоих языков), в субординативной форме (соблюдение норм обоих языков с незначительной интерференцией); владеющих преимущественно русским языком и знающих украинский на уровне репродуктивного билингвизма; пользующихся преимущественно украинским языком и знающих русский на уровне репродуктивного билингвизма [см. 11]; наиболее представительны группы владеющих двумя языками в субординативной форме и пользующихся преимущественно украинским языком со знанием русского на уровне репродуктивного билингвизма. Вместе с тем в русской речи на Украине заметна тенденция к дальнейшей унификации, выравниванию различий в овладении ею, связанная с общим движением к повышению культуры устной и письменной речи, довольно однородным воздействием интерференции. В этих условиях происходит процесс нивелирования, нейтрализации двух видов билингвизма — украинско-русского (родной язык — украинский, второй язык, которым свободно владеют, — русский) и русско-украинского (родной язык — русский, второй язык, которым свободно владеют, — украинский). По приметам русской речи говорящего (если в ней отсутствуют ярко выраженные черты украинского диалекта) достаточно трудно с полной достоверностью определить статус его родной речи. У части опрошенных ответ на вопрос, какой язык является для них родным, а какой — вторым языком, которым они свободно владеют, нередко предопределяется не тем, какой язык их преимущественного общения, а национальной принадлежностью и иными внеязыковыми факторами. При этом, как правило, не учитывается и объективный уровень владения украинским или русским языком, поскольку говорящий в условиях сравнительной однородности русской речи на Украине не осознает в полной мере степени ее правильности, нормативности. В то же время у одних и тех же лиц наблюдается и своеобразная диглоссия [12] — параллельное владение русским литературным языком, нормами разговорно-литературной речи с незначительными отклонениями, вызванными фонетической интерференцией, и одновременно — устно-разговорной речью со значительными отклонениями, обусловленными интерференцией на разных уровнях языковой системы; эти различия проявляются в зависимости от ситуации общения (прежде всего — официально-деловой или обиходно-бытовой), речевого окружения и других факторов.

В собственно лингвистическом плане параллельное владение двумя близкородственными языками ведет к преимущественному использованию в русской (соответственно и в украинской) речи билингвов тех лексико-семантических и грамматических вариантов, которые в звуковом и структурном отношении ближе стоят к фактам другого языка; в связи с этим происходит движение в сторону доминанты вариативного ряда тех вариантов, которые являются общими для обоих языков. Специфика русской речи в украинском языковом окружении заключается в параллельном функционировании вариантов, принятых как литературная норма, вариантов, лежащих на границе литературной и нелитературной (просторечной, регионально-ориентированной) нормы, и вариантов, выходящих за пределы литературно-нормированной речи. Изменения в системной организации соответствующих вариативных рядов проявляются, во-первых, в удлинении ряда за счет привлечения вариантов, входящих в периферийную, пограничную с нормой зону, а также за счет ненормативных, прежде всего заимствованных из украинского языка вариантов; во-вторых, в сокращении ряда за счет вариантов, противоречащих принятым в данном регионе, в том числе существенно расходящихся с соответствующими вариантами украинского языка; в-третьих, в изменении функциональных характеристик, в частности, в смене частотности употребления вариантов, их внутрирядовых перемещениях, активизации одних и переходе в пассивный запас других вариантов, нейтрализации и дифференциации их значений, стилистических коннотаций и др. На выбор варианта воздействует ряд факторов, и прежде всего более принятая в данной среде норма, ориентированная на русский литературный язык, но не всегда совпадающая с его нормой, в то же время так или иначе испытывающая опосредованное воздействие нормы украинского языка. Так, в синонимическом ряду *лошадь*,

конь под воздействием украинского языка активизируется употребление слова *конь*, частично теряющего свои коннотации (ср. укр. *кінь, коняка*); в ряду *луна, місяць* возрастает частотность слова *місяць* (ср. укр. *місяць*), причем резко снижается его маркированность [см. 13]; существенные сдвиги происходят в ряду слов *ложь, неправда, обман, лганье, вранье, враки, брехня* [14]: увеличивается частотность слов *неправда* (ср. укр. *неправда*), *обман* (укр. *обман*), слово *брехня* частично утрачивает признаки просторечия, сохраняя налет грубости, снижается употребительность слов *ложь, лганье, вранье*, особенно *враки*, не имеющих звуковых соответствий в украинском языке. Среди вариантов избыточных глаголов (*машет, махает*) преобладают разговорные образования (*махают*, ср. укр. *махать*); активизируется употребление форм родительного падежа единственного числа имен существительных мужского рода на *-у*, ведущее к ослаблению у них оттенка партитивности (*с испугу, от холоду, стону, народу* и др.) [15, с. 272—275]. В ряду словосочетаний с глаголами речи и мысли (*говорить о нем, говорить про него*) активизируется разговорная конструкция с предлогом *про*: *Я про то* ничего не знал (ср. укр. *говорити про нього*), при этом частично нейтрализуются ее стилистические коннотации; ср. параллельное употребление в одном контексте сочетаний с предлогами *про* и *о* в русскоязычной литературе Украины: «Он об этом лучше меня, может, знает. Про историю у него книг полная этажерка» (Ю. Черный-Диденко, Ключи от дворца); «Горько вспомнить про былое, странно вспомнить о былом, про хозяйские заботы с непосильной кабалой (П. Беспощадный, Семья Кленовых) [16, с. 171—172].

Вместе с тем в русской речи на Украине наблюдается и противоположный процесс — отталкивание от норм, совпадающих или сближающихся в двух языках, использование расходящегося с украинским варианта (в языковом сознании говорящего такой вариант как противоречащий украинскому представляется правильным; эти проявления особенно заметны у лиц, следящих за своей речью, например у учителей, студентов и т. д.); ср., например, подерживаемое русским просторечием *ложить* вместо *класть* (укр. *класти*). Своеобразная звуковая контаминация, вызванная, с одной стороны, русским просторечием, с другой, — отталкиванием от норм украинского языка, видна в достаточно широком употреблении различных ненормативных сочетаний с предлогом *с* типа *звонят с министерства, связать с шерсти, лекция с философии* и под. (в нормативной русской речи здесь употребляются предлоги *из, по*: *из министерства, из шерсти, по философии*, в украинском языке — предлог *з* (*із, зі*): *із міністерства, з вовни, з філософії*, предлог *с* в русской речи украинцев может рассматриваться и как рефлекс украинского *з* [16, с. 125—126]); как проявление тех же процессов характеризуется и ненормативная мена предлога *с* предлогом *из*: *идти из фабрики*.

Постоянное контактирование приводит к проникновению элементов одного близкородственного языка в другой, проявляющемуся как в фактах прямого заимствования, так и в активизации, творческом возбуждении внутренних ресурсов языка. При значительном влиянии русского языка на украинский наблюдается и обратное воздействие украинского на русский; лексические заимствования в русском языке охватывают преимущественно сферу культурно-этнографических реалий, и поэтому, хотя в количественном отношении соответствующих слов достаточно много, их использование ограничено речевыми ситуациями, отражающими условия жизни и быта украинцев. Одна часть этнографизмов, традиционно привлекаемых писателями, учеными и т. д., постепенно стала принадлежностью русского литературного языка и фиксируется словарями (*хлопец, девчата, бандура, свитка, жито* и др.), другая часть используется в русской устной и письменной речи спорадически, ограничена рамками территориально привязанного употребления (*смерека, колыба, парубок, кузня* и др.). В то же время провести четкую границу между лексическими заимствованиями из украинского языка, прочно вошедшими в русский литературный язык, и этнографизмами, служащими средством воссоздания национального колорита, но не ставшими достоянием другого языка, доста-

точно сложно, что объясняется близкородственным характером заимствования, не требующего особого приспособления к нормам другого языка (в частности, орфоэпическим, словообразовательным, синтаксическим и др.). Очевидно, однако, что слова, имеющие в русском языке эквиваленты другого звукового состава, несмотря на свою распространенность в русской речи на Украине, а также в южнорусских говорах, в своем большинстве вряд ли могут считаться принадлежащими русскому языку (ср. *мелека* — *журавль*, *кавун* — *арбуз*, *буряк* — *свекла*, *ставок* — *пруд* и т. д.). С другой стороны, некоторые лексические заимствования из украинского языка поддерживаются существованием в периферийных зонах русского языка близких по звучанию слов, частично совпадающих с заимствованными по семантическому объему; ср., например, устарелые слова (*селянин*, укр. *селянин*; *камора*, укр. *комора* и др.), просторечные (*байка*, укр. *байка*; *глум*, укр. *глум* и др.), областные (*кляня*, укр. *кляня*; *тын*, укр. *тин*; *курень*, укр. *курінь*; *гай*, укр. *гай* и др.). Использование тех или иных образцов образования слов из близкородственного языка происходит как при отсутствии в языке соответствующих моделей, так и при наличии моделей, продуктивность которых возрастает под воздействием другого языка; преобладает путь стимулирования деривационных потенциалов, присущих языку. Ср., например, появление в русском языке по модели слова *хлеботор* (укр. *хлібороб*) слов *землотор*, *хлопкороб* [15, с. 15]; активизацию различного рода деминутивов, сопровождаемую снижением уменьшительно-ласкательного значения, ср. *ложечка*, *чашечка*, *вилочка*, *ножик*, *садик* и под. (по данным исследователей, в украинском языке такого рода образования более распространены, чем в русском языке [15, с. 292]); суффиксы уменьшительности проникают и в область глагольных форм (*спатки*, *спатоньки*, *питоньки*).

Интерферирующее воздействие украинского языка на русскую речь проявляется как непосредственно, в результате прямого наложения специфических черт украинского языка на русский в языковом сознании говорящего, так и опосредованно, путем воссоздания, репродукции территориально ограниченной русской речи. Поэтому интерференция отмечается в русской речи лиц, владеющих украинским языком как родным, и живущих на Украине в течение сравнительно длительного периода лиц, родным языком которых является русский, даже тех из них, кто слабо владеет или не владеет украинским языком. Однако довольно стойкий характер интерференции, проявляющейся на разных уровнях языковой системы, и прежде всего в орфоэпии, словоупотреблении, управлении, отнюдь не означает, во-первых, что степень владения русским языком в близкородственном языковом окружении имеет предел, вызванный интерферирующим воздействием родного языка (часть населения, например, многие работники просвещения и культуры, прочно овладевает литературными нормами); во-вторых, что эти особенности являются стабильными, не поддающимися действию целенаправленного обучения (о возможностях такого обучения говорит, в частности, различная степень владения литературными нормами); в-третьих, что интерферирующие черты имеют типологические признаки и создают особый вариант русского литературного языка [см. 3, с. 10].

В научно-теоретическом плане интерференция, вызванная украинским языком, характеризуется как достаточно сложное явление, имеющее неодинаковую интенсивность действия на разных уровнях языка, выражающееся как в явной, внешней форме, в непосредственно перенесенных из украинского языка особенностях, так и в скрытой внутренней форме, в активизации или торможении употребления тех или иных вариантов, в их переосмыслении и по-разному преломляющееся в устной и письменной речи, в функционально-стилистических разновидностях литературного языка. Интерференция родного языка определяется в конце концов степенью ее воздействия на системную организацию тех или иных участков языковой структуры. В частности, наиболее существенная по своим последствиям фонетическая интерференция при взаимодействии русского и украинского языков проявляется не в изменениях в произношении

тех или иных гласных и согласных, а «в неосознанной замене отдельных звеньев русской фонетической структуры подобными, но не тождественными звеньями, типичными для украинского языка» [17, с. 38]. Так, достаточное последовательны и системно обусловлены отклонения от нормативного произношения в области вокализма, хотя и не дающие оснований говорить о качественно отличном варианте реализации гласных в русской речи украинцев, но, во всяком случае, о прочных, устоявшихся тенденциях (ср. употребление более задних по сравнению с нормативными ударных [a], [o], общее ослабление редукции гласных в безударных позициях, что ведет к частичному сохранению их основного качества, фактическому отсутствию иррациональных звуков [ъ], [ь], ослаблению различий в произношении гласных в первом предударном и других безударных слогах, уменьшению различий в длительности гласных в ударных и безударных слогах, а в целом — к дополнительной вокализации произношения [см. 17, с. 40—50]). Нарушение количественной и качественной редукции безударных гласных существенно воздействует на акустико-ритмическую структуру фонетического слова (в то же время характерная для русской речи украинцев тенденция к увеличению длительности безударных слогов не объясняется непосредственным влиянием ни русского, ни украинского стереотипов [18]). Интерференция в области консонантизма проявляется менее последовательно и охватывает сравнительно ограниченный набор звуков и их сочетаний, что противоречит действию системного принципа изменений (ср. произношение на месте нормативного взрывного [r] фрикативного [ʀ], по своим артикуляционной и акустической характеристикам близкого южнорусскому диалектному [ʀ], но заметно отличающегося от фарингального согласного [h] в украинском языке; оглушение заднеязычного звонкого в соответствующей позиции не в [k], а в [x]: *ко[x]ти, но[x]ти, сто[x]*; реализацию фонемы [w] в двух вариантах — как губнозубного [w] и билабиального [w], не чередующегося с [ʃ], прежде всего в конце слова; отсутствие оглушения звонких согласных; твердое произношение согласных в конце слова: *любо[w], сте[п], се[м]*; твердое произношение [p] в конце слова и слога: *косо[р], н[р]а[мо]*; распространение полумягкого [ч] (в украинском [ч] твердое), наличие мягкого [ц], в частности, в заимствованных словах на *-ция*: *нация, организация* [17, с. 52—74]). Эти особенности консонантизма частично свойственны русским говорам, т. е. не являются чужеродными для русского языка, отвечают исконным тенденциям его развития. В то же время некоторые особенности фонетической системы (например, фрикативное [ʀ], полумягкое [ч] и др.) и интонационной организации высказывания (менее резкое по сравнению с речью основного ареала выделение акцентируемых слогов, более плавное завершение фразы [17, с. 87—112]) свидетельствуют об активных интеграционных процессах в русской устной речи на Украине, проявляении в ней нового качества, не разрушающего, однако, основных структурных черт произносительно-интонационной нормы.

Более подвижна, спорадична, менее предсказуема лексическая интерференция; проникновение в русскую речь украинских слов, не вызванное необходимостью создания национально-языкового колорита, обычно носит случайный характер, определяется не только незнанием соответствующего русского эквивалента, но и условиями спонтанного выбора из ряда межъязыковых синонимов, предполагающего их понимание собеседником; замена русского слова украинским может поддерживаться их звуковым сходством; ср.: *он выхвалял меня; она довела эту теорему; он вырешил этот вопрос; приделяют большое внимание* и др. (из записей устной речи).

Сравнительно ограниченное действие интерференции на словообразовательном уровне объясняется, во-первых, параллелизмом процессов и тенденций развития деривационных систем двух близкородственных языков, во-вторых, преимущественно скрытым характером воздействия одного языка на другой в данной сфере, проявляющимся в калькировании, в том числе семантического типа. Изменения, вызванные интерференцией, могут быть связаны с активизацией словообразовательных моделей, свой-

ственных обоим языкам, но более продуктивных в украинском языке; ср., например, употребление в русской речи на Украине наименований лиц женского пола по профессии или роду занятий на *-ка*: одна часть таких образований смыкается с русской разговорно-бытовой сферой (*танцорка, учителька* и др.), другая часть в большей мере обусловлена влиянием украинского языка (*авторка, актерка, библиотекарка* и др.); ср. также некоторые глагольные образования с префиксами *по-* (*попо-*), *на-* (*пострелять* в значении «застрелить», *попоездить, народиться* и др.).

Действие интерференции в незначительной степени распространяется на область словоизменения; ср. нарушения в исторических чередованиях согласных звуков при образовании глагольных форм: *бежу, бежат, бежи* (укр. *біжу, біжать, біжи*), *ляжу, лягут, ляжь* (укр. *ляжу, ляжуть, ляж*), *хочем, хочете, хочут* (укр. *хочемо, хочете, хотять*). Ср. также прямой перенос в русскую речь на Украине форм имен существительных на *-ы* (*ноги, доярки, текстамы*) [15, с. 270—271], форм прошедшего времени на *-в* (*читав, писав*), форм 3-го лица ед. и мн. числа глаголов настоящего — будущего времени на *-ть* (*он ч и т а е т ь, они п и ш у т ь*), форм 1-го лица мн. числа на *-емо, -имо* (*пользуемся произносимо*) (такая интерференция обнаруживается у незначительного числа лиц, слабо владеющих русским языком) [17, с. 115].

В сфере глагольно-именного управления интерференция проявляется не столько в изменении сочетаемости слов (ср., например, русск. *принимать во внимание*, укр. *брати до уваги*, в русской речи на Украине *брать во внимание*), сколько в замене одних предложно-падежных форм другими. Набор предлогов и падежей, подпадающих под действие интерференции, достаточно широк и разнообразен (ср. мену предлогов *у — в, из — с* и др., не сопровождаемую изменением падежа: *взять у него — взять в него, выйти из института — выйти с института*, мену предлогов *о — за, над — с, к — до* и др., сопровождаемую изменением падежа: *скучать о нем — скучать за ним, смеяться над ним — смеяться с него, ехать к брату — ехать до брата*, сохранение предлога при изменении падежа: *ходить по горам — ходить по горах* и др.). Например: *Вошел у подъезд, а там темно; В некоторой части учителей (не во всех) ученики отсиживают на уроке; А я за контрольную забыл; Девочки с нашего класса спорили, что скромность нужна; Кастрюля с чего сделана, с алюминия?; Нехорошо надсмехаться с товарища. Что ты до него привязался?; Они просто завидуют на мой берет: Добро побеждает над злом* и др. (записи устной речи). Интерференция в употреблении предложно-падежных форм затрагивает системные участки языка; это проявляется, в частности, в развитии новых синонимических и антонимических отношений предложно-падежных форм; ср. формы с указанными предлогами *у — в, из — с, о — за, над — с, к — до*, входящие в новые вариативные ряды; сочетания с антонимическими предлогами *в — с (в дом — с дома), у — из (у дом — из дома), от — до (от дома — до дома)* и др.; в развитии новых омонимических форм, например *с дома* в значении «из середины дома», «сверху дома» и др.

Воздействие интерференции на акты коммуникации может быть различным [см. 19], но применительно к условиям близкородственного билингвизма она обычно не препятствует пониманию русской речи; в частности, существенно не затрудняет восприятие речи фонетическая интерференция. Однако не исключаются ситуации общения, в которых проявляется действие «межъязыковой омонимии», т. е. семантической интерференции, связанной с пониманием русских слов и сочетаний слов в значениях, свойственных украинскому языку, при этом в разной степени могут нарушаться нормы литературного языка; ср. русск. *уродливый* «некрасивый» и укр. *вродливий (уродливий)* «красивый», русское ненормативное *сказать за него* может истолковываться как «сказать о нем», «сказать вместо него». В ортологическом аспекте интерференция рассматривается как явление нежелательное, определяющее невысокую степень владения русским языком, как отклонение от нормативного употребления и потому требует всестороннего анализа на достаточно широкой фактологической основе, усиления внимания к усвоению норм русского литературного язы-

ка [см. 20]. В плане изучения заимствований в процессе контактирования близкородственных языков интерференция, и прежде всего на лексическом уровне, может интерпретироваться как промежуточный этап потенциального проникновения элементов одного языка в другой; в этом смысле интерференция квалифицируется с позиций расширения лексических возможностей языка, в частности, в иноязычном окружении. Интерференция позволяет установить степень проницаемости различных уровней языка, в том числе под воздействием близкородственного, результаты наложения соотносительных фактов родного языка на русский в условиях билингвизма и в этом понимании является объектом сравнительно-сопоставительного исследования систем двух языков.

Русская речь на Украине в письменной фиксации, и прежде всего в русскоязычной художественной литературе, опосредованно, в литературно обработанном виде отражает устные формы высказывания (в речевых партиях персонажей) и в то же время представляет самостоятельный научный интерес как своеобразный лингвостилистический феномен с присущей ему системой словесно-образных средств [см. 21]. К отличительным лингвистическим особенностям русскоязычной художественной литературы Украины, а также некоторых произведений, созданных выходцами с Украины, можно отнести: 1) неоднородный характер передачи специфики русской речи в близкородственном языковом окружении (наряду с произведениями, в которые широко вводятся украинские речевые элементы, слова с признаками интерференции, представлены тексты, фактически лишенные национального колорита; показательно, в частности, творчество поэтов Н. Ушакова, Л. Вышеславского и др., весьма ограниченно, только при использовании местного материала обращающихся к украинизмам); 2) достаточно строгое различие авторской речи и речи персонажей; если в речь автора украинизмы вводятся преимущественно с целью воссоздания культурно-этнографической среды, то речь персонажей в большей или меньшей мере имеет приметы как русской речи на Украине, так и украинской речи; 3) неодинаковое отражение в речи персонажей воздействия украинского языка; в большей мере в ней представлены лексические, частично — фразеологические заимствования, в меньшей мере — отклонения в морфологических формах, средствах синтаксической связи (предлогах, союзах, частицах); в редких случаях с помощью русской, иногда — украинской графики передаются особенности произносительных норм. Ср., например: «— Ты *чуешь*, Панас? — тихо спросил он Маруцака. — *Чую-то чую*, — ответил Маруцак, — но я думал сперва — может, это ты?» (В. Беляев, Старая крепость); «*Нехай вам грець!* Чешите языками дальше, а я пойду *хлопцям* писать!» (там же); «Потому вас так и учу, *що* сам не уберегся. *Бльжче* б носом до земли, и ничего б не было» (Ю. Черный-Диденко, Сказание о первом взводе); «По дорогам *ще* так-сяк... ну, а полем *хиба* бронетранспортер и проскочит, а так средний *чи* тяжелый танк... тому достанется!» (там же) и др.

Использование разнообразных словесно-конструктивных средств передачи особенностей речи персонажей в русскоязычной литературе Украины подчинено задачам художественно адекватного отражения: 1) русской нормативной речи, 2) русской устной речи в украинском языковом окружении, 3) украинской речи персонажей, 4) макаронической, смешанной русской или украинской речи со значительными вкраплениями элементов другого языка. Дифференциация этих разновидностей речи затруднена, подчас не поддается точной квалификации, к тому же не всегда целесообразна, поскольку такое воссоздание речи героя художественного произведения — обычно стилизация, а не буквальный слепок. Здесь могут быть не только применены лингвистические приемы анализа, но и изучены конситуационные условия, учтены экстралингвистические факторы (путем установления места и обстоятельств действия, речевой среды общения, национальной принадлежности говорящих и т. д.). В зависимости от целевой установки автора на более или менее полное воспроизведение особенностей речи персонажей степень ее «украинизации» может существенно колебаться, иногда украинская речевая стихия входит в текст без

замечных ограничений: «Ото ж бачите лысинку промиж посадками? ..Цетриста шестый километр... Перший переезд. А дали — станция Беспаловка, там другой... Цей, що на Беспаловци, цей — головний, товарищу полковнику!» (Ю. Черный-Диденко, Сказание о первом взводе). В то же время русскоязычная литература пользуется и более сложной, на первый взгляд, малоприметной системой воспроизводства украинской речи персонажей средствами русского языка; это достигается выбором лексико-грамматических вариантов, близких с украинскими, отражением самого строя, ритма мелодики украинской речи; ср.: «Под Сталинградом или в другом месте, про то не ведаю, набито много немецких танков» (Б. Горбагов, Непокоренные); «— А что, как надолго?.. — Того быть не может» (там же); «А вчера град ударил. Здоровенный. Не град — картечь! Виноград молодой побил» (В. Беляев, Старая крепость). При этом, очевидно, сказывается и ориентация писателя на читателя — всесоюзного, в основной своей части не знающего украинского языка, или республиканского, в основном владеющего украинском языком. В то же время проявляются, и прежде всего в литературе, изданной за пределами республики, факты весьма приблизительного, искаженного отображения особенностей речи украинцев. Авторы соответствующих текстов, судя по всему, слабо владеющие украинским языком, видимо, не осознают существенных отклонений речи своих персонажей от норм не только русского, но и украинского языка; ср., например: «— Та ж у больнице усє... У Галы... А Гальчика-то наша... Ой, люды, люды... Вмирає дєтусечка... Уси побигли... — Идэ вона? Больныця — яка?.. — На Володарьського... У новой. Може, що живая... Да ты-то не Сашок ли, що Галу<sup>1</sup> бросил?» (Ф. Ветров, Картошка в натюрморте).

В переводах художественных произведений с украинского языка на русский в основном сохраняются лингвостилистические особенности русскоязычной литературы Украины; в то же время здесь в большей мере ограничивается непосредственное введение украинской речевой стихии (если не считать этнографизмов и сознательно непереводимых компонентов текста — украинских песен, пословиц и поговорок, ономастического материала). Исключение составляют автопереводы произведений А. Довженко, их можно было бы назвать украинским и русским вариантами, настолько они отличаются друг от друга; благодаря украинским речевым элементам русские тексты писателя стилистически более разнообразны и колоритны, чем однородные по речевому материалу украинские. Например: «Э! Не будь нас з Григорием, никто б науки в Харькови и не нюхал. Сколько мы этих книг перевезли за тридцать лет. Там з одних палитурок можна б тысячу пар черевикиз пошити» (А. Довженко, Земля) и под.

Русскоязычная публицистическая литература Украины, нередко располагающая параллельным текстом на украинском языке (на двух языках издаются, например, журналы «Коммунист Украины», «Под знаменем ленинизма», «Рабочая газета», газета «Вечерний Киев» и др.), характеризуетсся сравнительно редким проникновением в нее украинского речевого материала [см. 17, с. 309—317]; контакты с украинским языком проявляются в преимущественном использовании близких к украинским вариантов, в привлечении украинского культурно-этнографического речевого материала. Однако иногда в целях создания национально-речевого колорита в русский текст включаются фрагменты украинского текста, этот прием применяется и в центральных газетах: «Девушка не медлит с ответом. Дитки ей лобы»; «Я вымогаю з вас полной отдачи» (Правда, 1984, 31 мая).

Развитие русской речи в близкородственном украинском окружении определяется разнонаправленными тенденциями: с одной стороны, к дальнейшей нормализации, преодолению традиционного смещения русских и украинских литературно-языковых норм в результате усилий школы, благодаря средствам массовой коммуникации, миграции русского населения и т. д., с другой стороны, к усилению действия интерференции в свя-

<sup>1</sup> Курсивом даны формы, не существующие в украинском языке и его просторечии.

зи с широким распространением русского языка как языка общения наряду с украинским языком; ведущей в этих процессах является нормализаторская тенденция.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. *Белодед И. К.* Ленинская теория национально-языкового строительства в социалистическом обществе. М., 1972, с. 201.
2. *Дешериев Ю. Д., Протченко И. Ф.* О некоторых вопросах развития языковой культуры народов СССР. — ВЯ, 1966, № 2, с. 3.
3. *Иванов В. В., Михайловская Н. Г.* Русский язык как средство межнационального общения: актуальные аспекты и проблемы. — ВЯ, 1982, № 6.
4. *Зеленецкий К.* О русском языке в Новороссийском крае. Одесса, 1855.
5. *Долочев В.* Опыт словаря неправильностей в русской разговорной речи. Одесса, 1886.
6. *Болдырев Р. В.* Структурно-семантические процессы в русской речи. Киев, 1967, с. 71—74.
7. *Попова З. Д.* Просторечное употребление падежных форм и литературная норма. — В кн.: Синтаксис и норма. М., 1974, с. 179—180.
8. Русские говоры на Украине. Киев, 1982, с. 5.
9. Русская разговорная речь. Фонетика. Морфология. Лексика. Жест. М., 1983, с. 9—43.
10. *Копыленко М. М., Саина С. Т.* Функционирование русского языка в различных слоях казахского населения. Алма-Ата, 1982, с. 14—15.
11. *Верещагин Е. М.* Психологическая и методическая характеристика двуязычия (билингвизма). М., 1969, с. 80—82.
12. *Крысин Л. П.* Владение разными подсистемами языка как явление диглоссии. — В кн.: Социально-лингвистические исследования. М., 1976, с. 62—63.
13. *Ижакевич Г. П., Кононенко В. И., Шилинский П. П., Сиротина В. А.* Сопоставительная стилистика русского и украинского языков. Киев, 1980, с. 117—118.
14. Словарь синонимов русского языка в двух томах. Т. I. Л., 1970, с. 516.
15. Функционирование русского языка в близкородственном языковом окружении. Киев, 1981.
16. Русский язык — язык межнационального общения и единения народов СССР. Киев, 1976.
17. Культура русской речи на Украине. Киев, 1976.
18. *Прокопова Л. Г., Тоцька Н. Г., Цицюра Л. Ф.* Акустично-ритмічна структура російського мовлення на Україні — Мовознавство, 1984, № 5, с. 33.
19. *Дешериева Ю. Ю.* Проблема лингвистической интерференции в современном языкознании. — В кн.: Теоретические проблемы социальной лингвистики. М., 1981.
20. *Белодед И. К., Ижакевич Г. П., Черторицкая Т. К.* Русский язык как источник обогащения языков народов СССР. Киев, 1978, с. 78—112.
21. Русский язык как средство межнационального общения. М., 1977, с. 101—131.

ВАХТИН Н. Б.

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РУССКО-АЛЕУТСКОГО  
ДВУЯЗЫЧИЯ НА КОМАНДОРСКИХ ОСТРОВАХ<sup>1</sup>

В XIX в. алеутский язык включал три диалекта: восточный (о. Уна-лашка и др.), центральный (о. Атка и др.) и западный (о. Атту). В 1826 г. Российско-Американская компания (далее — РАК) приняла решение о создании постоянного поселения на необитаемых до тех пор Командорских островах для того, чтобы иметь здесь дешевую рабочую силу для забоя котиков, заготовки шкур и охраны котиковых лежбищ. В последующие десятилетия на Командорские острова — о. Беринга и о. Медный были переселены несколько десятков алеутских и креольских семей с Алеутских островов. Они образовали костяк населения Командоров, отдельный языковой коллектив, который начал далее развиваться независимо; так было положено начало тому, что мы называем сегодня «беринговским» и «медновским» диалектами алеутского языка (о современном состоянии диалектов см. [1]).

В течение 158 лет носители алеутских диалектов, сконцентрированные на двух Командорских островах, развивались в языковом отношении независимо от «материнского» языкового коллектива, в контакте с русским языком и друг с другом. Расстояние между двумя Командорскими островами — ок. 50 км., что позволяло, с одной стороны, поддерживать постоянные контакты, а с другой — обеспечивало у островитян устойчивое ощущение своей отдельности и способствовало некоторой изоляции диалектов друг от друга.

Полтора века — достаточно большой срок, и тем интереснее отметить, что беринговский диалект практически ничем не отличается от «материнского» диалекта о. Атка, кроме некоторой естественной «консервативности» (см. [1]): современные пожилые алеуты о. Беринга говорят — фонетически, грамматически и лексически — на том же диалекте, на котором говорили их предки на о. Атка полтора века назад<sup>2</sup>.

Совершенно иначе обстоит дело с медновским диалектом. Он претерпел серьезные изменения на всех уровнях, испытав глубокое влияние русского языка. Диалект представляет собой очень своеобразный результат взаимодействия русского и алеутского языков (аттуанского диалекта), которое проявляется в регулярном использовании русской грамматики (словоизменятельная глагольная морфология и синтаксис) при не менее регулярном использовании алеутской лексики и словообразования. (Впервые это интересное явление обнаружено в 1963 г. Г. А. Меновщиковым, опубликовавшим свои наблюдения в специальной работе [2].)

Ниже мы рассмотрим (по необходимости кратко) основные факты медновского диалекта в сопоставлении с существующими описаниями аттуанского диалекта в том виде, как он был зафиксирован исследователями в начале XX в. [см. 3, 4], и с некоторыми данными по аткинскому [5] и беринговскому диалектам.

Морфологическая характеристика.

Словоизменение.

**Имя.** Алеутское имя имело категории числа, падежа и притяжательности; все три категории сохранились в медновском.

<sup>1</sup> Настоящая статья написана на основе материалов, собранных летом 1982 г. в ходе лингвистической экспедиции на Командорские острова.

<sup>2</sup> Все приводимые в статье данные по беринговскому диалекту получены нами от Е. В. Головки.

**Ч и с л о:** атт. <sup>3</sup> ед.-*χ*, дв.-*χ*, мн. -*н*; атк. ед.-*χ*, дв.-*χ*, мн.-*с*; медн. ед.-*χ*-дв.-*χ*, мн.-*н* или -*с* (при этом -*н* сохраняется во всех случаях *pluralia tantum* — ср. *игачин* «жилы», *амун* «белье», *иклан* «дрова», *илигин* «потроха», выбор формы -*с* или -*н* связан, по-видимому, с идиолектными различиями). Необходимо специально отметить сохранение дв. числа в медновском диалекте: как известно, при разрушении языковой системы оно отмирает первым.

**П а д е ж:** все три диалекта имеют двухпадежную систему: абсолютный падеж с показателем -*χ*, и относительный падеж с показателем -*м*, ср. медн. *аңалиχ* «день», *аңалим*. В медновском относительный падеж сохраняет функции падежа подлежащего при субъектно-объектном глаголе и обладателя в притяжательном сочетании. Однако в последнем значении встретилась, наряду с формой на -*м*, и русифицированная форма: *иқана-м ула* «матери-отн. дом-ее», но ср.: *Сашин ула* «Сашин дом» (единственный пример).

**П р и т я ж а т е л ь н о с т ь:** формы показателей приведены в таблице; материал аттуанского неполон. Разночтения в показателях аттуанского диалекта объясняются тем, что эти формы частично взяты из текстов, опубликованных Бергсландом [3], частично — из рукописи Иохельсона [4]. Насколько можно утверждать по имеющемуся материалу, медновская парадигма скорее ближе к аттуанской, чем к беринговской.

Медновская система притяжательных показателей, хотя и сохраняется по форме достаточно близкой к аттуанской, функционирует в предложении довольно неустойчиво. Она испытывает сильное давление заимство-

Таблица

Притяжательные показатели в трех диалектах

Значение	Атт.	Медн.	Атк.
мой один предмет	- <i>ң</i> , - <i>ниң</i>	- <i>ң</i>	<i>ң</i>
мой два —»—	- <i>ки</i>	<i>киң*</i>	- <i>киң</i>
мой многие —»—	- <i>ниң</i>	- <i>ниң*</i>	- <i>ниң</i>
наш один —»—	- <i>мис</i>	- <i>мис</i>	- <i>мас</i>
наши два —»—	—	- <i>ки</i>	—
наши многие —»—	—	- <i>мис</i>	- <i>мас</i>
твой один —»—	- <i>н</i>	- <i>н</i>	- <i>н</i>
твой два —»—	- <i>кин</i>	- <i>кин*</i>	- <i>кин</i>
твои многие —»—	- <i>т</i>	- <i>т</i>	<i>т</i>
ваш один —»—	- <i>ниχ</i>	- <i>чи*</i>	- <i>чиχ</i>
ваши два —»—	—	- <i>ки</i>	- <i>диχ</i>
ваши многие —»—	- <i>чи</i>	<i>чи*</i>	- <i>чиχ</i>
его один —»—	- <i>Ү**</i>	- <i>Ү</i>	- <i>Ү</i>
его два —»—	- <i>ки</i> : - <i>кин</i>	<i>ни</i>	- <i>т</i>
его многие —»—	- <i>т</i> : - <i>ңи</i>	- <i>ңи*</i>	- <i>ңис</i>
их один —»—	- <i>Ү</i>	- <i>Ү</i>	- <i>Ү</i>
их два —»—	- <i>ки</i>	- <i>ки</i>	- <i>киχ</i>
их многие —»—	- <i>ңи</i> , - <i>нин</i>	- <i>ңи*</i>	- <i>ңис</i>
свой один —»—	- <i>н</i>	—	- <i>н</i>

\* Эти формы взяты из послевоенных записей Г. А. Меновщикова 1963 г., в нашем материале они не встретились

\*\* Знаком *Ү* обозначено отпадение финального *χ* и удлинение гласного: *углаχ* «дом» — *ула* «его дом».

ванных из русского языка притяжательных местоимений, ср.: *Эта мои асхиңуң* «Это моя дочь-моя»: форма слова *асхиңуң* показывает 1-е л. обладателя, и местоимение, по правилам алеутской грамматики, здесь не употребляется. Таких примеров довольно много; все они касаются избыточного использования русских притяжательных местоимений для подчеркивания принадлежности: *У иго айагā аңагиначхиζаχ* «У него хорошая жена» (сочетание *у иго* избыточно, так как форма *айагā* уже означает «его жена»). Ср. «правильное»: *Уламис йагам илага агугийит* «Наш дом деревянный» (букв. «дом-наш дерево-отн. из (последлог) сделан»). Еще примеры двойного выражения притяжательности: *Мой пальтуң!* «Это мое пальто!»;

<sup>3</sup> Атт. — аттуанский, атк. — аткинский, медн. — медновский диалекты.

*Атакан чайникаҕ у мина уит* «Один чайник у меня есть», но ср.: *Иллимиң алах аниҕыйуҕ* «У меня двое детей».

В целом можно сказать, что медновское имя практически не затронуто русскоязычным влиянием. Все словоизменительные парадигмы имени достаточно близки «материнскому» аттуанскому диалекту; в некоторых случаях заметно влияние соседнего беринговского диалекта.

**Глагол.** Алеутский глагол имеет категории лица-числа (одноличное и двухличное спряжение), времени и наклонения.

**Лицо.** Алеутский глагол имел полную парадигму спряжения по трем числам, ср.:

	Ед. число		Дв. число		Мн. число	
	атт.	бер.	атт.	бер.	атт.	бер.
1-е л.	-ҕ	-ҕ	-н	—	-н	-с
2-е л.	-т <sup>с</sup>	-т	-тииҕ	-ҕтидйиҕ	-тиси	-ҕтҕичиҕ
3-е л.	-ҕ	-ҕ	-х	-х	-н	-с

Медновский глагол полностью потерял исконную систему выражения категории лица и имеет русские глагольные личные окончания:

<i>алу</i> «смеяться»		<i>танану</i> «идти»	
<i>алуу</i>	<i>алуим</i>	<i>танануу</i>	<i>танануим</i>
<i>алуи</i>	<i>алуити</i>	<i>танануи</i>	<i>танануити</i>
<i>алуит</i>	<i>алу ат</i>	<i>танануит</i>	<i>танануит</i>

Что касается субъектно-объектных форм, то они практически не употребляются (всего один пример в нашем материале, ср.: *Хиан улаҕ таткаң агуҕа* «Этот дом мой отец построил-он-его»).

**Время.** Алеутская система времен в медновском полностью утрачена. В диалекте осталось фактически три грамматических времени.

1. Настоящее. Не имеет специального показателя: *албит* «нуждается» (*ала-* корень + *-ит* 3-е л. ед. ч.), ср. также: *ҕамáит* «шагает», *нииҕниит* «не пускает», *сулахчийит* «торгует», *амануйит* «уходит», *танануит* «плывет, едет».

2. Прошедшее. Имеет показатель *-л*, ср.: *укухтал* «увидел» (наст. *укухтаит* «видит»), *айхачал* «поехал» (наст. *айхачаит* «едет») и т. п.

Интересно взаимодействие суф. *-л* с показателями лица или, другими словами, тот способ, который избрал медновский для выражения лица в прошедшем времени: *айхача-л-йа* «я поехал», *айхача-л-ти* «ты поехал», *айхача-л-ø* «он поехал», *айхача-л-и-ми* «мы поехали», *айхача-л-и-ø* «они поехали». Русскую глагольную флексию медновский глагол перераспределяет в соответствии с принципом агглютинативного устройства словоформы: *-л* — показатель прош. времени, затем *-ø* или *-и-* — показатели ед. или мн. числа, затем *-йа*, *-ти*, *-ø*, *-ми*, *-ви*, *-ø* — показатели лица, которые представляют собой редуцированные и адаптированные фонетически русские личные местоимения. Существенно, что, заимствуя форму показателей из русского языка, медновский оставляет в неприкосновенности агглютинативный принцип строения словоформы (корень + время + + число + лицо).

3. Будущее. Выражается аналитически, при помощи заимствованного из русского вспомогательного глагола *-буд-* + «русский» инфинитив на *-т* или *-ть*: *аҕисат* буду «я останусь», *анаҕат* буду «я ударю», *будуи анҕат* «встанешь», *нибуду иҕат* «я не буду спешить», (*йа*) *буду (тиба) аҕисат халут* «я научу тебя шить», *нибуду аманут* «я не успею» и т. п.

Если подлежащее в предложении выражено лексически, вспомогательный глагол может выступать в редуцированной форме *буд*, ср.: *Йа буд иҕо хайат* «Я его попрошу».

Медновская система времен, таким образом, целиком русская.

**Наклонение.** В явной форме пока удастся выделить только императив. Аттуанский императив выражался показателем *-йа*, присоединявшимся к основе глагола. Медновский императив имеет показатель *-й*, ср.: атт. *аткийя!* «перестань!»; *ҕийаҕайя!* «не плачь!»; медн. *ҕаңачай!* «свари!»; *хакай!* «иди»; *халуй!* «шей!»; *нииҕний!* «не пускай!» и т. д.

Возможно, что медн. -й является фонетической редукцией атт. -йа, однако полное сходство с одним из показателей русского императива заставляет и здесь предположить русское влияние.

Помимо лица, времени и императива, медновский заимствовал русскую отрицательную частицу, превратив ее в универсальный префикс *ни-*, используемый как средство выражения отрицания. Этот префикс заменил алеутский суффиксальный способ образования отрицательных форм, ср.: *аийит* «длинный» — *ниаййит* «короткий», *и<sup>3</sup>нигтайт* «пускает» — *ниигних тайт* «не пускает», *гайтайт* «высокий» — *нигайтайт* «низкий» и др. В аналитическом будущем времени префикс отрицания присоединяется к вспомогательному глаголу, ср.: *Иа нибуду игзатать* «Я не буду спешить». Появление префикса в суффиксальном языке, каким является алеутский, имеет очень большое значение для грамматической системы языка.

В ряде случаев нами была зафиксирована и старая алеутская отрицательная форма с суф. -гзула- или -лака-, ср.: *кайутйит* «сильный» — *кайугзулаг* «слабый»; *иагиниит* «шевелится» — *йагилакаг* «он неподвижный»; видимо, эта форма используется в именах, в часто употребительных словах.

### Словообразование.

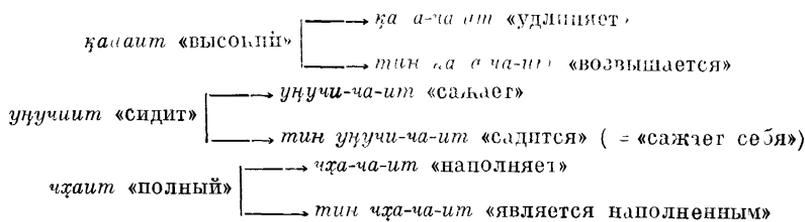
Язык, который, как медновский, имеет русскую глагольную морфологию в области словоизменения, должен был бы претерпеть аналогичные изменения и в других механизмах: в синтаксисе и в словообразовании. И если о глубоком влиянии русского языка в области синтаксиса можно говорить с полным основанием (см. приведенный в приложении текст), то ожидаемых изменений в области словообразования (замены словообразовательных суффиксов на заимствованные из русского служебные и полуслужебные слова) не происходит. Словообразование оказывается наименее затронутым русским влиянием.

Глагольные словообразовательные показатели.

#### 1. Каузативные и транзитивные суффиксы.

1.1. Самый распространенный в медновском показатель каузатива — суф. -ча- — не находит прямых параллелей в беринговском. Ср. примеры: *агсайт* «умирает» — *агса-ча-ит* «убивает»; *аңаңйит* «отходит в сторону» — *аңаңу-ча-ит* «отодвигает»; *игтайт* «падает» — *ига-ча-ит* «роняет»; *кабйаит* «глубокий» — *кабйа-ча-ит* «углубляет»; *каңаит* «зреет, закипает» — *каңа-ча-ит* «варит, готовит»; *такаит* «отсутствует» — *така-ча-ит* «стирает, уничтожает»; *туңагаит* «твердый» — *туңаг-ча-ит* «укрепляет»; *ублайт* «пробуждается» — *убла-ча-ит* «будит»; *аңалигаит* «светлый» — *аңалига-ча-ит* «светает, наступает рассвет».

Глаголы с каузативным суф. -ча- могут употребляться в рефлексивном значении, с обязательным заполнением позиции ближайшего объекта объектным местоимением *тин*. ср.:



1.2. Каузативный суф. -(г)чи- (ср. атт. -чи-, бер. -чги-): *каит* «ест» — *ка-гчи-ит* «кормит»; *нинигит* «лежит» — *нини-гчи-ит* «кладет» и др.

1.3. Каузативный суф. -йа- (атт. ?<sup>4</sup>, бер. -йа-): *хагйаит* «чистый» — *хагйа-йа-ит* «очищает».

<sup>4</sup> Данные об аттуанском словообразовании весьма ограничены; мы располагаем только той информацией, которую удалось извлечь из опубликованных текстов [3].

1.4. Каузативный суф. *-ни-* (атт. ?, бер. *-ни-*): *ахтиит* «останавливается, перестает» — *ахти-ни-ит* «останавливает».

2. Другие словообразовательные суффиксы.

2.1. Суф. состояния, наступившего в результате действия («результатив»): *-(х)та-* (ср. атт. *-хта-*, бер. *-хта-*): *аҕичаит* «снимает шкуру» — *аҕи.хтаит* «снята, находится в снятом состоянии (о шкуре)»; *анҕаит* «встает» — *анҕа.хтаит* «стоит»; *игаит* «взлетает, летает» — *ига.хтаит* «летит»; *инаит* «кончается» — *ина.хтаит* «кончилось, находится в завершённом состоянии».

2.2. Суф. совместности и адресатности *-са-* (атт. *-са-*, бер. *-са-*) *алуит* «смеется» — *алусаит* «смеется над кем-либо»; *укагаит* «приходит» — *ука-гасаит* «приходит с кем-либо».

2.3. Модальный суф. желания *-ту-* (ср. атт., бер. *-ту-*): *сагаит* «спит» — *сага-ту-кали-ит* «начинает хотеть спать» (в сочетании с суффиксом начинательности — см. ниже).

2.4. Суф. способа действия — «длительность»: *-йухта-* (атт.?, бер. *-йукат-*): *хāгаит* «голодает» — *хāгайухтаит* «голодно живет, голодает в течение долгого времени».

2.5. Суф. оценки: «хорошо, быстро»: *-зу-* (атт. ?, бер. *-зу-/дү-*): *абаит* «работает» — *абазуит* «хорошо, быстро работает».

2.6. Фазовый суф. прекращения действия *-кайа-* (атт. *-кайа-*, бер. *-кайа-*): *кайуҕиит* «сильный» — *кайуҕи-кайа-л* «устал (= кончилась сила)».

2.7. Фазовый суф. начала действия *-кали-* (атт. *-қали-*, бер. *-қали-*): *сагаит* «спит» — *сагатукалиит* «начинает хотеть спать».

3. Суффиксы отыменных глаголов.

3.1. «Бытийные» глаголы: суф. *-у-* (бер., атт. ?): *атақан* «один» — *атақан-у-ит* «он находится/остается один»; *хакан* «тот верхний» — *хакан-у-ит* «он находится наверху». (Возможно, впрочем, что это не суффикс, а вспомогательный глагол: *атақан уит* «один является», *хакан уит* «верхним является»; ср. *Ихсан театрам ила ули?* «Места в кинотеатре были?». Отсутствие этого суффикса в беринговском говорит в пользу того, чтобы считать его лексическим элементом. С другой стороны, в алеутском известны многочисленные случаи, когда в речи вспомогательные глаголы сливаются с зависимой частью, причем финаль зависимой части и инициаль (корень) вспомогательного глагола выпадают: ср. современную атт. форму *хақалу* «если он не придет» < *хақа-лака-н а-гү* букв. «приходить-отрицание-зависимое лицо корень вспомогательного глагола-условная форма» [6, с. 32].)

3.2. Глаголы обладания: суф. *-зи-* (атт. ?, бер. *-зи-*): *сагйин* «ружье» — *сагйи-зи-ит* «он имеет ружье, он вооружен»; *сусуҕ* «гной» — *сусу-зи-ит* «гноится».

3.3. Суф. со значением «иметь много»: *-ту-* или *-кату-* (атт. *-ту-* бер. *-ту-*, *-кату-*): *чайуит* «мажет жиром» — *чайу-ту-ит* «жирный, намазанный»; *хакаҕ* «перо, пух, шерсть» — *хака-ту-ит* «лохматый, мохнатый»; *тāңаит* «пьет воду» — *тāңа-кату-ҕ* «много пьющий». (В последнем случае образуемые суф. *-кату-* имена могут легко преобразовываться в глаголы — см. ниже.)

4. Характерным для медновского (как и для других диалектов алеутского языка) является наличие свободного перехода от имени к глаголу с применением лишь парадигматических средств, т. е. бессуффиксальное словообразование, или конверсия: *амун* «белье» — *амуит* «одевает(ся)»; *анҕаҕиҕ* «жизнь» — *анҕаҕиит* «живет»; *апчуҕ* «рассказ» — *апчуит* «рассказывает»; *игатуҕ* «трус» — *игатуит* «трусит»; *илаҕуҕ* «помощь» — *илаҕуит* «помогает»; *имахчиҕ* «крик» — *имахчиит* «кричит» и т. д. Как можно видеть из примеров, имена связаны в этих парах с глаголами различными семантическими отношениями, но образование их происходит только средствами парадигмы.

5. Для алеутского языка вообще и для медновского в частности характерно, далее, отсутствие специального класса слов для выражения качества (прилагательных). Качественное определение выражается име-

нем существительным, связанным с определяемым словом отношением притяжательности; качество в предикативной функции выражается глаголом, который легко образуется бессуффиксальным способом от любого из этих существительных: *аңунаҕ* «большой» (существительное), *аңунаит* «большой» (глагол); *улуйаҕ* «красный» (существительное), *улуйаит* «красный» (глагол); ср. в предложении: *Укухтал-йа улам улуйа* «Я увидел красный дом» (букв. «дома-отн. красность-его») и *Улā улуйаит* «Его дом красный»; *Хлам кайуту* «сильный мальчик» (букв. «мальчика-отн. сила-его») и *Хлаҕ кайутуйт* «Мальчик сильный» и т. п.

Именные словообразовательные показатели.

1. Уменьшительный суф. *-куча-* (ср. атт., бер. *-куча-*): *айагуҕ* «палка» — *айагукучаҕ* «палочка»; *танаҕ* «земля, остров» — *танайакучаҕ* «островок».

2. Суф. оценки *-чхиза-* «хороший» (бер. *-чхиза-*): *анагинаҕ* «человек» — *анагиначхизаҕ* «хороший человек».

3. Показатель *-на(х)* «тот, кто действует» или «то, что получается в результате действия» [атт., бер. *-на(х)*]: *аксаит* «продырявилось, образовалась дыра» — *аксагнаҕ* «дыра»; *ангаиит* «живет» — *ангаинаҕ* «человек, живущий»; *ачигаит* «учит(ся)» — *ачизнаҕ* «учитель» или «ученик»; *илагуит* «помогает» — *илагунаҕ* «помощник» и т. д.

4. Показатель *-хча-* «тот, кто делает что-либо» (бер. *-хта-*): *ҕийаит* «плачет» — *ҕийахчаҕ* «плакса».

5. Орудийный суф. *-си(х)* (атт. *-си-*, бер. *-√си-*): *аксиит* «буравит» — *аксисиҕ* «бурав»; *игаит* «падает, летает» — *игасиҕ* «крыло»; *тутанаит* «слышит» — *тутусиҕ* «ухо».

6. Суф. «места действия» *-луҕ(и)-* (атт. ?, бер. *-луҕ-*): *уңучиит* «сидит» — *уңучилуҕиҕ* «сидение, скамья».

Существуют показатели, которые трудно отнести к именным или глагольным, поскольку они, присоединяясь к глагольной основе, образуют производную основу, от которой далее одинаково легко может быть образован как глагол, так и имя. Это, например, показатель *-ҕи-* «результат (переходного) действия» (бер. *-ҕи-* с близким значением): *аксулаит* «приколачивает» — *аксулаҕиит* или *аксулаҕиҕ* «приколоченный»; *амуит* «одевает(ся)» — *амуҕиит* или *амуҕиҕ* «одетый»; *калуит* «стреляет» — *калуҕиит* или *калуҕиҕ* «раненый»; *нанаит* «болит» — *нанаҕиит* или *нанаҕиҕ* «ушибленный, болящий»; *чиглиит* «раздевается» — *чиглиҕиит* или *чиглиҕиҕ* «раздетый».

Показатель *-ҕи-* можно было бы считать показателем причастия, если бы не сомнительность выделения причастия в подобных случаях: в зависимости от функции в предложении все слова с суф. *-ҕи-* могут становиться либо именами, либо глаголами.

Отметим, что сопоставление медновского с другими алеутскими диалектами однозначно свидетельствует в пользу того, что материнским для него служил аттуанский, а не аткинский, ср. следующие параллели: атк. [m] ~ атт. [β] ~ медн. [b] или [p] : атк. [čamluḥ], атт. [čaβluḥ], медн. [čablub] «пол»; атк. [ḡ] атт. [j] ~ медн. [j] : атк. [adaḥ], атт., медн. [ajaḥ] «отец» и др. (ср. о соотношении аткинського с аттуанским в [7, с. 42]).

Это подтверждается и морфологическими свидетельствами, например, наличием в медновском показателя мн. числа существительных *-н* (ср. атт. *-н*, атк. *-с*).

С другой стороны, на медновский диалект оказал сильное влияние соседний беринговский, ср.: атт. *ҕиҕаҕ*, атк. *ҕиҕнаҕ*, медн. *ҕиҕнаҕ* «огонь»; атт. *игйаҕ*, атк. *икйаҕ*, медн. *икйаҕ* «байдарка» и др.

Несмотря на вынужденную фрагментарность описания, приведенные данные убедительно свидетельствуют, что глагольная и именная словообразовательная морфология, в отличие от глагольного словоизменения и синтаксиса, совершенно не подверглась русскому влиянию. Медновский остается в плане словообразования диалектом алеутского языка, сохранил структурные принципы устройства слова, типы и материальный облик суффиксов в сфере залога, каузатива, модальности, способов действия, междуклассного образования, сохранил характерные особенности частеречной системы (конверсию и отсутствие класса прилагательных),

что является важным для типологической характеристики языка. Этот факт, как представляется, должен быть учтен при попытках реконструкции механизма возникновения такого «смешанного» языка, каким является медновский.

Обычное, повсеместно встречающееся следствие активного двуязычия хорошо известно. Это — так называемая «смена кода» (code switching), которая приводит к функциональному разделению двух языков (например, один язык — в быту, второй — в официальной обстановке) — «полная смена кода», или к возникновению смешанного языка — «частичная смена кода». Мы располагаем чрезвычайно интересным для целей данной работы сопоставительным материалом: записями языка, на котором говорят сегодня молодые алеуты на о. Атка (США). Они опубликованы и проанализированы в превосходной работе К. Бергсланда [6].

Современные аткинцы практически двуязычны. В речи молодежи также есть «гибридные» слова, но по сравнению с медновскими они зеркально противоположны, ср. примеры из [6]: *dad-iin* «твой отец» (от англ. *dad* + атк. = *n* 2-е л., притяжательный показатель); ср. также *dad-ing* «мой отец», *school-in* «твоя школа», *school-ing* «моя школа»; *fish-i-za-ii* «обычно (или „сейчас“) рыбачит», *fish-ii-na-h* «он ловил/будет ловить рыбу»; *fish-i-lumdi-x* «если они двое ловят рыбу»; *type-ii-tu-za-q* «я люблю печатать на машинке»; *mind-ing make up-i-h̄ta-laka-q* «я еще не решила» (от англ. «*I haven't made up my mind*»); (интересно, что здесь, как и в следующем примере, сочетание «глагол + послелог» функционирует как один корень); *think about-iiguzazaḡulang* «я никогда об этом не думала».

Здесь перед нами обычный результат языковой интерференции: лексические единицы воздействующего языка (язык S, по Вайнрайху) получают грамматические показатели языка, подвергающегося воздействию (языка C) (ср. [9]). Медновские же материалы дают прямо противоположную картину:

современный аткинский: *fishiizah* «ловит рыбу» (английский корень + алеутский суффикс);

медновский: *чалитт* «ловит рыбу» (алеутский корень + русский суффикс).

В случаях, подобных современному аткинскому, исследователи единодушны: перед нами — обычное заимствование корневой морфемы (слова), которая далее адаптируется грамматически и фонетически и начинает функционировать в языке как лексическая единица. В случае же с медновским мы сталкиваемся с «заимствованием грамматических морфем» [2] — явлением, относительно которого среди исследователей уже нет полного единодушия (ср., например, [8]). Бесспорным является тот факт, что русские грамматические показатели каким-то образом проникли в язык медновских алеутов; при этом конкретный механизм этого заимствования подлежит специальному исследованию.

Как можно объяснить эти факты? Если признать, что перед нами явления одного типа, т. е. что медновский, подобно современному аткинскому, представляет собой результат языковой интерференции, то из этого неизбежно следует вывод: язык, подобный медновскому, мог появиться только в среде носителей русского языка, на которых оказывал сильное влияние доминантный атланский диалект — совершенно так же, как в послевоенный период на коллектив алеутоязычных носителей на о. Атка стал оказывать сильное влияние доминантный английский язык. Мы постараемся показать, что для Командорских островов такая ситуация исторически возможна; вслед за Р. Шоденсоном, мы считаем, что для языковеда, занимающегося вопросами взаимодействия языков, первым шагом должно быть детальное изучение истории заселения района в течение периода предполагаемого формирования языка, в том числе и с целью установить промежуток времени, в течение которого сформировался язык (см. [10]).

Согласно предлагаемой гипотезе, путь, пройденный медновским язы-

ком за полтора века и приведший к столь нетривиальному результату, включал четыре этапа <sup>5</sup>.

Первый этап. В 1826 г. на о. Медный впервые появилось постоянное население. В языковом отношении оно не было однородным: жители с самого начала представляли смесь алеутов, русских и так называемых «креолов» (см. [11], а также материалы К. Т. Хлебникова, который дает цифры населения острова Беринга на 1827 г.: русских 17 чел., алеутов 45 чел., креолов 48 чел. — [16]). Термин «креолы» использовался как официальное название потомков русских промышленников и алеутских женщин. По принятому в Русской Америке положению, дети креолов оставались креолами, как бы не перемешивалась их кровь. Достаточно было родиться креолом, чтобы попасть в особое сословие, свободное от гнета РАК, не знавшее никаких повинностей и податей. Положение креолов резко отличалось от положения местного алеутского населения [11, с. 18]. Практически все они были наемными служащими РАК, получали жалование, квартиру, форменную одежду, продовольствие и пенсию по истечении 10-летней службы [11, с. 20 и сл.]; см. также ссылку на архивы Российско-Американской Компании в [15]. Креолы старались по возможности подходить на русских манерой одеваться и образом жизни, всячески подчеркивали свое отличие от алеутов. Креолы свободно говорили по-русски. Однако существенно, что привилегированное положение креолов держалось только и исключительно на правилах, существовавших в РАК. Русские, жившие вместе с ними на островах, всегда относились к креолам с пренебрежением; с другой стороны, и алеуты не уважали креолов [11, с. 19]. Можно предположить, что в течение 40 лет, когда сохранялось это положение, на Командорах сложилась своеобразная лингвистическая ситуация: креолы были двуязычны с преобладанием русского языка, на котором они старались говорить с русскими, а алеуты — двуязычны с преобладанием алеутского языка, на котором они говорили между собой.

Второй этап. В 1868 г. РАК прекратила свое существование. Командорские острова были приписаны Петропавловскому исправнику; он наезжал редко, острова остались практически без управления. Креолы — наемные рабочие РАК и алеуты — фактические рабы РАК получили вдруг «свободу» и все права инородцев — но одновременно острова оказались открыты для вольной иностранной, в основном американской, торговли [12, с. 20]. Результатом было разорение промыслов, поголовное обнищание островитян; дошло до того, что правительство вынуждено было отпустить субсидию для снабжения продовольствием этих некогда богатых островов [12, с. 20]. Впрочем, положение несколько выровнялось после того, как в 1872 г. острова были сданы в аренду одной из американских компаний.

Возникла ситуация, когда русскоязычная креольская группа, численно уступающая алеутоязычному населению, сравнилась с ним в материальном и социальном положении: креолы утратили все свои привилегии вместе с ликвидацией РАК. В этих условиях русскоязычная креольская группа, видимо, повела себя так, как множество других аналогичных языковых коллективов в подобных обстоятельствах: сконструировала «пиджин» на алеутской основе для общения с доминирующей алеутской группой. Этот пиджин, как и полагается, включал «суперстратные» (в данном случае — алеутские) корни и минимум необходимой «субстратной» (в данном случае — русской) грамматики. Этот пиджинизированный алеутский не был, естественно, родным языком ни для одного из говорящих на нем коллективов: он использовался креолами и алеутами для общения между собой (ср. описание подобных процессов в [13]). (К этому времени, т. е. к 80-м годам относится и единственное пока обнаруженное нами письменное свидетельство того, что алеуты Командорских островов говорят «смешанным языком» [12, с. 9].)

<sup>5</sup> Приводимые здесь соображения были сформулированы в настоящем виде во многом в результате обсуждений проблемы с сотрудниками Института этнографии АН СССР М. А. Членовым и И. И. Крушником, которым автор искренне благодарен за возможность таких обсуждений.

В качестве варианта можно предложить гипотезу, согласно которой медновское креольское население не создавало свой пиджин, а воспользовалось каким-то пиджином, уже существовавшим на территории Русской Америки; однако до настоящего времени не известны данные, подтверждающие существование такого единого языка.

Третий этап. Ре-экспансия структуры «пиджина» на базе алеутского языка. Основная масса медновцев воспринимает возникший язык как родной и вносит в него элементы алеутской словообразовательной морфологии, синтаксиса и обширную алеутскую лексику. Образовавшийся язык продолжает развиваться за счет обоих участвовавших в его создании языков — алеутского и русского, причем влияние последнего становится все большим и большим (ср. синтаксис и обилие русских заимствований в тексте в приложении).

Четвертый и последний этап — начавшееся в начале 40-х годов XX в. бурное взаимодействие образовавшегося медновского языка с социально доминирующим русским языком — процесс, который идет с разной степенью интенсивности во всех языках народов Севера. Это — заимствование новых слов, в том числе служебных и полуслужебных (типа местоимений), проникновение в язык русских грамматических конструкций типа «быть + N») и т. д. (см. подробнее в [1]). Это уже — этап на пути к отмиранию языка.

Предложенная модель объясняет, как нам кажется, все известные на сегодняшний день факты. В частности, она объясняет, почему медновцы совершенно не осознают родства своего языка с русским (об этом писал и Г. А. Меновщиков, см. [14, с. 133]); почему они отрицают даже очевидное сходство некоторых форм, не воспринимают его как «испорченный русский»: просто потому, что у истоков их языка лежит не Pidgin Russian, а Pidgin Aleut.

[Как любопытное косвенное подтверждение реальности предложенной схемы можно привести такой факт. В 1984 г. во время работы среди эскимосов Чукотки одна из наших информанток (жительница с. Сиреники, 1940 г. р.) рассказала, что ее дочь (1965 г. р.) в детстве путала слова и говорила: *Я это нйваю?* (ср.: *нйвалъыџаџа* «я это перелю»), *Мама, я это џуваю?* (ср.: *џувалъыџаџа* «я это вылью») и под. Девочка с детства слышала дома эскимосскую речь, в яслях и детском саду говорила по-русски. В результате к пяти годам она твердо предпочитала русский язык, а «искаженные» слова вроде приведенных использовала при обращении к матери, которая обычно говорила по-эскимосски, хотя хорошо понимала и русский язык. Перед нами, следовательно, попытка двуязычной, с предпочтением русского, девочки говорить на «мамино» языке, приводящая к появлению слов, образованных по той же модели, что и известные нам медновские.]

Без сомнения, предложенная модель является не более чем гипотезой. Реальный ход исторических событий, приведший к образованию социально-экономической ситуации, в результате которой возник описанный тип двуязычия, еще предстоит выяснить. Идеальным свидетельством такого рода были бы архивные материалы, фиксирующие происхождение с того или иного острова и социальный статус всех алеутских семей, переселенных на о. Медный в 1826 г. и подселавшихся в последующие годы. Без свидетельств такого рода никакая модель — ни предложенная здесь, ни сформулированная Г. А. Меновщиковым в [14, с. 131] — не может считаться окончательной.

Реальное психолингвистическое содержание этого процесса (пиджинизация, креолизация, последствия высокой степени двуязычия и конкретные формы этого двуязычия) также еще предстоит установить. Однако, каким бы ни оказался, так сказать, «физический смысл» предложенного «лингвистического уравнения», бесспорным, на наш взгляд, остается одно: образование языка медновских алеутов могло быть только результатом воздействия аттуанского диалекта на языковой коллектив, для которого русский являлся родным языком (хотя, возможно, и не единственным).

(А): *Тимис айхачали-ми айаңичала танах агачали-ми. Машинамис*  
Мы поехали, густой туман, берег потеряли мы. Мотор наш

*абагал нас тигийисакалили. Ақут будит. Таңат-та ничу. Салугулақ*  
сломался нас унесло течением. Что будет? Пить-то нечего. Дождь

*иласакалили салугулақ-та ниту. И вусим сутук салагулақ нибыла.*  
стали ждать, дождя нет. И восемь суток не было дождя. Пока мы

*Пука ми мис Сипунах ниңули. Матурақ йазага агачали-ми, иглать*  
мыс (до мыса) Шипунский не доехали. Мотор мы разобрали, искать

*как-та нада та нах. <...> Алах аңалих ми иво абасали саремя. Пука*  
как-то надо берег. <...> Два дня мы его делали все время. Пока

*иво абасали йа атағанул айхасин нага симисизуни чайкин. Қат-та*  
его делали, я один в шляпке промышлял чаек. Есть-то нужно все

*нада суравно. Сичин или атун аңалин хагали, қат-та нада. <...>*  
равно. Четыре или пять дней голодали, есть-то надо. <...>

*Машинағ ағачали камалака тимис айхачали. Танах нибудити укуть*  
Машину исправили потихоньку мы поехали. Берег не найдешь, этот

*указла и Миднах. Ришили тимис айхачатъ танах иглать. Алах*  
(имеется в виду о. Беринга.— В. Н.) и Медный. Решили мы ехать берег  
искать.

*аңалих ағали натрети танах укули. Ми вечером тамағали ниажкатали*  
Два дня шли, на третий берег нашли. Мы вечером пришли, не знали,

*какуй танах эта. Путум хихсали со эта мис Шипон. Якоримис ану-*  
какой это берег. Потом узнали, что это мыс Шипунский. Наш якорь

*сали қийумис дажи нихватила, ничугали. Куда аңалих хақал ми*  
бросили веревки даже не хватило, не хватило. Когда день насту-

*укули алах игиғйух. А таңат-та нада. <...> Йа им ағтал стоби*  
пил, мы увидели два водопада. А пить-то надо <...> Я им сказал,

*таңам қалағи нитаңали тумусту стольку аңалих ми нитаңали.*  
чтобы воды много не пили, потому что столько дней мы не пили.

(В): *А то тимас ахсағинить будим.*

А то мы заболеем.

(В): <...> *Ми чайниках инкачали каминакучах анил чайуғалили.*

<...> Мы чайник повесили, печурку затопив, стали чай пить.

*Путум городом хайа тимис хуйасали. Тунухтали городах агитал*  
Потом в город мы поехали. Говорили из города катер вышел. Как

*суннах тамага. Как нарушна нас хамагакалили городам хайа салу-*  
нарочно, когда нас стал буксировать в город, дождь пошел,

*қикайал иганачал алукупсал <...>*

сильная зыбь поднялась <...>.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Асиновский А. С., Вахтин Н. Б., Головки Е. В. Этнолингвистическое описание Командорских алеутов.— ВЯ, 1983, № 6.

<sup>6</sup> Запись сделана летом 1982 г. в с. Никольское, о. Беринга. Информанты: (А) — Степан Емельянович Сушков, 1913 г. р., (Б) — Сергей Илларионович Сушков, 1922 г. р., (В) — Александр Моисеевич Аксенов, 1932 г. р. Все трое свободно говорят по-русски, но категорически отрицают какое бы то ни было сходство «своего языка» с русским.

2. Меновщиков Г. А. К вопросу о проницаемости грамматического строя языка.— ВЯ, 1964, № 5.
3. Bergsland K. Aleut dialects of Atka and Attu.— In: Transactions of the Amer. philos. soc., N. S., 1959, v. 49, p. 3.
4. Jochelson W. Essay on the grammar of the Aleut language. 1930, ms.
5. Bergsland K., Dirks M. Atkan aleut school grammar. Anchorage, 1981.
6. Bergsland K. Postwar vicissitudes of the Aleut language.— In: Eskimo languages. Their present-day conditions. Aarhus, 1979.
7. Bergsland K. Some problems of the Aleut phonology.— In: For Roman Jakobson. Essays on the occasion of his sixtieth birthday. The Hague, 1956.
8. Серебренников Б. А. Проблема достаточности оснований в гипотезах, касающихся генетического родства языков.— В кн.: Теоретические основы классификации языков мира. М., 1982, с. 50.
9. Вайнрайх У. Одноязычие и многоязычие.— В кн.: Новое в лингвистике. Вып. VI. М., 1972.
10. Chaudenson R. Towards the reconstruction of the social matrix of Creole language.— In: Pidgin and Creole linguistics, Ed. by Valdman A. Indiana Univ. Press, 1977, p. 261—262.
11. Головин. Обзор русских колоний в Северной Америке. СПб., 1862.
12. Беклемешев. О командорских островах и китиковом промысле. СПб., 1884.
13. Hall R., jr. Hands off Pidgin English! Sydney, 1955, p. 26.
14. Меновщиков Г. А. О некоторых социальных аспектах эволюции языка.— В кн.: Вопросы социальной лингвистики. Л., 1969.
15. The journals of Iakov Netsvetov: The Atkha years, 1828—1844. Translated, with an introduction and supplementary material by Lydia Black.— In: Materials for the study of Alaska history, N 16. The Limestone Press, 1980, p. XXV—XXVI.
16. Русская Америка в неопубликованных записках К. Т. Хлебникова. Л., 1979, с. 161.

ГЮЛЬМАГОМЕДОВ А. Г.

## РОЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА В АКТИВИЗАЦИИ НЕКОТОРЫХ ПРОЦЕССОВ В ЛЕЗГИНСКОМ ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ

В настоящее время, когда русский язык стал общепризнанным средством межнационального общения народов СССР и значительно расширились масштабы национально-русского двуязычия [1, 2], особую актуальность приобретает изучение тех изменений и тенденций, которые происходят в развитии самих национальных языков [3, 4]. Уже накоплен определенный опыт описания и исследования результатов влияния русского языка на языки народов нашей страны, разрабатываются методы дальнейшего углубленного изучения различных сторон этой многоаспектной проблемы [5—8]. Имеются и работы, посвященные роли русского языка в жизни народов Дагестана, взаимодействию русского и дагестанских языков [8—11]. Лезгинский язык, являющийся одним из пяти младописьменных дагестанских языков, также испытал на себе благотворное влияние русского языка, что нашло отражение в ряде исследований. Так, например, произведена классификация 1400 лексических единиц, восходящих к русскому языку, по 15 семантическим группам [12]. Распределены на тематические группы дооктябрьские русские заимствования [13]. Предпринята попытка изучить влияние русского языка на развитие фразеологии [14] и синтаксиса лезгинского языка [15].

В данной статье будут изложены предварительные наблюдения над теми процессами, которые происходят на различных уровнях лезгинского литературного языка в ходе его контактирования с русским. Объектом рассмотрения в основном служат письменные тексты современной лезгинской периодической печати.

На лексико-семантическом уровне в лезгинском наблюдаются, с одной стороны, увеличение общего количества лексических единиц, с другой — расширение объема значений исконных единиц.

Количественный прирост лексических единиц происходит главным образом за счет заимствований и калькирования, что уже отмечалось в лингвистической литературе (см., например [12, 14]). Поэтому целесообразно показать роль русизмов в активизации отдельных языковых процессов. В этом отношении весьма характерны некоторые изменения, происходящие в области синонимии лексических единиц лезгинского языка под влиянием русского.

Русизмы (русское слово, заимствованное лезгинским языком, или значение русского слова, переданное лезгинскому слову) в синонимических рядах (СР) лезгинского языка выступают единицами: а) образующими СР, б) обогащающими СР.

Синонимические ряды, образовавшиеся благодаря русизмам, делятся на две группы: а) СР, целиком состоящие из русизмов, б) СР, одним из членов которых является русизм.

Синонимические ряды, целиком состоящие из русизмов, в количественном отношении малочисленны; как правило, эти единицы и в самом русском языке синонимичны: *самолет* — *аэроплан*, *машин* — *автомобиль* в значении «экипаж, приводимый в движение собственным механическим двигателем», *машин* — *автомат* в значении «действующий машинально, автоматически» (в обоих приведенных примерах налицо случаи частичной синонимии), *картуф(-ар)* — *картуш(-ар)* «картофель»<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Здесь и далее примеры на употребление синонимов в тексте не приводятся, они имеются в работе [16].

Как видим, приведенные СР и в семантическом, и в материальном отношении — целиком продукт русского языка. В лезгинском имеются СР, семантически принадлежащие русскому языку, а материально оформленные единицами русского и лезгинского языков. Такие СР образуют, как правило, термины той или иной отрасли науки, например, литературоведения: *фольклор* — *халкъдин мецин творчество* (букв. «народа языка творчество») — *халкъдин сивин творчество* (букв. «народа рта творчество») — *халкъдин мецин гуърчег эсерар* (букв. «народа языка красивые произведения»). К этим рядам относятся и те случаи, когда русское слово образует СР вместе с семантической калькой: *герой* — *игит* — *персонаж* в значении «действующее лицо литературного произведения»; *образ* — *суьрет* в значении «созданный художником характер, тип» и др.

Говоря о СР, где один из компонентов — русизм, в первую очередь, необходимо отметить слова-интернационализмы, вошедшие в словарный состав лезгинского языка через русский и употребляющиеся наряду со словами, восходящими к восточным языкам (азербайджанскому, арабскому, персидскому): *революция* — *инкъилаб*, *корреспондент* — *мухбир*, *минута* — *декыкья* и др.

Вместе с восточными заимствованиями СР образуют и слова исконно русского происхождения: *вождь* — *рггьбер*, *учитель* — *муаллим*, *столица* — *меркез* и др.

О месте компонентов этих СР в лексической системе лезгинского языка трудно говорить сколько-нибудь категорически. Чаще всего сейчас в письменной речи (что поддается анализу и контролю) они используются в стилистических целях, чтобы избежать повтора одного и того же слова в пределах небольшого контекста, если их употребление не объясняется различной стилистической оценкой членов СР разными лицами.

Отдельные лексико-семантические единицы русского языка обогащают имеющиеся СР. Так, например, в лезгинском трехчленный СР *тесниф* — *эсер* — *чГал* со значением «продукт языкового творчества» включает теперь и русизмы *произведений* и *шей* (семантическая калька слова *вещь*).

Таким образом, естественно заключить, что на лексико-семантическом уровне лезгинского языка происходят изменения в парадигматических отношениях единиц.

В некоторых работах иногда звучат отголоски мнения, будто фразеологические единицы (ФЕ) не поддаются переводу на другие языки и непереводаемость является чуть ли не дифференциальным признаком ФЕ. Однако наблюдения над материалом разных языков, в том числе и лезгинского, убеждают нас в ошибочности такой точки зрения. Одним из живых процессов, происходящих в настоящее время в лезгинском языке, является именно обогащение фразеологического фонда языка за счет калькирования русских лексем.

Калькируются ФЕ, служащие обозначениями более или менее новых для лезгинской действительности денотатов: *кГвалахдин гьафте* < *рабочая неделя*, *собрание тухун* < *вести собрание*, *кЪелемдин стха* < *собрат по перу*.

Некоторые фразеологические кальки восходят к русским лексическим единицам: *руководство гун* < *руководить*, *чехирардай завод* < *винзавод*, *жува жуваз чирвилер кЪачун* < *самообразование*.

Полностью калькируются ФЕ в тех случаях, когда в лексической системе лезгинского имеются слова, эквивалентные компонентам ФЕ русского языка. Сохранение в составе калькированного фразеологизма русской лексической единицы объясняется, как правило, отсутствием в лексической системе лезгинского языка соответствующего эквивалента.

В письменных текстах широко калькируются пословицы и поговорки, а также компаративные ФЕ с прозрачной мотивировкой: *Жуван перем жуваз мукъва я* < *Своя рубаха ближе к телу*; *ЦГай авачир чкада гумни жедач* < *Без огня дыма не бывает*; *Дергес кЪванцел расалмиш хъана* < < *Нашла коса на камень*.

В результате калькирования из русского языка в лезгинский проникают и интернациональные ФЕ: *ахиллесева пята* — *ахиллесан дабан*, *сиам-*

ские близнецы — *сиамдин късетхверар*, в здоровом теле — *здоровый дух* — *сагъ беденда* — *сагъ ругъни жеда*<sup>2</sup>.

Интересные явления наблюдаются в области словообразования. Возникают и активизируются новые словообразовательные суффиксы. Они присоединяются к заимствованным свободным основам, в результате чего становится активной словообразовательная модель глагольных единиц «существительное + *-ламишун*»: *концентрат* + *ламишун* → *концентратламишун* «концентрировать»; *пар* + *ламишун* → *парламишун* «паровать»; *парк* + *ламишун* → *паркламишун* «парковать»; *план* + *ламишун* → *планламишун* «планировать».

В приведенных примерах новым суффиксом является фонетический комплекс *-ламишун*, обнаруживающий мнимое совпадение с последними слогами таких глаголов, как *гуьзламишун* «ожидать», *багъишламишун* «прощать, извинять» и т.д. О мнимом совпадении мы говорим потому, что глаголы *гуьзламишун*, *багъишламишун*, как справедливо отмечают, произведены от заимствованных основ (в лезгинском языке лексико-грамматически не оформленных) прибавлением вспомогательного глагола *авун* (*ун*): *гуьзламиш* + *авун* (*ун*), тогда как приведенные выше глаголы мотивируются через заимствованные и широко употребляемые имена существительные *концентрат*, *пар*, *план* и т.д.

Разновременное заимствование лезгинским языком непрямых слов и производных от них в русском языке единиц дает возможность, с одной стороны, соотносить их как производные и производящие и в лезгинском, а это, в свою очередь, приводит не только к увеличению количества словообразовательных морфем, но и активизирует сам процесс производства слов с помощью суффиксов. Например: *трактор* — *тракторист*; *мотоцикл* — *мотоциклист*; *бульдозер* — *бульдозерист*; *машин(а)* — *машинист*.

В этих лексемах нельзя не выделить морфемы *-ист*, тем более что основы с этим суффиксом сами становятся производящими, но для единиц другой семантической модели. От производных<sup>3</sup> существительных со значением лица (*бульдозерист*, *тракторист*) с помощью исконного суф. *-вал* образуются существительные абстрактной семантики: *бульдозериствал* букв. «бульдозеристчество», *мотоциклиствал* букв. «мотоциклистчество», *тракториствал* букв. «трактористчество», *машиниствал* «машинистчество».

К числу материальных единиц, выделяемых в составе заимствованных слов лезгинского языка, следует причислять и такие морфемы, как: *-овщик*: *кран* «кран» → *крановщик* «крановщик» → *крановщиквал* букв. «крановщичество»; *-ник*: *школа* «школа»; → *школьник* «школьник» → → *школьниквал* букв. «школьничество»; *-ск-*: *учитель* «учитель» → *учительница* «учительница», *учительский* «учительская», *учителвал* «учительство».

Хотя указанные суффиксы пока не присоединяются к лезгинским словам, их следует выделять для установления морфемного состава анализируемых слов: они «соотносятся с двумя рядами слов: 1) включающих ту же основу (или тот же корень), 2) включающих те же аффиксы (или тот же аффикс)» [18]. Быть может, в данном случае следует говорить не о словообразовательном уровне, а о морфологическом, ибо: «если искомой величиной морфологического анализа являются морфемы, из которых складывается слово, то искомой величиной словообразовательного анализа — основы и деривационные аффиксы» [19]. В приведенных случаях нельзя не видеть движения в морфемной структуре слова, и, более того, нельзя игнорировать и словообразовательную мотивацию не только в русском языке, но и в лезгинском: «1) оба слова имеют один и тот же корень; 2) значение одного из слов... полностью входит в значение другого...» [20].

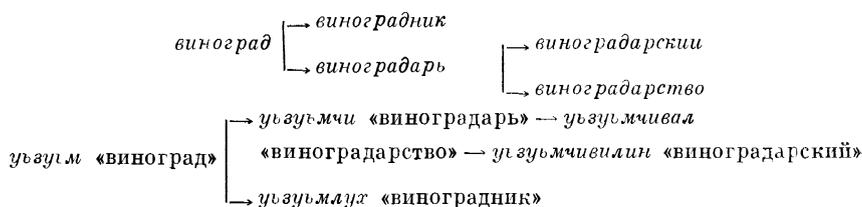
В данном случае мы имеем то же самое явление, которое наблюдается в английском языке: «...массовое заимствование французских слов, воз-

<sup>2</sup> См. более подробно о калькировании [17].

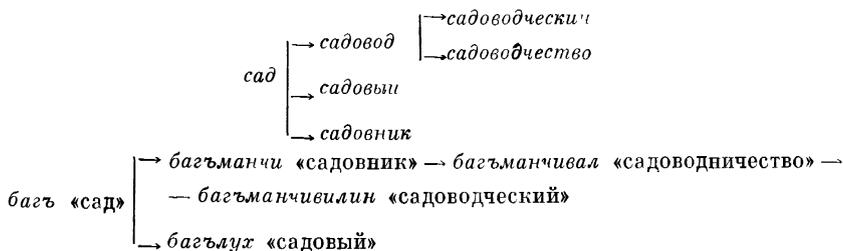
никшее в результате завоевания Англии норманнами, привело к тому, что слова заимствовались не отдельными единицами, а целыми этимологическими гнездами, целыми структурными словообразовательными рядами. Это помогло морфологическому расчленению заимствованных слов и выделению аффиксов (разрядка наша.— Г. А.), которые стали продуктивными в английском языке, что не могло не сказаться на качестве языка, поскольку система современного английского аффиксального словообразования в значительной мере определена функционированием романских по происхождению элементов [21].

Высокая продуктивность суффиксального способа словообразования в русском языке приводит в движение и потенциальные возможности лезгинского словообразования. Так, например, необходимость передачи в лезгинском языке таких понятий, как «виноградарь», «виноградарство», «виноградарский», «виноградник», привела к образованию единиц *уьзуьмчи*, *уьзуьмчивал*, *уьзуьмчивилин*, *уьзуьмлух*.

При этом важно отметить, что отношения между производными и производящими в русском и лезгинском языках различны:



Ср. еще:



Характеристику изменений в области словообразования можно завершить словами Л. И. Жиркова: «Все эти внесения новых формальных элементов обогащают лезгинскую морфологию (т. е. словообразование.— Г. А.), делают ее более гибкой, более способной выражать все точные и тонкие оттенки мысли, которые требуются в развитой научной и художественной литературной речи» [22].

В современных младописьменных языках, наряду с такими общими для всех языков функциями, как коммуникативная, кумулятивная и директивная, по-видимому, можно говорить о появлении еще одной «коммуникативно-созидательной». Так, в сфере синтаксиса наблюдается: а) количественный рост новых номинативных единиц, являющихся обозначениями новых денотатов; б) возникновение новых структурных отношений между компонентами номинативных единиц; в) количественный рост новых типов предикативных единиц.

Новые синтаксические единицы (т. е. словосочетания) материально выражаются: а) единицами русского языка, б) материалом лезгинского языка, комбинацией материала русского и лезгинского языков.

К словосочетаниям, выраженным материалом русского языка, относятся: *международный революционный организация* «международная революционная организация», *программный документ* «программный документ», *гражданский общество* «гражданское общество» и др.

Словосочетания, передаваемые материалом лезгинского языка: *чешнелу низам* «образцовый порядок», *тварцин магъсулар* «зерновые культу-

ры», *виниз тир тешкиллувал* «высокая организованность», *кIвалахдин нетижаяр* «результаты работы» и т. д.

В качестве примеров единиц, представляющих собой комбинации материала русского и лезгинского языков, можно привести: *социализмдин законар* «социалистические законы», *политический агъавал* «политическое господство», *яратмишдай инициатива* «творческая инициатива», *реакциядин девир* «период реакции» и др.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что: 1) под влиянием синтаксических единиц русского языка в лезгинском формируется определенный фонд свободных словосочетаний; 2) компоненты русского происхождения функционируют в составе словосочетаний, восходящих к русскому языку. Другими словами: синтагматический, парадигматический, денотативный статус определительных слов *программный, гражданский, социальный, политический* в вышеприведенных словосочетаниях и таких ранних заимствованиях, как *перо, карандаш, тетрадь*, не может быть одинаковым.

Нельзя ставить знак равенства между отношениями компонентов приводимых нами выше словосочетаний и таких исконных лезгинских словосочетаний, как *гъвечли куткун* «маленькая плетенка», *гуьтIуь куьлуьт* «узкий чулок» и др. Первые словосочетания пришли в лезгинский язык сложившимися, а вторые — формировались на почве лезгинского языка. Синтаксис русского языка в данном случае является не только поставщиком «строительных блоков», но и предлагает связи между их деталями. А это выражается в расширении сочетательных возможностей лексических единиц лезгинского, соотносительных с единицами русского языка. Так, например, слово *кIвенкIвечи* «передовой» само является советизмом в лезгинском языке и сочеталось до недавнего времени с существительным конкретной семантики лица. В текстах последнего времени оно встречается и с существительным абстрактного значения *тежриба* «опыт»: *кIвенкIвечи тежриба* «передовой опыт».

В результате калькирования некоторых синтаксических единиц увеличивается протяженность русских словосочетаний в лезгинском языке. Например, как видим, следующие многокомпонентные словосочетания *майшишатдин товарар маса гудай магазин* «промтоварный магазин», *разивал ийиз тежедай гъал* «неудовлетворительное состояние», *гъар йикъан гуьзчивал* «повседневный контроль», *зегъметдин бур тушир доходар* «нетрудовые доходы» и др. восходят к двухкомпонентным единицам русского языка. Попутно отметим, что «протяженность» подобных единиц создается вследствие вербального перевода сложной морфемной структуры определительного компонента.

Как новый процесс в области синтаксиса лезгинского языка следует квалифицировать активизацию именных конструкций с зависимым компонентом, выраженным падежной формой масдара (по терминологии М. М. Гаджиева, «масдарных конструкций» [23, с. 77]) вместо именных конструкций с зависимым компонентом, выраженным причастным или деепричастным компонентом. Так, например, *алафдалди таъмин тавуниш нетижа* (букв. «сеном обеспечения непроизведения результат»), «результат необеспеченности сеном») вм. *алафдалди таъмин тавурвилай хъайи нетижа* (букв. «сеном обеспечение из-за непроизведения получившийся результат»), *сар къачунин мажбурнама* (букв. «шерсти получения обязательство», «обязательство по производству получения шерсти») вм. *сар къачун патал къунвай мажбурнама* («шерсти получения для взятое обязательство») и др.

Наличие в письменных текстах именных конструкций М. М. Гаджиев называл двадцать лет назад «неуместным употреблением», «редким употреблением» [23, с. 77—78], но ныне активность этих конструкций в газетной речи столь высока, что целые абзацы состоят из именных словосочетаний, выступающих в функции темы предложения. Предпочтительное употребление этих конструкций в газете, по-видимому, объясняется семантической и синтаксической сжатостью масдарных конструкций по сравнению с адъективными или глагольными конструкциями.

Количественный рост предикативных единиц выражается в широком распространении на страницах газеты некоторых типов предложений. В первую очередь следует назвать конструкции простых предложений с отсутствующим глагольным компонентом-сказуемым. В предложениях этого типа подлежащее или группа подлежащего и сказуемое или группа сказуемого соединяются между собой интонацией, а на письме — знаком тире: *Лагерар — кардик* «Лагеря — в эксплуатации» (Коммунист, 1981, 24 июня), *Гатфарин культурайриз — чешнелу гелкъуьн* «Весенним культурам — образцовый уход» (Коммунист, 1981, 28 июня), *Идеологиядин кIвалахдиз — артух фикир* «Идеологической работе — больше внимания» (Коммунист, 1981, 24 июня), *Собранийриз — тежиллувал* «Собраниям — организованность» (Коммунист, 1981, 2 окт.), *План — вахтундилай вилик* «План — раньше срока» (Коммунист, 1981, 7 июня) и др.

Активизацию этого типа предложений в газетно-публицистическом стиле отмечают в настоящее время и исследователи адыгейского языка [24].

Другим типом активизирующихся синтаксических предикативных единиц в лезгинском языке являются конструкции, соединенные между собой интонацией (двоеточием в газетном тексте). Первая часть в таких предложениях является тем(атическ)ой, вторая — рем(атическ)ой: *Карл Маркс: уьмуьрдин ва женгинин йисар* «Карл Маркс: годы жизни и борьбы» (Коммунист, 1983, 6 февр.); *«Дон-1500: чуьллера ахтармишунри вуч къалурна?»* «Дон-1500: что показывали испытания в степях?» (Коммунист, 1983, 9 февр.); *Хуьрера алишверин: агалкъунар ва жележегдин мумкинвилер* «Торговля на селе: достижения и возможности в будущем» (Коммунист, 1981, 24 июня).

При синтаксическом анализе текста этих конструкций правильнее будет назвать их эллиптическими предложениями, как это делают отдельные исследователи русского языка [25].

В основе лезгинской орфографии лежит фонетический принцип, ср. *хѳб* «овца», но *хпер* «овцы», *кIанивал* «любовь», но *кIанивили* «любви» (род. п.) и др. Однако же русские заимствования в лезгинском тексте пишутся по нормам русской орфографии [26] — *карандаш*, *пальто*, *винтовка*, *закон*, *форма* и др., хотя они произносятся [крандаш], [палту], [винтуфка], [закун], [фурма]. Следовательно, в данном случае можно говорить не столько о возникновении какого-то фонетического процесса, сколько об оформлении русских заимствований и в лезгинском языке по нормам русской орфографии, — т. е. мы имеем дело не с явлениями фонетики, а с особенностями орфографии двух языков. С этой точки зрения нам трудно согласиться с мнением, будто «под непосредственным влиянием русского языка в современном лезгинском литературном языке представлены не характерные для его системы различные комплексы согласных» [27, с. 23]. В подтверждение этого приводятся комплексы графем *-нтств-* (в середине слова), *-рд* (в конце слова), произношение которых и в самом русском языке не соответствует звукобуквенному изображению.

В передаче русских слов в лезгинском тексте по нормам русской орфографии следует видеть сближение письменных характеристик русского и лезгинского языков.

Влияние русской орфографии проявляется не только в оформлении поздних заимствований по правилам русского правописания. Если сопоставить «Свод орфографических правил лезгинского языка» с «Правилами русской орфографии», то нетрудно заметить, что многие пункты свода правил лезгинской орфографии сформулированы под влиянием русского языка.

Как видно из изложенного, русский язык оказывает весьма плодотворное влияние на всю структуру младописьменного литературного лезгинского языка: он способствует возникновению инноваций и ускоряет протекание некоторых процессов в развитии языка. Разумеется, глубина и объем этого влияния зависят от множества факторов. Наиболее существенными из них мы считаем: 1) интенсивность контактов русского и лезгинского языков; 2) престижность русского языка как языка межнацио-

нального общения народов СССР, как второго родного языка (по данным переписи 1979 г., из 188 804 лезгин, проживающих на территории ДАССР, 1922 назвали своим родным языком русский, а 121 486 свободно владеют русским языком [28]); 3) ориентация литературного лезгинского языка на русский как на источник обогащения и развития своих ресурсов; 4) современный курс языкового строительства, основанный на объективных законах развития социалистического общества в нашей стране.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Русский язык как средство межнационального общения. М., 1977.
2. Развитие национально-русского двуязычия. М., 1976.
3. *Дешериев Ю. Д.* Закономерности развития литературных языков в советскую эпоху. Основные процессы внутривидового развития иранских и иберийско-кавказских языков. М., 1969.
4. *Дешериев Ю. Д., Протченко И. Ф.* Развитие языков народов СССР в советскую эпоху. М., 1968.
5. *Дешериев Ю. Д.* Закономерности развития литературных языков народов СССР в советскую эпоху. Развитие общественных функций литературных языков. М., 1976.
6. *Дешериев Ю. Д.* Введение.— В кн.: Развитие национально-русского двуязычия. М., 1976.
7. *Илишкин И. К.* Развитие калмыцкого литературного языка в условиях формирования калмыцко-русского двуязычия. Элиста, 1972.
8. Могучий фактор национально-языкового развития. Фрунзе, 1981.
9. *Гайдаров Р. И.* Взаимодействие русского и национальных языков в Дагестанской АССР.— В кн.: Пути развития национально-русского двуязычия в нерусских школах РСФСР. М., 1979.
10. *Гаджиев А.* Великий русский язык — средство межнационального общения и приобщения народов Дагестана к достижениям научно-технической революции. Махачкала, 1981.
11. *Гамзатов Г. Г.* Вопросы двуязычия в Дагестане.— ИАН СЛН, 1983, № 3.
12. *Гайдаров Р. И.* Лексика лезгинского языка. (Основные пути развития и обогащения). Спецкурс. Махачкала, 1966, с. 198—205.
13. *Рамалданов А. Р.* Русские заимствования в лезгинском языке в дооктябрьский период: Тезисы докладов региональной научной конференции «Роль русского языка в жизни народов Северного Кавказа и развитие их литературных языков». 12-14 сентября 1982 г. Грозный, 1982, с. 45—46.
14. *Гюльмагомедов А. Г.* Лезгинско-русское двуязычие и развитие фразеологии лезгинского языка.— В кн.: Становление и развитие двуязычия в нерусских школах. Л., 1981.
15. *Магомедов Г. И.* Влияние русского языка на развитие синтаксиса лезгинского языка (на уровне словосочетания): Тезисы докладов региональной научной конференции «Роль русского языка в жизни народов Северного Кавказа и развитие их литературных языков», с. 44—45.
16. *Гюльмагомедов А. Г.* Краткий словарь синонимов лезгинского языка. Махачкала, 1982.
17. *Гюльмагомедов А. Г.* Основы фразеологии лезгинского языка. Махачкала, 1978, с. 119—127.
18. *Земская Е. А.* Современный русский язык. Словообразование. М., 1973, с. 11.
19. *Кубрякова Е. С.* Что такое словообразование. М., 1965, с. 29—30.
20. *Улукханов И. С.* Словообразовательная семантика в русском языке. М., 1977, с. 7.
21. *Ярцева В. Н.* О методах анализа языка.— В кн.: Теоретические проблемы современного советского языкознания. М., 1964, с. 122.
22. *Жирков Л. И.* Грамматика лезгинского языка. Махачкала, 1941, с. 120.
23. *Гаджиев М. М.* Синтаксис лезгинского языка. Часть II. Сложное предложение. Махачкала, 1963.
24. *Тхаркаго Ю. А.* Становление стилей и норм адыгейского литературного языка. Майкоп, 1982, с. 65.
25. *Розенталь Д. Э.* Наблюдения над синтаксисом языка газеты.— В кн.: Язык и стиль средств массовой информации и пропаганды. М., 1980, с. 55.
26. *Гаджиев М. М., Гайдаров Р. И., Мейланова У. А.* Орфографический словарь лезгинского языка. Махачкала, 1979, с. 118 и сл.
27. *Яралиев М. М.* Русский язык и некоторые вопросы консонантизма лезгинского языка: Тезисы докладов региональной научной конференции «Роль русского языка в жизни народов Северного Кавказа и развитие их литературных языков».
28. Численность и состав населения СССР. По данным Всесоюзной переписи населения 1979 года. М., 1984, с. 76—77.

РЕПИНА Т. А.

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО  
ТЕКСТА В ТРУДАХ В. Ф. ШИШМАРЕВА ПО ИСТОРИИ  
ЛИТЕРАТУРЫ

(К 110-летию со дня рождения)

Научная деятельность Владимира Федоровича Шишмарева началась, как известно, с опубликования им в 1898—1909 гг. серии статей<sup>1</sup>, а в 1911 г. — монографии по материалам магистерской диссертации [3], посвященных французской и провансальской средневековой литературе и французской литературе эпохи Возрождения. К этим вопросам В. Ф. Шишмарев неоднократно возвращался и в более позднее время. Закончился же творческий путь ученого выходом в свет в 1952—1955 гг. серии историко-филологических, по преимуществу лингвистических трудов [4—6], за которые ему была присуждена Ленинская премия. Филологическое наследие в целом насчитывает около 120 наименований [7]. Ряд трудов, оставшихся в рукописи, был издан посмертно [8—10]. Жизнь и деятельность В. Ф. Шишмарева (1875—1957) составили эпоху в истории развития отечественной филологии.

Научное наследие В. Ф. Шишмарева и основные этапы его деятельности неоднократно освещались на страницах филологических изданий<sup>2</sup>, они явились предметом многочисленных докладов [14—18]. Труды В. Ф. Шишмарева продолжают изучаться и цитируются как специалистами в области литературы, так и историками языка.

Масштабность крупного ученого в том, однако, и состоит, что при каждом новом прочтении его трудов обращают на себя внимание новые грани интерпретации автором излагаемого материала, ранее не замеченные читателем или воспринятые им под другим углом зрения. Потребность же в постоянном обращении к трудам классиков отечественной филологии, среди которых одно из видных мест по праву занимает Владимир Федорович Шишмарев, определяется как богатством содержащихся в них мыслей, так и тем, что с течением времени в процессе развития самой филологической науки нередко происходит «реактуализация» именно тех вопросов, которые волновали ученых много десятилетий тому назад и в русле которых они работали.

Наше внимание привлекли ранние публикации В. Ф. Шишмарева, появившиеся в начале текущего столетия, традиционно и не без оснований относимые к литературоведческому фонду его научных разысканий. В этих работах интерес ученого сосредоточен на вопросах генезиса и истории развития разных форм и жанров литературы Франции XII—XVI вв. В. Ф. Шишмарев рассматривает литературные факты на широком культурно-историческом фоне, обращая особое внимание на те из них, в которых находили непосредственное отражение сложные общественные отношения эпохи.

При прочтении ранних трудов В. Ф. Шишмарева обращает на себя внимание следующее: рассматривая вопросы литературоведения, автор подчеркивает «силы слова», позволяющие передавать «самые разнообразные сплетения чувств и настроений» [3, с. 559]. То, что по ходу изложе-

<sup>1</sup> Наиболее важные из них воспроизведены в сборнике избранных статей, опубликованном посмертно [1]. В 1909 г. В. Ф. Шишмарев осуществил полное (с вступительной статьей и глоссарием) двухтомное издание произведений известного французского поэта XIV в. Гильома де Машо [2].

<sup>2</sup> Ссылки на статьи, посвященные жизни и творчеству В. Ф. Шишмарева, см. [9, с. 3—4]. Из более поздних публикаций можно назвать [11—13].

ния материала внимание ученого неоднократно привлекают вопросы языка и что одна из глав его монографии «Лирика и лирики позднего средневековья» [3, с. 240—271], так же как и ряд статей посвящены вопросам стиля литературных произведений, навело нас на мысль о целесообразности лингвистического прочтения ранних трудов ученого с целью соотнесения направлений поиска В. Ф. Шишмарева с актуальными для современного языкознания вопросами интерпретации художественного текста. Это представилось своевременным также потому, что в последние годы в связи с известным обособлением лингвистики и литературоведения особенно остро стоит вопрос о комплексном характере филологии, о необходимости ее совершенствования как единой научной дисциплины [19].

Наиболее актуальными в лингвистическом отношении в названных трудах В. Ф. Шишмарева представляются два круга вопросов.

#### 1. Жанр и стиль поэтического произведения

В. Ф. Шишмарев исследует средневековую французскую и провансальскую литературу во всей совокупности присущих ей форм и жанров. В первой части (он именует части книгами) монографии «Лирика и лирики позднего средневековья» [3, с. 1—271] объектом анализа оказываются пастурель, альба, группа прений, сирвентес, рондель, вирелэ, баллада, лэ, мотет и другие лирические формы, а в следующих трех частях монографии [3, с. 273—560] и в статьях он изучает, наряду с лирическими формами, старофранцузский эпос, куртуазные романы, сказы, дидактическую и историографическую литературу и т.д. Литературоведческий анализ тесно переплетается с лингвистическими наблюдениями. Так, например, при рассмотрении одной из наиболее популярных лирических форм средневековой литературы — пастурели — В. Ф. Шишмарев обращает внимание на то, что французы «особенно заботливо выписывают» такие детали портрета пастушки, как ее наружность и костюм. В ходе анализа поэтических произведений, принадлежащих этому и другим литературным жанрам XII—XIII вв., он приводит наиболее типичные эпитеты, используемые при создании женских образов в соответствии с принятым в ту эпоху поэтическим каноном: *belle, gente, jolie, jeune, plaisant, gracieuse, tendre, fresche* и т.д., и подчеркивает отсутствие при подобном отборе эпитетов характеристик, индивидуализирующих поэтический образ [3, с. 258]. Аналогичные эпитеты встречаются в пастурелях вплоть до XV в.: *gaie, jeune, belle au cuer plaisant, jolie, aimable, d'une aimable beauté* [1, с. 125]. В XIV—XV вв. внимание поэтов переключается на «характеристику внутреннего облика дамы», в связи с чем в поэзии все чаще встречаются эпитеты типа следующих: *bonne et bien disant, sage et bien parlant, humble et quoy*, несколько реже также: *franche, simple, cuer vray* и т.п. Изучение эпитетов помогает воссоздать образ дамы, идеальной по своим внутренним качествам с точки зрения средневекового поэта [3, с. 259—260].

В. Ф. Шишмарев отмечает наличие во французской лирической поэзии конца XIII — начала XVI вв. двух женских образов, из которых «один — ... чуть очерченный, тонкий, благородный профиль идеальной дамы, являющейся путеводной звездой влюбленного и источником рыцарской морали; другой — реальный, грубый, который теперь все чаще и чаще встречается в обороте лирики» [1, с. 247]. Вопросу об эволюции женских образов, об отношении к женщине в разные периоды истории литературы В. Ф. Шишмарев уделяет большое внимание на всем протяжении своих ранних исследований и тем самым создает реальную основу дальнейшего изучения этого вопроса, в частности в плане эволюции словесного портрета женщины в произведениях разных жанров и в разные исторические эпохи.

В своих ранних трудах В. Ф. Шишмарев отводит место изучению картин природы как необходимого фона описываемым событиям и создаваемым поэтом образам. Он пишет о том впечатлении, которое достигается картинами обновления природы, и о той роли, которую они играют в развитии сюжета лирического произведения. Приводимые им примеры

типа следующего:

Quant voi la flor nouvele paroir en la praele, et j'oi la fontenele bruire seur la gravele lors me tient amors novele	[Когда я вижу вновь цветок, расцветший на лужайке, и слышу, как родник журчит, по камешкам стекая, вновь я в объятиях любви (пер. вод наш. — Р. Т.)]
---	---

[1, с. 66]

призваны показать наличие прямой связи между состоянием природы и настроением поэта (персонажа). Параллелизм образов «любовь и цветы», «любовь и пение птиц» является обычным для старофранцузской лирики XII—XIII вв. [3, с. 261]. Что касается французской поэзии XIV—XV вв., то, как пишет В. Ф. Шишмарев, хотя в целом она характеризуется равнодушным отношением поэтов к природе и их зависимостью в литературном отношении от «традиционных шаблона и схематизма» [3, с. 271], в ней встречаются «довольно сложные пейзажи, написанные с большой заботливостью и вкусом» [3, с. 266]. Пейзаж бывает построен «так, чтобы оттенить известное положение или ярче осветить тех действующих лиц, с которыми встречается на своем пути герой» [3, с. 268], и, следовательно, ни XIV, ни XV веку нельзя отказать «в чувстве природы, в умении и желании находить в ней отголоски себя или любоваться ею и изображать ее ради нее самой» [3, с. 271].

Разработка лингвистического аспекта поднятых В. Ф. Шишмаревым вопросов помогла бы выявить совокупность тех языковых средств, которыми поэты средневековой Франции выражали присущее им «чувство природы» и которые позволяют говорить о их «заботливости и вкусе» в изображении пейзажа.

В. Ф. Шишмарев уделяет внимание рассмотрению такого лингвистического приема, как повтор и «условный захват», т. е. воспроизведение в последующих строках, строфах, лессах высказанной ранее мысли «особого рода модифицированными или точными повторениями, захватываемыми из строфы в строфу» [1, с. 50]. Опираясь на теорию «психологии творческого момента» А. Н. Веселовского [1, с. 47], В. Ф. Шишмарев характеризует повторы как способ «вызвать в воображении необходимые ассоциации». Правда, он не исключает при этом и гипотезы их ритмического происхождения [1, с. 51].

Исследования, проводимые в наши дни на материале старофранцузских поэтических произведений, позволили, с одной стороны, выявить неоднородность функционального назначения повторов, а именно выделить повторы, связанные с необходимостью продвижения повествования, со сменой сюжетной линии, сменой хода мыслей персонажа и т. п., и, с другой стороны, отметить наличие связи между выбором типа повтора и жанром поэтического произведения. Оказалось, что для эпической поэмы, имеющей коллективного автора и предназначавшейся для восприятия на слух, и для рыцарского романа, создаваемого одним автором и рассчитанного на чтение, характерны разные типы повтора [20].

Изучая вопросы формы поэтических произведений разных жанров, В. Ф. Шишмарев прибегает к терминам «надлежащие краски», «нужное освещение», «чувство стиля», «понижение чувства стиля» и т. п. и связывает обозначаемые этими терминами явления с эволюцией поэтических жанров и форм. Он пишет в этой связи о «содержании искусства слова», в которое включает «краски-образы, ритм, психологическое освещение» [1, с. 189]. Эти вопросы также нуждаются в специальном лингвистическом изучении, поскольку эволюция «чувства стиля», о которой пишет В. Ф. Шишмарев, проявляется прежде всего в изменении отношения поэта к отбору языковых средств. Определенный интерес в этом плане могли бы представить наблюдения ученого, касающиеся использования метафор, сравнений, аллегорий [1, с. 399; 3, с. 247—254]. Заслуживают внимания и его рассуждения по вопросу о постепенном расширении «литературной компетенции французского языка» [1, с. 367, с. 361—369].

В круг научных интересов В. Ф. Шишмарева входило изучение ста-

рофранцузского героического эпоса. В статье, посвященной рассмотрению исторической основы и хронологии возникновения известной эпической поэмы о Рауле де Камбрэ [1, с. 271—314], он производит детальный разбор концепции Ж. Бедье и других зарубежных исследователей по интересующим его вопросам и обосновывает гипотезу о том, что дошедший до нас текст XII в. — это результат превращения балладной, лиро-эпической песни в эпическую *chanson de geste* [1, с. 314]. Он доказывает, что «Рауль де Камбрэ» — драма, построенная на антитезе Рауля и Бернье, отмеченная несомненными симпатиями к первому персонажу [1, с. 312—313]. В. Ф. Шишмарев не изучает языковых средств, позволяющих судить о симпатии создателей поэмы к одному из ее действующих лиц, как и тех средств, при помощи которых достигается названная антитеза. Но его рассуждения по этому поводу наводят на мысль о необходимости исследования языка произведения в предложенном им плане.

Открывают перспективу лингвистического изучения средневековых текстов и некоторые общие замечания относительно истории развития эпоса, содержащиеся в написанной В. Ф. Шишмаревым совместно с А. Н. Веселовским справочной статье [21], в которой читаем: «Приемы эпопеи несложны. Картина или образ, служащий исходным пунктом, не углубляется постройкой заднего и боковых планов; он растет вширь. Обычный фон — намеченные массовые движения, на которых более или менее резко выступают отдельные фигуры» [21, с. 935]. В эпической поэме «меньше рассказа, больше непосредственной передачи описываемого», откуда «частое применение диалога» [21, с. 935]. Авторы статьи пишут также о том, что с течением времени отживает сама форма эпопеи и что «попытки создания новой эпопеи приводят, в лучшем случае, к подражанию» [21, с. 936]. В качестве примера они приводят французский цикл крестовых походов, где «исторический фон слишком ярко сквозит через положенные на него шаблонные краски эпической техники, в которых нет уже жизни» [21, с. 936]. Совершенно очевидно, что все это познается через язык литературных произведений.

## 2. Поэт как создатель художественного текста

При изучении вопросов истории средневековой литературы и литературы эпохи Возрождения В. Ф. Шишмарев уделяет внимание личности поэта — создателя литературного произведения. Как отмечает ученый, в истории французской и провансальской литературы вопрос о «значительности поэтического акта», о творческой роли поэта в скрытом виде «был выдвинут еще в XII столетии», а во второй половине XIII в. этот вопрос уже «ставился ребром» [3, с. 468].

Рассматривая творчество известного французского поэта эпохи Возрождения — Пьера Ронсара, В. Ф. Шишмарев говорит о том, что создаваемые поэтом образы закреплены «в слове, в различных ритмических формах, т. е. сплетениях слов» и что за этими словами «стоит фантазия их создавшего поэта, та сила, соприкосновение с которой заражает ее устремлением или отталкивает от него читателя» и, наконец, что именно эта сила слова «и является конечным объектом науки, изучающей так называемую художественную функцию слова» [1, с. 392]. Сила слова, продолжает ученый, «в глубочайшей своей основе в каждом отдельном индивидууме и случае представляет собой нечто новое, но цельное и устойчивое... Когда в Ронсаре, например, видят три манеры, трех Ронсаров..., то тем самым минуют в лице поэта постоянные черты, останавливаясь лишь на исторически сменявшихся одно другое его выражениях. Ронсар как некоторая *цельная* артистическая индивидуальность ускользает от нашего взора» [1, с. 392]. И далее [там же] В. Ф. Шишмарев говорит о необходимости за разнообразием проявлений творческой фантазии поэта «распознавать знакомые интонации и привычную мелодику и строй речи».

Из приведенных высказываний ученого логически вытекает задача выявления присущего каждому писателю «привычного строя речи» и его ограничения от тех «проявлений стиля», которые диктуются сменой

внутреннего состояния человека — создателя литературного произведения. Названная задача, как и та, в соответствии с которой необходимо изучать «художественную функцию слова», помогающую поэту сделать читателя своим единомышленником, близки проблематике актуальных для современного языкознания направлений — лингвостилистики и прагматики текста. Историческая направленность наблюдений В. Ф. Шишмарева в этой области делает их особенно ценными.

Личность поэта как творца литературного произведения неразрывными нитями связана с эпохой. Это действительно для любого этапа истории общества. При изучении литературы позднего средневековья и раннего Возрождения В. Ф. Шишмарев уделил в связи с этим внимание вопросу о личности поэта как проводника идеала человека с позиций своего сословия и своей эпохи. В центре его интересов — постепенная эволюция средневековых представлений о достоинствах человека [1, с. 212—214]. Характеризуя созданный в XIII в. и получивший особую популярность в XIV—XV вв. «Роман о Розе», В. Ф. Шишмарев пишет о том, что в этом романе впервые было сформулировано «в ярких и характерных образах известное общественное течение» и что он «открывал новые перспективы, уясняя обществу то, что для него самого не было еще вполне осознательно. Он давал образы..., входил во все тонкости психологического анализа» [1, с. 377—378].

Вместе с тем, пишет В. Ф. Шишмарев, возрастание роли городского населения, буржуазии, осознание ею «своего общественного значения и призвания» выражается с особенной яркостью в памятниках литературы описываемой эпохи, отражающей неоднократно настроение буржуазной среды:

Nus qui bien face, n'est vilains;  
Més de vilonie est toz plains  
Hauz hom qui laide vie maine  
Nus n'est vilains, s'il ne vilane (Pièce inédite)  
[Никто не низок, если он ведет себя достойно;  
Но полон низости  
Знатный человек, ведущий безобразную жизнь:  
Никто не низок, если он не поступает низко  
(перевод наш.— P. T.)].

Такая мысль свидетельствует о новой мерке в оценке личного достоинства» [1, с. 385—386].

Эти и им подобные наблюдения В. Ф. Шишмарева по существу вводят нас в проблему связи поэтического, шире — литературного произведения и используемых в нем словесных оценок с мировоззрением общества носителей языка в определенную эпоху и с социально-историческими особенностями мышления членов общества.

Итак, широта историко-филологического подхода к исследованию литературных текстов делает труды В. Ф. Шишмарева, независимо от того, квалифицируются они как лингвистические или литературоведческие, одинаково ценными для филолога любой специализации. Ранние публикации ученого, выполненные в целом в русле литературоведения, должны привлечь к себе внимание лингвистов. Они не утратили своей актуальности и дают богатый материал для размышлений и продолжения научного поиска. Содержащиеся в них наблюдения и мысли могут послужить основой новых исследований, в частности, в направлении исторической лингвостилистики и изучения прагматики художественных текстов в связи с развитием литературных жанров. В этих трудах содержится богатейшая библиография изданий старых текстов, осуществленных в конце прошлого и начале текущего столетий, и критических работ того же периода по самым различным вопросам интерпретации историко-лингвистического материала<sup>3</sup>.

<sup>3</sup> Научный интерес для филологов широкого профиля может представить также рукописный фонд, хранящийся в Ленинградском отделении Архива АН СССР, см. описание [8, с. 34—71].

## ЛИТЕРАТУРА

1. *Шишмарев В. Ф.* Избранные статьи. Французская литература. М.—Л., 1965.
2. *Guillaume de Machaut.* Poésies lyriques. Edition publiée par V. Chichmaref. Т. I—II.—Зап. Историко-филологического факультета С.-Пб. ун-та, ч. 92, вып. 1—2. С.-Пб.—Париж, 1909.
3. *Шишмарев В. Ф.* Лирика и лирики позднего средневековья. Очерки по истории Франции и Прованса.—Зап. Историко-филологического факультета С.-Пб. ун-та, ч. 102. С.-Пб.—Париж, 1911.
4. *Шишмарев В. Ф.* Историческая морфология французского языка. М.—Л., 1952.
5. *Шишмарев В. Ф.* Книга для чтения по истории французского языка. М.—Л., 1955.
6. Словарь старофранцузского языка к Книге для чтения по истории французского языка В. Шишмарева. Сост. Бородина М. А., Гордина М. В., Шишмарев В. Ф. Руководство и редакция Шишмарева В. М.—Л., 1955.
7. Владимир Федорович Шишмарев.— В кн.: Материалы к библиографии ученых СССР. Серия литературы и языка. Вып. 2. М., 1957 (Вступ. ст. Реферовской Е. А. и Степанова Г. В. Библиография составлена Запкинкой Е. В.).
8. Рукописное наследие В. Ф. Шишмарева в Архиве Академии Наук СССР. Описание и публикации. Сост. Бородина М. А. и Малькевич Б. А. М.—Л., 1965.
9. *Шишмарев В. Ф.* Избранные статьи. История итальянской литературы и итальянского языка. Л., 1972.
10. *Шишмарев В. Ф.* Романские поселения на юге России. Л., 1975.
11. *Реферовская Е. А.* О работах академика В. Ф. Шишмарева по истории французского языка.— В кн.: Исследования по романской филологии. Л., 1978.
12. *Эстулина С. Б.* О работе академика В. Ф. Шишмарева над переводом «Книги трехсот новелл» Франко Саккетти (по вариантам рукописи перевода).— В кн.: Исследования по романской филологии. Л., 1978.
13. *Степанов Г. В.* Слово об академике Владимире Федоровиче Шишмареве.— В кн.: Наследие В. Ф. Шишмарева и вопросы молдавской филологии. Кишинев, 1979.
14. Актуальные проблемы советской романстики. Научная сессия, посвященная 100-летию со дня рождения лауреата Ленинской премии академика В. Ф. Шишмарева: Тезисы докладов. Л., 1975.
15. Наследие В. Ф. Шишмарева и вопросы молдавской филологии. Кишинев, 1979.
16. Этюды по молдавской филологии. Шишмаревские чтения. Кишинев, 1980.
17. Проблемы молдавской филологии. Шишмаревские чтения. Кишинев, 1982.
18. Страницы романской филологии. Шишмаревские чтения. Кишинев, 1984.
19. *Будагов Р. А.* Романская филология как единая научная дисциплина.— В кн.: Вопросы теории и истории романских языков. Л., 1985.
20. *Курьянова Л. А.* Типы регрессивного повтора в старофранцузских текстах.— В кн.: Вопросы теории и истории романских языков. Л., 1985.
21. Энциклопедический словарь. Изд. Ф. А. Брокгауз и И. А. Ефрон. Т. 80. С.-Пб., 1904, с. 931—941: Эпос (Веселовский А., Шишмарев В.).

БЕРЕГОВСКАЯ Э. М.

**ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕВГМЫ КАК РИТОРИЧЕСКОЙ ФИГУРЫ**

Заметно возросший в последние десятилетия интерес к теоретическим проблемам риторики, появление трудов общего характера, в которых система тропов и фигур показана в свете современных лингвистических представлений [1—3], заставляют внимательно присмотреться к отдельным звеньям этой системы, особенно к таким малоисследованным, как зевгма. Упоминание о зевгме мы встречаем у Анаксимена в его рекомендациях «Желающему говорить кратко» [4, с. 172], а Квинтилиан довольно подробно описывает ее среди прочих фигур, образуемых путем сокращения [4, с. 268]. Зевгму учитывают, когда предметом исследования является игра слов [5, с. 28] и вообще комическое [6, с. 10; 7, с. 17—18], прием перечисления [8, с. 14 и сл.; 9, с. 22], окказиональное сочинение [10, с. 149 и сл.], синтаксическая конвергенция [11, с. 81 и сл.], семантические сдвиги [12, с. 108 и сл.] Имеется диссертация, посвященная зевгме в произведениях Корнелия и Расина [13]. Однако до сих пор нет полной ясности относительно сути и сфер использования этой риторической фигуры. Термином «зевгма» называются самые различные речевые феномены. Существуют термины, синонимичные термину «зевгма», но эти термины-синонимы («аттеллага», «окказиональное сочинение») употребляются еще и в других значениях. Назрела необходимость скоординировать и обобщить накопленные данные о зевгме.

Ограничиваясь только современными трактовками этого феномена, мы обнаруживаем, что под зевгмой понимаются два разных явления. В чисто грамматическом плане зевгма рассматривается как отсутствие повтора, продиктованное лишь стремлением к экономии. Так трактуется зевгма у О. Ахмановой, А. Квятковского, Ж. Марузо, Ж. Дюбуа, Ж.-Ф. Фелизона, П. Робера, Г. Варига [14—20]. Приведем одно такое определение: «Зевгмой называется конструкция, при которой в нескольких следующих друг за другом и одинаково организованных высказываниях один из членов предложения употребляется только раз, как во фразе *Один взял лопату, другой заступ, а третий грабли*» [17]. Вторая трактовка, стилистическая, гораздо более распространена в многочисленных дефинициях зевгмы. В качестве примера можно сослаться на определение, которое дает Оксфордский словарь английского языка: «фигура, заключающаяся в том, что одно слово связывается с двумя или несколькими словами, а по смыслу относится только к одному из них или относится к ним в разных смыслах» [21]. Во французском словаре *Lexis* зевгма определяется как прием, который состоит в грамматическом связывании двух или нескольких существительных с одним глаголом или одним прилагательным, логически относящимся лишь к одному из существительных [22], а Ц. Тодоров предлагает такую формулировку: «Зевгма — грамматическое согласование двух слов, которые обладают оппозитивными семами, например, „абстрактное“ и „конкретное“» [23]. Аналогичным образом трактуется зевгма и в других работах (см., например, [24—26; 27, с. 259; 28, с. 319; 29, с. 180; 3, с. 153; 30 с. 150]). Такая трактовка предполагает синтаксическую конструкцию, обладающую значительной экспрессивной потенцией. На этой конструкции, которую Лаусберг назвал «семантически осложненной зевгмой» [31, с. 347], мы и сосредоточим свое внимание.

Существующие определения семантически осложненной зевгмы, в целом адекватно описывая один и тот же лингвистический объект, не мо-

гут все-таки считаться безусловно удовлетворительными: они либо опускают какие-то существенные моменты, либо, стремясь к полноте, вводят в дефиницию описание возможных семантических и морфо-синтаксических моделей реализации этой фигуры. Таким образом, дефиниция оказывается перегруженной необязательными признаками, не достигая тем не менее исчерпывающей полноты: возможных моделей реализации зевгмы слишком много, чтобы их можно было все отразить в определении.

Анализ большого количества дефиниций позволяет выделить набор признаков, который обязателен для зевгматической конструкции, понимаемой как стилистическая фигура: 1) наличие паратактического ряда — цепочки грамматически однородных членов предложения: «*Mr Dombey, and the Major, and the breakfast were awaiting the ladies*» (Ch. Dickens, *Dombey and son*)<sup>1</sup>; 2) семантическая неоднородность этих грамматически однородных слов (наличие в них оппозитивных сем): например, «одушевленное» — «неодушевленное» (*Mr Dombey, the Major — the breakfast*); 3) наличие в конструкции ядерного слова, не входящего в данный паратактический ряд и связанного гипотактическими отношениями с каждым из его членов: *Mr Dombey, and the Major, and the breakfast were a w a i t i n g = Mr Dombey was awaiting, and the Major was awaiting, and the breakfast was awaiting*; 4) одновременная актуализация в многозначном ядерном слове минимум двух разных значений или смысловых оттенков: *to await* «находиться где-либо некоторое время, зная заранее о появлении кого-либо» и «быть приготовленным для кого-либо». Объединяя все эти релевантные признаки, мы можем предложить следующее определение: зевгма — это экспрессивная синтаксическая конструкция, которая состоит из ядерного слова и зависящих от него однородных членов предложения, равноценных грамматически, но семантически разноплановых, вследствие чего в многозначном ядерном слове одновременно актуализируются минимум два разных значения или смысловых оттенка.

Место зевгмы в разных классификациях фигур обусловлено ее семантической противоречивостью и сложностью. В классификации Ж. Дюбуа [1, с. 122] зевгма попадает в класс метасемем, образованных в результате присоединения. Причем поскольку контекст сообщения не только не снимает полисемии ядерного слова, но, напротив, обуславливает одновременную актуализацию<sup>2</sup> всех сем в совокупности и возникновение двух смыслов, Дюбуа причисляет зевгму вместе с каламбуром и другими фигурами, которые дают сложную игру смыслов, к отдельной группе «архисем». Ю. М. Скребнев [3, с. 127] на том основании, что в зевгме имеет место семантическое усложнение, включает ее в класс фигур неравенства. Для него зевгма составляет предмет синтагматической семасиологии, которая рассматривает все фигуры, совмещения, т. е. фигуры тождества, фигуры неравенства и фигуры противоположности.

Поскольку зевгма, как и прочие синтаксические фигуры, является универсалией (в смысле Р. Якобсона), при ее изучении необходимо учитывать разноязычный материал. Данное описание зевгмы основывается на анализе 500 собранных примеров на русском, французском, английском и немецком языках.

Наблюдения над морфологическим составом зевгматической конструкции показывают, что наиболее типичной морфологической моделью является конструкция «глагол в качестве ядерного слова с паратактической цепочкой из существительных». Эта модель чаще всего встречается в двух модификациях, с прямо-переходным и с косвенно-переходным глаголом: 1) «...*je l'aiderai, je lui prendrai son paquet, sa fatigue, ses malheurs*» (J.-P. Sartre, *La mort dans l'âme*); «*Medora took heart, a cheap hall bedroom, and two art lessons a week*» (O. Henry, *The Voice of the City*); 2) «Читал, выписывал, справлялся, *И в книгах рыл ся, и в грядках*» (И. Крылов, *Огородник и философ*); «*Gott, wie elend sah er (er Kanonikus) aus, als ich ihn zuletzt sah Er best a n d nur noch aus Geist und Pflaster...*» (H. Heine, *Ideen*). Затем идут следующие модели (в порядке

<sup>1</sup> В примерах разрядка и курсив всюду наши. — Б. Э.

убывания частоты): 3) существительное в роли ядерного слова с цепочкой, состоящей тоже из существительных: «У заместителя директора меня выслушала секретарша, так как заместитель принимал кого-то по о б м е н у не то *опытом*, не то *квартирой*» (Г. Стопка, Слабохарактерный человек); «They had met at the table d'hôte of an Eight Street „Delmonico's“ and found their t a s t e s *in art*, *chicorey salad* and *bishop sleeves* so congenial that joint studio resulted» (О. Henry, The Trimmed Lamp); 4) непереходный глагол с зависящей от него цепочкой существительных: «Паровоз и проводница взвыли одновременно» (Н. Думбадзе, Солнечная ночь); «Après que la rosée de cave eut humecté doucement nos gésiers..., nos âmes s' é p a n o u i r e n t, et nos faces aussi (R. Rolland, Colas Breugnon); 5) прилагательное с цепочкой существительных: «*Водопады и тигры* ее с в и р е п ы, /*Травы и овцы* ее — д о б р ы» (Е. Винокуров, При рода); «Die Stadt Göttingen, b e r ü h m t durch ihre *Würste* und *Universität*, gehört dem König von Hannover...» (Н. Heine, Die Harzreise). Наиболее редкие морфологические модели зевгмы образуются вокруг деэпричастия и наречия в качестве ядерного слова.

В подавляющем большинстве случаев паратактический ряд имеет аналогичный морфологический состав. Если в роли ядерного слова может выступать знаменательное слово любой грамматической категории (при преобладании глагола — 71%), то в управляемой цепочке мы встречаем почти исключительно существительные. Поэтому употребительность той или иной морфологической модели зевгмы определяется, как правило, ее ядерным словом.

Набор синтаксических моделей, в которых реализуется зевгма, довольно велик. В собранном нами русском материале, к примеру, их встретилось 23. во французском — 26. Анализ обнаруженных в литературных текстах 500 случаев показывает, что в построении зевгмы может участвовать любой член предложения в качестве ядерного слова в сочетании с любыми другими двумя или несколькими членами предложения, если они обладают синтаксической однородностью. Две наиболее частотные в нашем разноязычном материале синтаксические модели — следующие: 1) сказуемое в функции ядерного слова с цепочкой прямых дополнений: «Долго он торговался с ними, просил за розыск алтын да деньгу, голово-тыпы же да в а л и г р о ш да *животы* свои в придачу (М. Салтыков-Щедрин, История одного города); *Er v e r k n i f f die Augen* und *jede Antwort* (E. E. Kisch, Repotagen); «It was past twelve before he t o o k his *candle* and his radiant *face* o u t of the room (Ch. Dickens, Bleak House); 2) Сказуемое в функции ядерного слова с цепочкой косвенных дополнений: «Буржуем не сделаешься с бритвенной точки. Б е г у т *без бород* и *без выражений* на лице (В. Маяковский, Барышня и Вульворт); «*Que tu s o i s en Chrysler* ou *en savates*, Paris est à toi» (R. Fallet, Les pas perdus). Кроме этих двух наиболее частотных моделей, необходимо указать на: 3) сказуемое в функции ядерного слова с цепочкой подлежащих: «Еще не тронутый городок закусок стоял на столе в ожидании нашествия. С и я л и женские *лица* и *апельсины*» (Ф. Искандер, Дерево детства); «Le terme étant venu, M. Bergeret quittait avec sa soeur et sa fille la vieille maison de la rue de Seine <...> Ainsi en a v a i e n t décidé *Zoé* et *les destins*» (A. France, Riquet); «In the Big City large and sudden things happen...: the elevator *cable* or your *bank* b r e a k s, a *table d'hôte* or your *wife* d i s a g r e e s with you» (О. Henry, The Voice of the City); 4) определение в функции ядерного слова с цепочкой косвенных дополнений: «... дочка, стройная меланхолическая девушка лет семнадцати, в о с п и т а н н а я на *романах* и на чистом *воздухе*» (А. Пушкин, Роман в письмах); «Des Anglais, jouissant comme de vrais pendus, se cuvent, p l e i n s de *stout* et de *béatitude*» (Т. Corbière, Le Bossu Bitor); 5) прямое дополнение в функции ядерного слова с цепочкой косвенных дополнений: «Внимаю ш у м младого *дня* и молодой *надежды*» (А. Фет, Я полон дум...); «Je suis fils de Pandore, j'aime lever l e s o u v e r c l e de toutes *boîtes*, de toutes *âmes*... (R. Rolland, Colas Breugnon); 6) две сращенные фразы, построенные по принципу синтаксического параллелизма и имеющие общее сказуемое —

глагольное или именное: «Вас по л о ж а т на обеденный, / А меня — на письменный» (М. Цветаева, Квиты, вами я обедеана); «Он был рыцарь, а я — простак. / Он был мудрый, а я — дурак. И он век свой прожил с мечтой, — Ну, а я — со своей женой» (Ф. Кривин, Дон Кихот); «Son corps n a g e a i t dans l'eau verte, et son esprit dans l'opulence» (H. Troyat, Carnet vert); «Zwei Mädchen lagen am Waldessaum / und schiefen sanft im Grase. / Die eine h a t t e 'nen schönen Traum, / die andere 'ne häßliche Nase» (H. Seydel, Alles Unsinn). Примерно 78% собранных зевгматических конструкций построены по описанным выше шести моделям, причем первая из них настолько продуктивна, что на ее долю приходится треть нашего материала, а зевгматические конструкции, построенные по трем первым моделям вместе взятым, занимают в обследованном материале в среднем 66%.

Особо следует отметить те немногочисленные, но интересные случаи, когда управляемая цепочка представляет собой не набор синтаксически однородных элементов, а лишь морфологическую имитацию синтаксической однородности: «...Vous rencontrez une personne plus âgée que vous qui vous demande en mariage, mais soit par intérêt, soit par un clair matin de printemps, vous l r e f u s e z la main» (P. Dac, L'os à moelle); «But Mr Tusher was one of the officiants and r e a d from the eagle in an authoritative voice and a great black periwig» (W. Thackeray, Henry Esmond). В этих случаях «морфологической мимикрии» симметричность морфологического состава управляемой цепочки, подчеркивая асимметричность ее синтаксической структуры (обстоятельство причины и обстоятельство времени — в 1-м, обстоятельство образа действия и косвенное дополнение — во 2-м), является основным средством организации каламбурной игры.

Теперь мы можем уточнить, что представляет собой грамматическая однородность управляемой цепочки, которая входит в определение как релевантный признак зевгмы. Здесь возможны три случая: 1) частичная морфологическая однородность при полной синтаксической однородности компонентов управляемой цепочки; 2) полная морфологическая и синтаксическая однородность; 3) полная морфологическая однородность при неоднородности синтаксической.

Говоря о семантическом аспекте зевгмы, надо прежде всего четко осознавать, что речь идет о смысловых отношениях, которые связывают минимум три компонента высказывания: ядро с каждым из двух звеньев зевгматической цепочки и эти отдельные звенья друг с другом. Существенны все три семантические связи внутри зевгмы, все они охватываются при восприятии одновременно, неразчлененно. Ядерное слово выступает в роли некоего общего узла, сочленяющего два разных изотопических плана, к которым принадлежат два звена зевгматической цепочки. Более или менее искусно создаваемая контекстом принадлежность ядерного слова к двум разным изотопиям — неперемное условие построения зевгмы. Возникающая при этом одновременная актуализация двух значений представляет собой частный случай гиперсемантизации, свойственной художественной речи: «Функция стилистического контекста состоит не в том, чтобы снять многозначность — это функция лингвистического контекста, а, напротив, в том, чтобы добавить новые значения, завися от комбинаторных приращений смысла» [32, с. 75].

Реализующимися в ядерном слове разными элементарными значениями могут быть: главное и второстепенное «Es ist leichter einem Kinde zehn Mark. als ein gutes Beispiel zu g e b e n» (Eulenspiegel, 1959, N 24); The middle-aged lady rushed in terror from the room, out of which Mr Tupman dragged Mr Pickwick, l e a v i n g Mr Peter Magnus to himself and meditation» (Ch. Dickens, The Pickwick papers); п р я м о е и п е р е н о с н о е: «Похоронный марш и дождевую воду трубы л ь ю т и л ь ю т...» (Е. Винокуров, Флейтист); «...wir leben in einer anderen Zeit, unsere Mäcenaten haben ganz andere Prinzipien, sie glauben, Autoren und Mispeln g e d e i h e n am besten wenn sie einige Zeit auf dem Stroh liegen» (H. Heine, Ideen); свободное и фразеологическое:

(Mr Pickwick took a seat and the paper) (Ch. Dickens, The Pickwick papers).

Во многих случаях речь может идти не о разных значениях ядерного слова, а лишь о каких-то тонких, едва уловимых смысловых нюансах лексико-семантических вариантов: «Nous vivions d'amour et d'eau fraîche» (J. Prévert, La Pluie et le beau temps); «Дым, облако и птица/Летят неторопливо» (Д. Самойлов, Равноденствие).

Семантические связи, соединяющие между собой отдельные звенья зевгматической цепочки, основаны на резком отклонении от нормы. Если вообще однородные члены предложения однородны не только грамматически, но и семантически, обозначая вещественно сходные денотаты, то зевгматическая конструкция предполагает, при соблюдении правил грамматической когерентности, нарушение логической когерентности текста.

По степени семантической когерентности можно выделить три типа зевгмы: слабый, сильный и парадоксальный.

**С л а б ы й т и п.** В ядерном слове реализуются одновременно не разные словарно зафиксированные значения, а только едва уловимые семантические нюансы. В управляемой цепочке — ощутимая семантическая неоднородность при полной синтаксической и полной или частичной морфологической однородности: «Доктор с озабоченным лицом, подающий надежду на кризис; часто имеет палку с набалдашником и лысину» (А. Чехов, Что чаще всего встречается в романе); «La poussière et les mouches s'élevaient de la route» (R. Rolland, Colas Breugnon); «Apfeltörtchen waren nämlich damals meine Passion — jetzt ist es Liebe, Wahrheit, Freiheit und Krebsuppe...» (H. Heine, Die Harzreise). К слабому типу часто относятся зевгмы, ядерное слово которых имеет значение обладания или указывает на состав.

**С и л ь н ы й т и п.** В ядерном слове одновременно реализуются словарно зафиксированные разные значения. В управляемой цепочке при полной синтаксической и полной или частичной морфологической однородности ощутимая семантическая разнородность: «Любовью, грязью иль колесами/Она раздавлена — все больно» (А. Блок, На железной дороге).

**П а р а д о к с а л ь н ы й т и п.** Ядерное слово может реализовать разные значения, а может быть и однозначно. В управляемой цепочке при полной или почти полной морфологической однородности наблюдается полная синтаксическая неоднородность или, наоборот, полная синтаксическая однородность при полной морфологической неоднородности, что влечет за собой резкую семантическую несовместимость (*reductio ad absurdum*): «Требование было до того настойчивое, что она принуждена была встать с своего ложа в негодовании и в папилотках...» (Ф. Достоевский, Бесы). К парадоксальному типу следует отнести и те зевгмы, в которых оба члена управляемой цепочки включают ядерное слово в два разных фразеологических единства или сращения, способствуя таким образом одновременной реализации в нем двух разных фразеологических значений: «Mr Trundle was in high feather and spirits» (Ch. Dickens, The Pickwick papers).

Невозможно уяснить себе природу зевгмы, если оставаться в рамках исключительно формальной интерпретации связанности. Суть этого стилистического приема в том и состоит, что зевгма, не нарушая синтаксической связанности текста, нарушает, как мы видели, более или менее резко его смысловую связанность. Как правило, зевгма разворачивается в пределах одной фразы. Фраза эта может быть очень распространенной, и зевгма занимает в ней тогда скромное место частной детали, сообщая какую-то яркую, заметную, но второстепенную информацию, как например, в портретных характеристиках в повести Р. Роллана «Кола Брюньон»: «C'est ainsi que je fis, un soir de la fin d'août, connaissance avec elle, la Belotte, la Belette, la belle jardinière Belette on la nommait, pour ce que comme l'autre, la dame au museau pointu, elle avait le corps long, et la tête menue, nez rusé de Picarde, bouche avançant un peu et bien fendue

en fourche, pour rire et pour r o n g e r les coeurs et les noisettes». В других случаях зевгма занимает всю фразу целиком и удельный ее вес значительно возрастает: *Il p o r t a i t un grand nez et des bottinnes à boutons* (H. Bazin), *Vipère au poing*).

Вероятно, зевгма как стилистический прием родилась из языковой ошибки в спонтанной речи — из нарушения стандартной семантической сочетаемости. Стилистический (в частности, комический) эффект может тут возникнуть лишь в восприятии второго коммуниканта-адресата при совпадении двух условий: 1) второй коммуникант — достаточно образованный человек и хорошо владеет системой данного языка (иначе он не заметит нарушения); 2) у него есть чувство юмора (иначе он воспримет нарушение семантической сочетаемости только как ошибку, а не как нечто комическое).

Причиной речевой ошибки не обязательно является семантический сдвиг. Здесь возможны три случая: 1) говорящий четко представляет себе, что значит каждая лексема, но не знает правил семантической сочетаемости и нарушает тот или иной семантический запрет: «*Au Ve siècle, la Gaule fut conquise par Clovis. Il chassa les Romains et les sangliers*» (Jean-Charles, *Foire aux cancre*); 2) говорящий ошибается в выборе слова, употребляя вместо нужной по смыслу лексической единицы ее пароним: «*Она будоражит нас своей неуспокоенностью, вечным поиском справедливости и удивительной безвредностью*» (из стенной газеты); 3) говорящий не справляется с конструированием синтаксического каркаса фразы, в частности, неправильно строит эллипсис: «*Nous organisons le mois prochain une grande vente de charité. Nous comptons sur vous pour amener tous les objets inutiles qui se trouvent chez vous: livres, bibelots, vêtements et aussi naturellement vos maris*» (Jean-Charles, *Foire aux cancre*).

Возникшая как *lapsus linguae* зевгма появляется в ходячей шутке (например, *Я пил чай с барышней, с лимоном и с удовольствием; Ah! — dit-il en riant et en portugais*), проскальзывает в спонтанной речи записных острословов как неожиданный поворот в диалоге, как удачно сказанное *mot*, которое подхватывается окружающими. Из бытовой речи зевгма переходит в художественную, прежде всего как имитация забавной речевой ошибки. Такой случай представляет стихотворение Ж. Превера «*Composition française*»: «*Tout jeune Napoléon était très maigre et officier d'artillerie/plus tard il devint empereur/alors il prit du ventre et beaucoup de pays*».

В прямой речи возможна и другая ситуация: персонаж употребляет зевгму, осознавая производимый ею комический эффект. У Ростана в монологе Сирано, который мечтает умереть за благородное дело с остротой на устах, эта осознанность выражена даже эксплицитно: «*Tomber la pointe au coeur en même temps qu'aux lèvres*» (E. Rostand, *Cyrano de Bergerac*).

Таким образом, в прямой речи зевгма может производить двоякий эффект в соответствии с прагматическим аспектом высказывания, т. е. в зависимости от того, есть ли у говорящего, по замыслу автора, комическая интенция или нет: в случае неосознанности употребления зевгмы читателя как бы приглашают посмеяться над персонажем, а в случае осознанного употребления — посмеяться вместе с персонажем.

В авторской речи зевгма способна передавать все оттенки комического — от мягкого юмора и непритязательно-забавного бурлеска до сатиры, как в стихотворении Превера «*La Crosse en l'air*», где зевгма, в которой ядерное слово одновременно входит во фразеологическое сращение и фразеологическое единство, создает выразительный коллективный портрет снобов, высокопарно, претенциозно ведущих абсолютно бессодержательные разговоры («*Ils parlent... ils parlent du nez/de la pluie et du beau temps*»), и сарказма, как в миниатюре Аполлинера «*Блоха*»: «*Puces, amis, amantes m'ême/qu'ils sont cruels ceux qui nous aiment*».

Благодаря способности гиперболически подчеркивать и заострять нарушения, обрывы в семантической когерентности текста зевгма нередко появляется в пародии, эпиграмме, юмористическом рассказе, фельетоне (ср. пародию на басню Лафонтена: «*Un poète, ayant rimé,/imprimé/ vit sa*

*muse dépourvue/De marraine, et presque nue: Pas le plus petit morceau/De vers... ou de vermisseau*) (Т. Corbière, *Le poète et la cigale*).

Принято считать, что комизм — чуть ли не единственный возможный эффект от употребления зевгмы (см., например, [27, с. 259]. Это не так. Зевгма в высшей степени органична для поэтического ассоциативного восприятия и отражения окружающего мира. Поэтому наряду с юмористическими произведениями она появляется и в лирике, передавая самые разные эмоциональные переживания и ситуации, вплоть до драматических.

Зевгма позволяет поэту, следуя своей поэтической логике, выразить череду сменяющих друг друга ассоциативных образов: «Драмой пахнет, миндалем, изменой,/Приближеньем Страшного суда» (А. Межиров, *Под старым небом*). Зевгму можно встретить изредка в разных функциональных стилях, например, в эпистолярном: «...суворинский „Вопрос“ идет в Петербурге с Савиной и с большим успехом» (А. Чехов — О. Книшпер-Чеховой); в научном стиле (гуманитарные науки): «*Les Benedictins avaient défriché la terre et l'esprit des Barbares*» (Н. Michelet, *Histoire de France*); в публицистическом: «Мы путешествуем, не путешествуя, мы читаем, не читая. Нам без тяжелой работы души и тела достаются вещи, для достижения которых наши прадеды изнашивали сердца и башмаки» (Е. Богат, *О Шиллере, о славе, о любви*). Но в рамках всех этих стилей зевгма встречается чрезвычайно редко. Приведенные выше примеры — исключения, лишь подчеркивающие общую закономерность: стихия зевгмы — художественная речь. Однако и в художественной речи зевгма — явление довольно редкое. Но есть писатели — и поэты, и прозаики, которых привлекает внутренняя семантическая асимметрия этого приема, подчеркнутая его внешней симметричностью. Можно назвать Ч. Диккенса, О. Генри, Г. Гейне, Р. Роллана, Э. Базена, Ж. Превера, А. Вознесенского. На общем литературном фоне произведения названных выше писателей резко выделяются: в повести Роллана «*Кола Брюньон*», например, 34 зевгмы, в романе Диккенса «*Домби и сын*» их 24, в сборнике Вознесенского «*Тень звука*» — 17, у Гейне в небольшом произведении «*Идеи*. Книга Легран» — 13, у Генри то и дело встречаются в повеллах констатации зевгм. Пристрастие к зевгме становится одним из характерных, релевантных признаков индивидуального стиля.

Среди тропов и фигур есть более и менее обусловленные. Метонимия или асиндетон, скажем, обусловлены лишь в одном отношении: метонимия — только семантически (перенос значения по смежности), асиндетон — только структурно (бессоюзное паратактическое соединение). Другие тропы и фигуры (такие, как сравнение, сегментация или риторический вопрос) обусловлены гораздо сильнее: сравнение обусловлено семантически (предмет сравнения и собственно сравнение должны иметь как минимум один общий признак — основание сравнения) и структурно (момент сопоставления двух предметов или понятий должен быть выражен формально, обязательным компонентом сравнения является союз *как* или его заменители — при отсутствии этого компонента получается уже не сравнение, а двучленная метафора). Сегментация обусловлена структурно (специфическое обособление одного из членов предложения с разрывом каркаса фразы) и морфологически (обязательное наличие в составе предложения местоимения, заменяющего обособленный член). Риторический вопрос обусловлен структурно (это обязательно вопросительное предложение) и семантически (он должен выражать отрицание того, что означает соответствующая утвердительная фраза в состоянии синтаксического покоя. или утверждение, если в состоянии синтаксического покоя она содержит отрицание). Зевгма, как мы постарались показать, максимально обусловлена — и семантически, и морфологически, и структурно.

Следующая таблица отражает степень обусловленности наиболее известных тропов и фигур (см. с. 66).

Из таблицы видно, что стилистические приемы делятся на четыре группы: 1) тропы, обусловленные только семантически — метонимия, гипербола, литота, ирония;

2) фигуры, обусловленные только структурно — перечисление, полисиндетон, асиндетон, синтаксический параллелизм, простой хиазм;

3) фигуры и тропы, обусловленные семантически и структурно (это самая многочисленная группа): сравнение, метафора, силлепс, повтор, градация, антитеза, риторический вопрос, семантически осложненный хиазм. Сюда же следует отнести и сегментацию, обусловленную структурно и морфологически;

4) зевгма вместе с катакрезой и оксюмором, которые обусловлены и семантически, и морфологически, и структурно, образует как бы промежуточную группу между тропами и фигурами.

Стилистический эффект зевгмы зависит именно от ее тройной обусловленности. Если разрушить это единство, стилистический эффект пропадает. Достаточно, к примеру, немного трансформировать фразу из «Бесов»

Таблица

Тропы и фигуры	семантически обусловленные	структурно обусловленные	морфологически обусловленные
сравнение	+	+	—
метафора	+	+	—
метонимия	+	—	—
гипербола	+	—	—
лигота	+	—	—
ирония	+	—	—
перифраза	+	+	—
силлепс	+	+	—
катакреза	+	+	+
оксюморон	+	+	+
зевгма	+	+	+
повтор	+	+	—
градация	+	+	—
антитеза	+	+	—
полисиндетон	—	+	—
асиндетон	—	+	—
перечисление	—	+	—
синтаксический параллелизм	—	+	—
простой хиазм	—	+	—
семантически осложненный хиазм	+	+	—
сегментация	—	+	+
риторический вопрос	+	+	—

Достоевского «...она принуждена была встать с своего ложа в негодовании и папильотках», ликвидировав зевгматическую конструкцию, и комический эффект совершенно исчезнет: она принуждена была, негодуя, встать со своего ложа в папильотках или она принуждена была, не снимая папильоток, встать в негодовании со своего ложа...

Модальная сторона содержащего зевгму микроконтекста весомее, чем референционная. Искусственность всей конструкции, нарочитая алогичность связи между компонентами паратактического ряда переносит акцент с референционного на модальный аспект высказывания. Если генетически зевгму можно рассматривать как проявление принципа экономии в речи, на который наложилась семантическая аномалия, то с точки зрения ее стилистического функционирования зевгму можно трактовать как фигуру, в которой запрограммировано «обманутое ожидание» (в смысле М. Риффатера). Обычно читательское ожидание нагнетается в пределах абзаца, главы, произведения. В зевгме же оно и нарастает, и разрешается в пределах одного словосочетания. Зевгма — самая лапидарная форма реализации эффекта «обманутого ожидания».

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Dubois J. et al. Rhétorique générale. Paris, 1970.
2. Todorov T. Tropes et figures. — In: To honor R. Jacobson. The Hague — Paris, 1967.
3. Скребиен Ю. М. Очерк теории стилистики. Горький, 1975.

4. Античные теории языка и стиля. Под ред. Фрейденберг. О. М. Л., 1936.
5. *Guiraud P.* Les jeux de mots. Paris, 1967.
6. *Соловьян В. А.* Языково-стилистические средства сатиры в немецком языке. Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. М., 1960.
7. *Максименко Е. В.* Языковые средства создания комического в современной французской прозе: Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. Киев, 1983.
8. *Ветвинская Т. Л.* Перечисление как стилистический прием: Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. Киев, 1970.
9. *Левашова В. А.* Лингвистическая природа и функционирование стилистического приема перечисления: Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. М., 1977.
10. *Ковалев В. П.* Язык и выразительные средства русской художественной прозы. Киев, 1981.
11. *Обнорская М. Е.* Синтаксические конвергенции.— Уч. зап. Ленингр. пед. ин-та им. А. И. Герцена, 1972, т. 491.
12. *Todorov T.* Les anomalies sémantiques.— In: *Langages*. 1. Paris, 1966.
13. *Stephanu H.-I.* Das «semantisch komplizierte Zeugma» bei Corneille und Racine. Köln, 1970.
14. *Ахманова О. С.* Словарь лингвистических терминов. М., 1969.
15. *Квятковский А.* Поэтический словарь. М., 1966.
16. *Марузо Ж.* Словарь лингвистических терминов М., 1960.
17. *Dubois J., Giacomo M., Guespin L. et al.* Dictionnaire de linguistique. Paris, 1973.
18. *Phelizon J.-F.* Vocabulaire de la linguistique. Paris, 1976.
19. *Robert P.* «Petit Robert» Dictionnaire de la langue française. Paris, 1977.
20. *Wahrig C.* Deutsches Wörterbuch. Güterslohn, 1971.
21. The Oxford English Dictionary. V. XII. Oxford, 1970.
22. *Lexis.* Dictionnaire de la langue française. Paris, 1975.
23. *Ducrot O., Todorov T.* Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage. Paris, 1972.
24. The Random House college dictionary. New York, 1975.
25. Grand Larousse Encyclopedique. T. X. Paris, 1964.
26. *Krahl S., Kurz J.* Kleines Wörterbuch der Stilkunde. Leipzig, 1977.
27. *Riesel E., Schendels E.* Deutsche Stilistik. М., 1975.
28. *Sowinski B.* Deutsche Stilistik. Frankfurt am Main, 1973.
29. *Fleischer W., Michel G.* Stilistik der deutschen Gegenwartssprache. Berlin, 1977.
30. *Galperin I. R.* Stilistics. М., 1977.
31. *Lausberg H.* Handbuch der literarischen Rhetorik. München, 1960.
32. *Арнольд И. В.* Стилистика современного английского языка. Л., 1974.

## МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

ВОЛКОВ С. С.

ОБЩЕРУССКИЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ СЛОВАРИ  
КАК БАЗА ДЛЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКОЛОГИИ  
РУССКОГО ЯЗЫКА

Создание полного и систематического очерка русской исторической лексикологии — одна из неотложных, существенных и весьма сложных задач русистики наших дней. История русского языка представлена обстоятельными описаниями истории фонетической и морфологической систем, достаточно полными очерками исторического синтаксиса и истории русского литературного языка, историческое же развитие, формирование и функционирование словарного состава русского языка в его предыстории (древнерусская эпоха) и собственной истории (XIV—XX вв.) почти не описано, что, естественно, не дает возможности увидеть историю русского языка во всей ее полноте. Ставя задачу накопления материала для русской исторической лексикологии, И. И. Срезневский в конце 80-х гг. XIX в. писал: «Каждое слово есть представитель понятия, бывшего в народе: что было выражено словом, то было в жизни... Каждое слово для историка есть свидетель, памятник, факт жизни народа, тем более важный, чем важнее понятие, им выраженное. Дополняя одно другим, они все вместе представляют систему понятий народа, передают быль о жизни народа — тем полнее, чем обширнее и разнообразнее их собрание [1].

В отношении лексики XVIII—XX вв. имеется ряд обобщающих или частных работ. Богатый материал для истории словаря русского языка дают лексикографические издания конца XVIII—XX вв., Словарь языка Пушкина [2—3], другие словарные работы, посвященные языку писателей XIX—XX вв. Вышел из печати первый выпуск Словаря русского языка XVIII века, который не только представляет лексику русского литературного языка 90-х гг. XVII в.—10-х гг. XIX в., но и показывает ее в динамике, характеризует речевую употребительность слов и фразеологизмов [4]. Публикуются словари произведений М. Горького [5—6].

Древнерусский и в еще большей степени среднерусский периоды истории словарного состава русского языка описаны еще недостаточно, освещаются в сравнительно немногочисленных монографиях, докторских и кандидатских (зачастую в значительной своей части не опубликованных) диссертациях.

Публикующийся Словарь русского языка XI—XVII вв. (далее — СлРЯ XI—XVII вв.) [7] содержит богатый и разнообразный в тематическом, жанрово-стилистическом, социально-региональном и временном отношениях лексико-фразеологический материал, особенно ценный в той его части, которая относится к XVI—XVII вв., времени, когда завершается сложение языка великорусской народности и начинается формирование национального русского языка в его устной, обиходно-разговорной, и литературной формах. Семантическая разработка этого материала с учетом истории того или иного слова или же устойчивого словосочетания в русском языке, раскрытие в определенной степени парадигматических, деривационных, синтагматических отношений слов и фразеологизмов — создают базу для воссоздания истории русской лексики. Поэтому весьма актуальной является скорейшая публикация словаря в полном его объеме. С завершением выпуска СлРЯ XI—XVII вв. и Словаря русского языка

XVIII века можно будет проследить жизнь слова со времени его первых употреблений в древнерусской или собственно русской письменности до наших дней, не прибегая к посредству картотек.

Вместе с тем нельзя не понимать, что возможности СлРЯ XI—XVII вв. как общерусского исторического словаря, описывающего огромный исторический период, лексикю восточнославянской и собственно русской письменности во всех ее жанрово-стилистических разновидностях, словарный состав памятников, которые были созданы на различных территориях Руси XI—XIV и Московского государства XIV—XVII вв., в известной степени ограничены. Это определяется и первоначальной целевой установкой словаря<sup>1</sup>, и составом его базы — необычайно богатой, но отнюдь не всеобъемлющей картотеки, и запланированным весьма скромным и нереальным для работы подобного типа объемом, который не позволяет расширять иллюстративный материал, отчетливо раскрывать таким путем диалектную, социальную и жанрово-стилистическую дифференциацию древне- и старорусской лексики и фразеологии, все особенности их функционирования, все связи и отношения, — что вовсе не умаляет достоинства и значимости этого лексикографического предприятия.

В связи с изданием СлРЯ XI—XVII вв. возникает вопрос: сохраняют ли свое значение для русской исторической лексикологии выпущенные ранее, публикуемые параллельно с ним и подготавливаемые как общерусские [8—12], так и региональные исторические (или содержащие исторические материалы) словари [13—15], материалы для областных исторических, исторических частотных словарей И. А. Елизаровского [16], В. В. Палагиной [17—20], В. И. Хитровой [21—24], В. В. Потехиной [25, 26], Г. М. Чигрик [27], словарей, приложений к докторским и кандидатским диссертациям Е. М. Иссерлин [28], О. С. Мжельской [29], С. С. Волкова [30] и другие историко-лексикографические работы? Дают ли их данные дополнительные существенные сведения об объеме и составе древнерусской лексики, о ее семантике, истории сложения и преобразования смысловой структуры русских слов и фразеологизмов, их социально-территориальном статусе, функциональных возможностях и др.? Для исторической лексикологии существенно установление предельно полных и устойчивых групп слов, выявление связей между словами внутри группы и между группами, поскольку «цель исторической лексикологии — выяснение таких компонентов словарной системы языка, которые в истории его развития эволюционируют единым фронтом, то есть обнаруживают прочные устойчивые связи» [31].

Насколько значимы для исторической лексикологии сведения региональных исторических словарей и исторических картотек, имеющих в ряде вузов Советского Союза или в распоряжении отдельных исследователей, можно отчетливо показать на примере Псковского областного словаря с историческими данными (далее — ПОС), Словаря мангазейских памятников XVII — первой половины XVIII вв. Н. А. Цомакион (далее — СМП) и исторической картотеки, послужившей базой для исследования «Стилевые лексико-фразеологические средства деловой письменности XVII века» [32, далее — СМВ].

Используемая в этих работах методика — исчерпывающий охват лексико-фразеологического материала изучаемых исторических источников — объединяет эти работы. ПОС полно представляет словарный запас как современной псковской разговорной речи (разумеется, в границах обширной и ежегодно пополняемой региональной словарной картотеки), так и полностью расписанных 110 опубликованных псковских исторических памятников XIII—XVIII вв. (псковские летописи, Псковская судная грамота, многочисленные активные материалы, писцовые книги, а также произведения церковной книжности, созданные на территории Псковской феодаль-

<sup>1</sup> Словарь задуман как общедоступное справочное пособие при чтении памятников русской письменности XI—XVII вв. [7, вып. 1, с. 5]. Эти ограниченные, узкопрагматические рамки были очень скоро пересмотрены, и словарь стал изданием, представляющим большую часть лексического материала уникальной по своему объему и составу Картотеки исторического словаря XI—XVII вв.

ной республики). В корпус словаря включен только та часть лексики исторических источников, которая прямо или ко венно соотносится с лексикой живой обиходной речи современной Псковщины, «слова сугубо книжного характера, нередко принадлежащие к стилистическим украшениям летописного и агиографического стилей, . . . и узкотерминологические наименования, связанные с религиозным культом и церковной обрядностью» [14, 1, с. 8]<sup>2</sup> даются списками в конце каждого выпуска. В 1—4 выпусках ПОС (А — Вотачка) данные псковской средневековой письменности представлены в 1381 словарной статье. Если исключить топонимы и антропонимы, то 1—4 выпуски ПОС дают сведения о 1165 словах разных частей речи (1024 слова входят в основной корпус словаря, а 141 указывается в дополнительных списках с указанием источника), к этому нужно добавить устойчивые словосочетания различного рода, которые описываются в словарной статье, посвященной тому или иному слову.

Словарь мангазейских памятников, столбцов и книг Сибирского приказа, хранящихся в ЦГАДА, и актов из Государственного архива Красноярского края содержит 2644 словарных статьи (в отрезке А — Вот — 236 слов). Материалы исторической картотеки автора этой статьи включают 40 тыс. словарных карточек (более 8 тыс. однозначных слов, сложных терминов и фразеологизмов, 200 тыс. их употреблений) — результат полной расписки 1017 и выборочной дополнительной расписки еще около 500 официально- и частноделовых челобитных 1600—1699 гг. из самых различных частей Московского государства той поры.

Значимость рассматриваемых словарей и материалов для исторической лексикологии проявляется в нескольких аспектах.

Прежде всего ПОС, СМП и СМВ дополняют словник СлРЯ XI—XVII вв. в отрезке А — Вот (вып. 1—2 и частично 3, более 7850 словарных статей) 101 словом из памятников XIV—XVII вв. К этому 101 слову следует прибавить 12 субстантивированных прилагательных и причастий: *бездомовный* «тот, кто не имеет своего дома», *беззаконный* «нечестивец, грешник», *битый* «убитый, мертвец» (ПОС, СМВ)<sup>3</sup>, *вольный* «тот, кто не находится в крепостной зависимости» (СМВ), а также целый ряд графически-произносительных и морфолого-словообразовательных форм и вариантов, которые отражают разные периоды истории слова, особенности его использования в определенном регионе или социальной среде и т. д.: *апречь* «кроме», *архирей* (*архиерей*)<sup>4</sup>, *арципискупов* и *архипискуп* (*архискупов* и *архискуп*), *безвремение* (*безвремение*), *болотце* (*болотцо*), *братань* (*братан*), *братенник* (*братеник*), *вереск* (*верес*), *веретия* (*веретя*), *вертлюжок* (*вертлужок*), *весница* «заливной луг» (*вешница*), *взаперти* (*взаперть*) *виниса* (*вениса*), *вишень* (*вишня*) и др.

Среди этих слов представлены прежде всего лексемы общеупотребительные, свойственные как устной, так и письменной речи своего времени: *абланье* «оковка?», *бадьонный* «относящийся к бадье» (СМП), *бахметский* «мусульманский», см. *бахмать* в [7]; *безволокистый* (СМВ), см. в [7] только *безволокисто*; *бездѣтно* «без ребенка, не принеся ребенка» (СМВ), в [7] лишь *бездѣтный*; *безостаточный* «полный, совершенный» (СМВ), *безобводно* «без исключения, никого не миновав», *безружейный* (СМВ) «не имеющий оружия», ср. [7]: *безоружный*, *безруженный*, *безружный*; *безымянник* «безымянный палец», *беспощадный* (СМВ), см. в [7] только *беспощадно*; *беспременно*, *беспятинно* «не возвращая пятой доли съятого хлеба», *бесснежный*, *бессонница*, ср. в [7] — *бессоние*; *бесчестивать* (СМВ), *бигось* «тушенная капуста с мясом», *билязик* (СМВ) «украшение, обруч», *блюдо* «диск», *бобылец* (СМВ), см. в [7] *бобылекъ* и *бобылишко*; *борзая* «в знач. сущ. — порода собак и собака этой породы», *боросинь* «драгоценный камень», *браковальник* «лицо, оценивающее, определяющее сорт товара», *бубеник* «тот, кто играет на бубне», *бурдукъ* «жидкий горячий мучной

<sup>2</sup> Вторая цифра здесь и далее обозначает номер выпуска в [14] и [33] или тома в [8].

<sup>3</sup> Указания на представленность слова, устойчивого словосочетания (сложного термина, фразеологизма) или значения (оттенка) даются только для СМП и СМВ.

<sup>4</sup> В скобках указывается та графическая форма, в которой слово выступает в [7].

кисель» (СМП), *валень* «камень-валун», *валька* «гребок для сгребания лишнего зерна в мере», *волити* «позволить, разрешить», *великопомѣстный* (СМВ) «тот, кто имеет большое поместье», *вергнутися* «броситься, ринуться», *вершений* «такой, по которому вынесено решение» (СМВ), *вершь* «верх», *ветша* «залежь», *вещ* «весы», *взнести* «представить, вручить (монарху)» (СМВ), ср. в [7]: *взнести, вознести* «насадить, нанизать», *вкладень, вкладень* и *вкладня* «род орудийного шомпола», *водобѣгъ* «небольшой водный поток, ручей», см. в [7] *водобежный, волосникъ* «волосяной матрас», *восмисаженный* и др.

Вторую группу составляют сугубо книжные слова, выступающие в деловой письменности, памятниках церковной книжности: *безбогонадежный, беззаступство* (СМВ), *безмолвенный* «спокойный, безмятежный», *безмолствие* «молчание», *бесстужество* «греховные, богопротивные деяния, бесстыдство», *боговѣнчаный, богодарованный, богозданный, боголюбець, богонадежно* и *богонадежный, богомудренне, богоносный, богоразумие, богоумильнѣ* «богоугодно», *бываемый*, см. в [7] только *бываемое* в знач. сущ.; *великогордый, великосрамотный, возбѣснетися* «прийти в неистовство, обезуметь», ср. в [7] лишь *возбеснѣти; возднимати* на что «подстрекать против кого-н.», ср. в [7] парный по виду глагол *возднѣти* «поднять, помочь встать»; *возжечи*, ср. *возжечи* в [7]; *возогнети* «то же, что *возжечи*», *вопасться* (<*вопасться*) «остережся, побояться чего-н.», *воскачанье, востерзатися* и др.

Отмечаются в рассматриваемых материалах и слова, свойственные общедно-бытовому языку, экспрессивно-эмоциональные образования: *атаманишко* (СМВ), *бережа* «наблюдение, надзор» (СМВ); *въ береже* (*быть*) «под наблюдением, надзором, в сохранности (находиться)»; *болѣчка* «болезнь»; *бородашка* «бородавка», *бороденцо* «бородка», *бородовица* «бородавка», *братка* «брат», *братос* «двоюродный брат», *бревнишко*, см. в [7] *бревешко* и *бременце; бударка*, см. в [7] *будара* и *бударенка; быковинный* «быйчий»; *быстерь* «быстрое течение, стремнина», *варавити* «клеветать», *взбивати* «увеличивать, повышать (о цене)», ср. в [7] *взбивати* «отгонять, отбивать» и «взмахивать, бить крыльями», *верстица, вирца: ни вирцы* «нисколько, ни капли», *володетися* «владеть, распоряжаться», *волостишка* (СМВ), *волчишко* (СМП) «мех волка низкого качества», *ворохнутися* «шевельнуться, двинуться с места» (СМВ) и с отрицанием — «не слушаться кого-н., не противиться кому-н.» и др.

В приведенном перечне лексем представлены новые исконные или заимствованные слова, не зафиксированные ни в одном из имеющихся в распоряжении науки исторических словарей, расширяющие наши представления о словарном составе русского языка XI—XVII вв., о времени возникновения того или иного слова. Нередко в описываемых материалах представлено производящее для производного или ряда производных (*безволокистый, беспощадный, водобѣгъ* и т. д.), а также значительное число производных, дополняющих словообразовательные ряды, раскрывающих деривационные и выразительные возможности русского языка в различные моменты его жизни, парные видовые образования, отглагольные формы с *-ся* и т. д. Особенно интересны те случаи, когда то или иное слово рассматриваемых исторических источников подтверждается его использованием в современных народных говорах: *болечка* «болезнь» — Разговорник Т. Ф., 142, 1607 г. и «Переняли ету *болечку*» Слан. Загривье [14, 2, с. 86], ср. *болечь* Холмог. Арх. «боль, болевое ощущение» и «*больное* место на теле, болячка» [33, 3, с. 74]; *бородашка* «бородавка» — Гр. порядн., 321, 1679 г. и «А рука-та в ниво фся в *бърадашках*» Ново-Рж. Жуково [14, 2, с. 120], так же в русских говорах Литовской и Латвийской ССР [33, 3, с. 111], *бурдукъ* — [15, с. 47—48] и «*Бурдук* хлебать будешь?» Иркут., Забайк., Амур., Примор., Сиб., Камч., Якут., Волог., Арх. [33, 3, с. 284]; *быстерь* (ь) — Разговорник Т. Ф., 60, 1607 и «А где миста паужѣ, *быстер* большой» Печ. Красная Гора [14, 2, с. 234], ср. в ряде севернорусских и сибирских говоров [33, 3, с. 349], см. также *блюдо, ветша, водобѣгъ* и др.

К древнерусским словам, употребление которых подтверждается пока

только данными ПОС, СМП и СМВ, следует добавить отсутствующие (или реже — не выделенные) в других исторических словарях устойчивые словосочетания. Это прежде всего составные термины, такие, как *архиерейский приказ*, *Белая Россия*, в [7] имеется только *Малая Россия*; *битое золото* «плущенная золотая нить», в [7] приводятся *волоченное золото*, *пряденое золото*, *сканое золото*; *благочинный староста*, *кулачный бой*, *большой вор* («о Ткедчтрии»), *большая дорзга* «тракт», *кнжзий* (княжой) *боярин*, *малое ведро* «местная, нестандартная мера измерения» (СМП), *семивершковое* (казенное) *ведро*, ср. *осьмивершковое ведро* [7], *вѣрный сѣо* «взыскание налогов посредством присяжных лиц», ср. *вѣрное бранье* (*собрание*) в [7]; *горячее вино*, ср. *горблог* (*горючее*, *горящее*, *горющее*, *жжжжжж*) *вино* [7]; *выѣзжий воевода* «военачальник, назначенный на данный поход», в [7] не выделено, но дается в цитате из Псковской летописи, *черная волость* и др. (всего более 30).

Значительную группу составляют устойчивые формулы разного рода, употребляющиеся в летописях, посланиях, различных актах и иных памятниках письменности, такие, например, как *вѣчно* и *бесповоротно* «навсегда, окончательно», *суди* (*судить*) *богъ*, *лежит* (*будучи*) *во болезни*, *по божь* (о божь), *безъ бога* (*не зная бога*) «не по-христиански», *какъ богъ положитъ на сердце* (*по сердцу*), *какъ* (*чемъ*) *богъ извѣститъ*, *даль богъ* «хорошо, слава богу», *по благословению* (*благословлению*), *благословение* и *богомоление*, *более паче* «в княжных памятниках: тем более; лучше, предпочтительнее» и др. Некоторые из них используются в письменных памятниках как одно из выразительных, экспрессивно-эмоциональных средств: *бити большимъ боемъ*, *бити насмерть* «подвергать жестокому наказанию», *смертная бѣда* «смерть», ср. указанные в [7] *исходная бѣда* «смерть», *огненная бѣда* «пожар», *быстръ помысломъ* «сообразительный, находчивый», *радость и веселие* «летописная формула», *возгордится величаниемъ* «начать гордиться», *кичиться*, *возрадоватися радостию* и под.

Наряду с СлРЯ XI—XVII вв. рассматриваемые источники в значительной степени обогащают наши представления о фразеологии русского языка XIV—XVII вв., что особенно существенно, поскольку фразеология древнерусского и среднерусского периодов нуждается во всесторонней, как фактографической, так и теоретической разработке, а это скажется при анализе и оценке развития русской фразеологии в XVIII—XX вв. Описываемые материалы содержат более 80 не отмеченных ни одним историческим словарем русского языка фразеологических словосочетаний разного рода. Они относятся к разным периодам жизни русского языка и к различным социально-функциональным сферам:

а) общественно-политической и административно-управленческой — *быти на баскакахъ* «выезжать для выполнения служебно-деловых поручений» (XVII в.), *ввести въ свою волю* «подчинить себе» (XIV в.), *вдатися во всю волю кого-н.* «подчиниться кому-н.» (XV в.), *сдатися на волю победителя* (XV в.), *войти въ руку к кому-н.* «признать себя подвластным, вассалом» (XIV в.) и т. д.;

б) юридической и делопроизводственной — *судомъ вѣдати* «иметь право суда» (XVI в.), *бити бчтзги* (*кнутомъ*, *кнутьемъ*, *плетьми*); *бити кнутомъ на козѣ* «виды телесных наказаний» (XVII в.), *вертеть пунъ* «род пытки», *бросить* (*киднуть*, *посадить*, *сажать*) *въ воду кого-н.* «топить (утопить) как преступное деяние, покушение на чь-н. жизнь» (XVII в.), (*волочить*) *за батогами* «с применением силы, под угрозой наказания» (XVII в.), (*сказати*) *по своей вѣре* («показать») под присягой (о нехристианах)» (XV в.), *взести въ поруку* (*поручниковъ*) «сделать поручителем, представить поручителей» (XIV—XVI вв.), *взирая въ правду* «согласно закону» (XV в.), *съ великимъ бережениемъ* «соблюдая все предосторожности» (XVI—XVII вв.), и т. д.;

в) военной — *бити въ погоню* «преследуя, уничтожать противника» (XV в.), ср. *бити на кого*, *бити отъ кого*, *чего-н.* [7]; *битися стрѣльбою* «перестреливаться» (XV в.), *би пичи до горла* «сражаться, сопротивляться до последней капли крови» (XVI в.), ср. *битися до смерти*, *битися до крови* (*и до смерти*) [7]; *соступитися* (*стати*) *на бой* (*брань*), *стати боеви*

«начать битву» (XV—XVI вв.), *восприяти миръ* «заключить мирный договор; согласиться на прекращение военных действий» (XVI в.) и др.;

г) торговой — *по одинъ верхъ* «все сразу, оптом» (XVII в.), *на взоръ «осмотрев (товар)»* (XVII в.), *войти цѣною во что* «начать стоить сколько-н.» (XVII в.), *кабы на вороту не пало* «о возможном убытке» (XVII в.),

д) обиходно-бытовой — *варити пиво* (XVI в.), ср. *варити соль, варити желѣзо* [7]; *вернути словомъ* или *взадъ лазити (говорити)* «изменить свое решение, нарушить обещание, отказываться от своих слов» (XVII в.), *спихнути на чей-н. воротъ* «переложить заботы на кого-н.» (XVII в.), *бодена матъ* «бранно (эвфемизм)» (XVII в.), *взадъ жити кому-н.* «жить по-иному, хуже, чем сейчас (пожелание недругу)?» (XVII в.) и др.

е) религиозно-мировоззренческой — *при(н)яти благословение, от(н)яти благословение* (XV в.), *воздати благодарение* «поблагодарить (в молитве)» (XVI в.), *небесное богатство* (XVI в.) и т. п.

В ряде случаев новые материалы позволяют более полно описать семантику фразеологизма, его сочетаемость. Так, например, *бити челомъ* историческими словарями отмечается в значениях: *кому и без доп.* «клянуться», *кому на кого* «жаловаться», *кому о чем* «спросить» [8: 1, с. 90; 8: 3, с. 1488—1489; 4; 1, с. 90], но он мог использоваться и в значениях «обращаться почтительно», «предъявлять иск», «преподносить в дар», «клянуться в знак прощания» [34, с. 36—43; 35, с. 144—149].

Весьма сложно, хотя и очень существенно выявить новые, не указанные словарями значения (или оттенки значений) древнерусских слов. Сложность обусловлена различными принципами описания семантической структуры слова в исторической лексикографии, спецификой конкретного исторического словаря, объемом описываемого материала, который необычайно велик в СлРЯ XI—XVII вв. и обозрим в ПОС, СМП и СМВ. Однако тщательное сопоставление не столько определений, сколько иллюстрирующего цитатного материала позволило установить более или менее бесспорные пропуски наличными словарями ряда значений или их оттенков (всего более 50). Ограничимся лишь некоторыми примерами. Глагол *бѣгати* в рассматриваемых материалах используется также в значении «гоняться за кем-н.»: Напился де стрѣлецъ Коземка Чижикъ, зажокъ вѣтникъ и бѣгалъ за женою своею, мучить хотеть. Кн. писц. II, 442, 1665 г. и «метаться» — Поганий же ощутише пламень огня, зѣло возмѣтшася, и сѣмо и овамо бѣгати начаша, кигждо иша спасения себѣ. Пов. пск. Печ. м., 80, к. XVI — н. XVII в. [14: 1, с. 139], ср. «убегать, спасаться бегством» и «бегать, т. е. быстро передвигаться на ногах в разных направлениях» [7]. Глагол *бити* имеет значение «о волне, воде, буре — разбивать»: По третей год кочи на море бьет, и хлѣбъ не приходит. Ст. 134, л. 438, 1644 [15, с. 39], *брати* — «ловить»: Ехал мимо пруда Брязгинскова, — берут, г. робята рыбу на пруде. Я, г., Олексею сказал, и Олексей, г., мне сказал: Я де велел ребятам рыбу брать. АХБМ 1, 172, 1651 [СМВ], *возопити* — «заплакать, зарыдать во весь голос»: Бысть побоише велие...под Оршею, и воскликаша и *возопиша* жены орѣшанки. Лет. I, 1514 г., л. 663об. [14: 4, с. 98], ср. выделение этого значения только в словосочетании *возопити плачемъ* [7, 8], см. также *вѣроватися кому-н.* «клясться, присягать», *взыти* «всплыть, подняться на поверхность (моря)» и т. д.

Прилагательное *безнадежный* выступает в значении «такой, который не обещает успеха»: Сие же ведив *безнадежное* свое умышление и своих первосоветников в совершение не пришедший помысл паки приступами повседневыми на градовую стену покушаются выходити. Пов. прихож. Батория, 86, XVI в. [14, 1, с. 155], ср. *безнадежный* «потерявший надежду, отчаявшийся» [7], но в современных псковских говорах также «не оставляющий надежды на благополучный исход» [14], см. также *бѣсовский* «внушаемый бесами», *близкий* «расположенный рядом, неподалеку», *бойчий* «то же, что боевой, предназначенный для боя», *вѣтранный (вѣтреной)* «обманчивый, лживый» и др.

Существительное *верхъ* употребляется в рассматриваемых материалах как «верхняя часть, верхний этаж дома»: Клеть моя на городе, *верх* одны-

ми двермы на буи. Нов. пск. гр. , 33, 1417—1421 гг., бой — «войско, рать», *братье* — «то, же, что бранье, взывание» [15], *бревно* — «орудие казни», *взятье* «незаконный побор, взятка» [15], *водолив* — «водонос, водовоз, работник, доставляющий воду (в баню)» [15] и т. п. Наречие *вдвое* отмечено в значении «в два ряда (слоя)»: Да около рву поставлены были рагули еловые суковатые *вдвое*. Кн. писц. II, 43, 1636 г., ср.: «вдвое, в два раза», «дважды», «надвое», «в два раза, пополам», «на два голоса» [7, 8].

Нередко полная расписка значительного по объему материала древнерусских памятников определенного периода позволяет более полно описать семантическую структуру слова. Наречие *вновь* в СлРЯ XI—XVII вв. имеет 2 значения: «наново (о делающемся впервые, на новом месте, новом материале и т. п.; о новом)» и «вновь, снова» с отглагольным «еще раз, по-иначе, по-новому», ср.: «вместо прежнего, заново»: А кровля на ней [башне] построена *вновь*. Оп. г. Опочки, 179, 1691; «создав, сделав что-н., чего не было»: Оп, Сергей, *вновь* хором поставит или старые починит. Кн. Поганкина, 5, 1670; «дополнительно, еще»: И рознитца учнуть въ рѣчахъ или улики *вновь* на нихъ въ воровствѣ подлинныя будутъ, и ихъ пытать. А. земск. торг. д., 4, 1665 г. [14], следовательно, ПОС показывает входящие в смысловую структуру этого слова неучтенные значения, см. также глагол *дать* [36] и др.

Итак, сопоставительное рассмотрение материалов общерусских больших исторических словарей и двух словарных работ, описывающих лексико-фразеологический фонд областных собраний памятников письменности, а также одной из картотек группы исторических источников XVII в., показывает, что в последних содержатся разнообразные дополнительные данные, которые обогащают наши знания о семантике, лексике и фразеологии древнерусского языка, дают сведения о народно-разговорной речи, по исторической диалектологии. Однако извлечение этих сведений становится возможным лишь в результате полной расписки памятников, требующей напряженного труда многих исследователей. Исчерпывающую лексикографическую разработку местной письменности как XI—XIII, так и, особенно, XIV—XVII вв. следует проводить в значительно большем объеме, чем это делается сейчас. Это очень важно для понимания путей развития русской культуры, ее хранилища — русского слова. Следует подумать и об единой методике сбора материалов и их описания, регулярном обмене опытом работы.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Срезневский И. И. Мысли об истории русского языка. СПб., 1887, с. 103.
2. Словарь языка Пушкина. Т. 1—4. М., 1956—1961.
3. Новые материалы к Словарю А. С. Пушкина. М., 1982.
4. Словарь русского языка XVIII века. Вып. I. Л., 1984.
5. Словарь автобиографической трилогии М. Горького. Вып. I—IV. Л., 1974—1984.
6. Словарь драматургии М. Горького. Вып. 1. Саратов, 1984.
7. Словарь русского языка XI—XVII вв. Вып. 1—10. М., 1975—1983.
8. Срезневский И. И. Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам. Т. I—III и Дополнения. СПб., 1895—1912.
9. Дювернуа А. Материалы для словаря древнерусского языка. М., 1894.
10. Словарь-справочник «Слова о полку Игореве». Вып. 1—5. М.—Л., 1965—1978.
11. Лексика и фразеология «Моления Даниила Заточника». Л., 1981.
12. Грузберг А. А. Частотный словарь русского языка второй половины XVI — начала XVII века. Пермь, 1974.
13. Словарь смоленских грамот XII—XIV вв.— В кн.: Филологический сборник. Смоленск, 1950.
14. Псковский областной словарь с историческими данными. Вып. 1—5. Л., 1957—1983.
15. Цомакион Н. А. Словарь языка мангазейских памятников XVII — первой половины XVIII вв. Красноярск, 1971.
16. Елизаровский И. А. Лексика беломорских актов XVI—XVII вв. Архангельск, 1958.
17. Палагина В. В. Материалы для исторического словаря томского говора.— В кн.: Вопросы русского языка и его говоров. Вып. 3. Томск, 1975.
18. Палагина В. В. Материалы для частотного словаря томских деловых документов XVII в.— В кн.: Русское слово в языке и речи. Кемерово, 1977.
19. Палагина В. В. Частотный словарь таможенных книг Томска 1624—1627 гг.— В кн.: Русские говоры в Сибири. Томск, 1979.

20. *Палагина В. В.* О сооставительных частотных словарях местной письменности XVII в.— В кн.: Семантика слова и его функционирование. Кемерово, 1981.
21. *Хитрова В. И.* Материалы для словаря воронежской деловой письменности XVII—XVIII вв.— В кн.: Проблемы современной исторической лексикологии. М., 1979.
22. *Хитрова В. И.* Материалы для словаря воронежской деловой письменности XVII—XVIII вв.— В кн.: Проблемы истории русского литературного языка XIX—XX вв. М., 1980.
23. *Хитрова В. И.* Материалы для словаря воронежской деловой письменности XVIII—XVIII вв.— В кн.: Проблемы эволюции лингвистических единиц в истории русского языка XI—XVIII вв. М., 1981.
24. *Хитрова В. И.* Материалы для словаря воронежской деловой письменности XVII—XVIII вв. (статья четвертая).— В кн.: История структурных элементов русского языка. М., 1982 (публикация материалов для словаря продолжается).
25. *Потехина Н. Ю.* Материалы для исторического словаря среднеобских говоров.— В кн.: Вопросы русского языка и его говоров. Вып. 4. Томск, 1977.
26. *Потехина Н. Ю.* Материалы для томского исторического словаря.— В кн.: Русские говоры Сибири. Томск, 1981.
27. *Чикрик Г. М.* Материалы для исторического словаря кузнецких говоров XVII в.— В кн.: Русское слово в языке и речи. Кемерово, 1977.
28. *Иссерлин Е. М.* Лексика русского литературного языка 2-й половины XVII в.: Дис. на соискание уч. ст. докт. филол. наук. Т. 2. Словарь Л., 1961.
29. *Мжелская О. С.* Местная лексика в псковской деловой письменности XIV—XV веков: Дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. Гл. III. Словарь. Л., 1956.
30. *Волков С. С.* Изменения в лексике делового языка Московской Руси первой трети XVII века: Дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. Приложение: Словарь полнзначной лексики актов «Слова и дела» первой трети XVII века. Л., 1961.
31. *Ларин Б. А.* Историческая лексикология (вводные лекции к спецсеминару).— В кн.: *Ларин Б. А.* История русского языка и общее языкознание. М., 1977, с.12.
32. *Волков С. С.* Стилиевые лексико-фразеологические средства деловой письменности XVII века (На материале челобитных): Дис. на соискание уч. ст. докт. филол. наук. Л., 1980.
33. Словарь русских народных говоров. Вып. 1—19. М.— Л., 1965—1983.
34. *Волков С. С.* Лексика русских челобитных (формуляр, традиционные этикетные и стилиевые средства). Л., 1974.
35. *Тарабасова Н. И.* Об одном фразеологизме в частной переписке XVII в.— В кн.: Исследования по лингвистическому источниковедению. М., 1963.
36. *Волков С. С.* Семантическая структура глагола *дать* в деловой письменности XVII в. (по материалам челобитных).— В кн.: Вопросы семантики. Калининград, 1978.

КУТИНА Л. Л.

ЭЛЕМЕНТЫ ЭТИМОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА В СЛОВАРЕ  
ИСТОРИЧЕСКОГО ТИПА

Типы исторических словарей разнообразны. Их различает прежде всего (и это — одно из возможных противопоставлений) объем исторического времени, охваченного описанием. Так, существуют словари ряда исторических (а большей частью — также языковых) эпох и словари ограниченных периодов, в языковом отношении представляющих определенный этап диахронии. С широтой или узостью хронологических границ связан характер лексикографического описания, возможный объем лексикографической информации. Так, к примеру, авторы Словаря русского языка XI—XVII вв. (словарь широкого охвата) вынуждены были отказаться от грамматической характеристики глагола — части речи, которая на протяжении семи веков претерпела наиболее сильные изменения. Тексты этого словаря представляют существенно разные грамматические системы. В чешском Словаре церковнославянского языка (*Slovník jazyka staroslověnského*. Praha, 1966—1979) указывается в конце статьи синонимический ряд к описываемому слову. Но в состав такого ряда попадают в значительной мере лексические соответствия различных эпох, характеризующие лексические варианты одного, эволюционирующего во времени, текста. Синонимия же — как системная характеристика — жестко связана с единым диахроническим этапом.

Существенно с точки зрения лексикографической информации и место того или иного временного этапа в единой диахронической линии развития. Так, русские словари донационального периода (периода литературного двуязычия) вряд ли могут ставить своей задачей стилистическую характеристику словоупотребления. Собственно стилистическая характеристика возникает в рамках единого литературного языка. Лишь здесь такая категория слов, как славянизмы, получает стилистический (а не только генетический) статус и соотносится с другими категориями слов в единой стилистической системе.

Можно, как мне думается, утверждать, что словари, ориентированные на один этап диахронии, характеризующийся определенной стабильностью языковых характеристик, предоставляют более широкие возможности для интерпретации различных сторон слова. В таком словаре могут быть показаны все системные характеристики слова, что исключается для словарей, совмещающих в описании ряд языковых состояний и ряд хронологически сменяющих друг друга языковых систем.

Несомненно, большие возможности дает значительная диахроническая перспектива для построения истории слова. Зато для словарей ограниченного временного охвата возможны характеристики динамические, вписываемые в рамки динамической синхронии. Последний род характеристик особенно важен для исторических этапов, отличающихся повышенной динамичностью процессов, протекающих в словарном составе. К таким этапам относится, в частности, XVIII век в России — период складывания нового, единого литературного языка на национальной основе. Динамические характеристики — фиксация изменений в употребительности слов, значений, форм и их стилистического распределения в пределах периода — являются весьма существенными для лексикографического описания в Словаре русского языка XVIII века (Вып. 1. Л., 1984; далее — Словарь XVIII в.).

К разряду динамических характеристик в Словаре XVIII в. прежде всего относится обозначение фактов неологии — внешней (заимствования) и внутренней (образование новых слов на русской почве за счет активизации системы словообразования и семантической деривации). С неологизмами-заимствованиями в Словаре XVIII в. возникает проблема построения этимологий. И здесь мы также попадаем в область ограничений, характеризующих словари одного диахронического этапа. Словарь такого рода расползается квалифицирующими данными только для своей неологии, и — соответственно — он определяет этимологию лишь для заимствований своей эпохи. На такую позицию встали и авторы Словаря XVIII в.

К квалифицирующим данным для построения этимологии относится прежде всего набор вариантов (модификации формы) первого, начального этапа заимствования, несущий наиболее отчетливую информацию о языке (языках) — источнике заимствования, а также культурно-исторические данные, извлекаемые из анализируемых текстов, современных заимствованию.

Набор вариантов начального этапа очень нестойко и быстро меняется или исчезает в ходе адаптации. Приведем один пример. В словарях XVIII в. (второй его половины) находим слово *картуз*, для которого отмечаются три значения (1. Арт. Шерстяной мешок по калибру артиллерийского орудия, в который насыпают порох; заряд; 2. Бумажный мешок для сыпучих веществ; 3. Дорожная шапка). Это полисемантическое слово характеризуется единой стабильной формой. Между тем в первом десятилетии века мы находим два вариантных ряда, один из которых — *картуз*, *кардуз*, *картус* связан с первыми двумя значениями, а второй — *карпуц*, *карпус*, *карпуз* — с третьим значением. Первые значения восходят к франц. *cartouche*<sup>1</sup>; этот галлицизм попал к нам через голландское (ср. голл. *Kardoes*) и немецкое (*Kartuse*) посредство; источник 3-го значения — собственно голландский язык (*karpoots* — это слово в современном голландском не сохранилось, словари XVIII в. его фиксируют, ср. также нем. *Karpus*). В ходе адаптации произошло подравнивание формы обоих слов, утрачены варианты периода вхождения и возникла единая семантическая структура на базе слияния двух омонимов. О былой их раздельности говорят только варианты начальной поры заимствования.

К таким же утраченным модификациям формы начального этапа относятся варианты: *оват* у слова *овал* (итал. *ovato*), *конселерия* — *кончелария* (франц., итал.), *борствер* — *бруствер* (голл. *brosweer*), *казерна* — *казарма* (франц. *caserne*, нем. *Kasarme*, *Kaserne*, голл. *caserne*, швед. *casarnte*, *caserne*); *фатчад*, *фачад* — *фасад* (итал. *facciata*); *лозон* — *лозунг* (швед. *lösen*, *lösn*), *опат* — *аббат* (польск. *opat*), *акедюк* — *акведук* (франц. *aqueduc*), *релижия*, *релия*, *релья* (франц. *religion*, укр.-белорусск. *релия*, *релея*), *шлахбом* — *шлагбаум* (голл. *slagboom*), *посто* — *пост* (итал. *posto*) и др.

Нестойкость вариантов начального этапа заимствования в русском языке XVIII века связана также со сменой ведущих влияний на русский язык: для начала века — это латинский и польский языки, с 20—30-х годов — немецкий язык, с 60-х годов — французский язык. Со сменой ведущего влияния происходит переоформление ранних вариантов по нормам ведущего языка; на фоне ведущего влияния варианты, оформленные по нормам других языков, оцениваются как варваризмы и как варианты слабые из языка вытесняются. Так, в пору латино-польского ведущего влияния вытеснены из языка французские и итальянские варианты *конселария* и *кончелария*, *ситадель*, *дисциплина*, *релижия*; в пору ведущего немецкого влияния вытесняются многие польские, голландские, французские, английские варианты форм (латинские формы, как правило, не колеблются, ср., однако, вытеснение латинской формы *кастан* немецкой *каштан*): *семент*, *шлахбом*, *стукатура*, *сала*, *еспион*, *посто*, *пунт* и мн. др.; в пору французского влияния французские формы предпочитают не только немецким, но и латыни (ср. исчезновение вариантов *покал* «бокал», *гест* «жест», *актор*, *миниатура* и т. п.). Исключение составляют

<sup>1</sup> Иноязычные слова даются в орфографии XVIII века.

специальные сферы словаря, где действует зачастую свое ведущее влияние. Так, голландские заимствования в морском словаре не сменили свою форму на немецкую даже в пору ведущего немецкого влияния (слова *шхеры, шторм, салинг* в морской терминологии являются сильными вариантами по отношению к немецким формам *щеры, штурм, залинг*).

В известной мере реализации указанной тенденции препятствовала также традиция в оформлении заимствованных суффиксов (ср. *молекула—молекуль*). Традиционно оформленные морфемы вытесняли национальные варианты морфем или дублировали их иногда и в том случае, когда заимствовалось собственно европейское слово или слова классических языков, используемые в значениях, не зафиксированных в этих последних: *прокурор* (франц.), *авантюра* (франц.). И все же в пору ведущего немецкого влияния суф. *-тет (-tät)* является сильной формой по отношению к другим европейским вариантам (франц. *-té*, итал. *-ta*), а суф. *-ирова(-ть)* теснит традиционное *-ова(ть)*.

Помимо модификаций формы информация о языке — источнике заимствования несут первоначальные осмысления заимствованного слова, также зачастую утрачиваемые в процессе адаптации.

Так, о польском влиянии, способствовавшем появлению в русском языке слова *парад*, говорят не только варианты формы *парат, порат* (польск. *parat*), но и значение «боевое снаряжение, боевая готовность войска» [ср. выражение *быть, стоять в параде*: «Неприятель в некотором логу (далее пушечной стрельбы) в порат стал». — Реляция о Полтавской баталии 1709; «Чтоб полк был в параде. Ежели учинится стрельба, чтоб стали в строй». — Архив Куракина, т. III, 104. 1790 г.]. Значение «боевая готовность» позже 20-х годов XVIII в. уже не отмечается, а формула *стоять в параде* переосмысливается («стоять в строю для смотра»).

Подобное же быстро исчезнувшее семантическое звено слова *баталия* «войско в боевом строю и строй войска, учрежденного к бою» свидетельствует о польском, шведском, английском словоупотреблении, не характерном ни для языка-источника (французский, итальянский), ни для немецкого языкового посредства. В этих языках данное значение передается словосочетаниями *ordre de bataille, corps de bataille*.

К ориентирам начальной поры заимствования, утрачиваемым впоследствии, относятся и первичные лексические связи заимствованных слов в новой, принявшей их среде. Особенностью начального периода вхождения слова является то, что оно еще не располагает в новом языке нужным набором лексических контекстов для своей реализации. При недостатке типических контекстов при заимствовании слова нередко калькируются его лексические связи. По характеру калек можно судить о языковой среде, из которой пришло заимствование. Так, контексты *армия лежала у Брюно, штраф на теле, разрезать коммуникацию, равнобегищие линии* говорят о немецкой языковой среде, из которой или через которую шло заимствование (ср. нем. *die Armee liegt bey...*, *Straff am Leib* «телесное наказание», *die Kommunikation durchschneiden, gleichlaufende Linie* «параллельные»); контексты *стрелять в брешь, последний, крайний секрет, делать партию против кого-л.* и под. говорят о французской языковой среде (ср. *battre en brèche* «делать брешь», *le dernier secret, faire un partie* «злоумышлять против кого-л.») и т. п.

К культурно-историческим данным начального периода заимствования имеющим диагностирующую силу для этимологии, относятся текстовые данные, извлекаемые из сопоставления книг параллельной печати. Практика параллельной печати особенно широко применима в первой половине XVIII в.: Устав морской — на голландском и русском языках, Сигналы во флоте — на русском, голландском, английском, итальянском языках, Устав воинский, Устав вексельный — на русском и немецком языках. Параллельной печатью (русской и немецкой) издавалась газета «Санкт-петербургские ведомости» (1728—1800 гг.) и первый научно-популярный журнал «Примечания к Ведомостям». (1728—1742 гг.). Далее — тексты, репрезентирующие речевую манеру двуязычных лиц при наличии сведений о характере их двуязычия (возможность итальянизмов у Б. Куракина,

англицизмов у М. Воронцова, галлицизмов у А. Кантемира и под.); тексты, корреспондирующие с иноязычными документами (ответы на грамоты иностранных дворов, иностранных корреспондентов, допросы пленных и т. п.); переводы. Особенность таких текстов — вольное или невольное повторение словоупотребления текстов иноязычных.

Такой же диагностирующей силой обладают сведения о наличии материальных и культурных связей какой-либо функциональной сферы словаря с определенным языком (для XVIII в.: корабельная терминология — голландский, английский, итальянский языки; горное дело, металлургия — немецкий язык; архитектура — итальянский, французский языки; музыка — итальянский язык, научные тексты — латынь, греческий язык и т. п.).

Данными такого рода располагает Словарь XVIII в. только по отношению к своей неологии. С этим связано ограничение круга этимологизируемых слов и выражений. И в этом отличие исторического словаря определенного диахронического этапа от общих словарей литературного языка, дающих этимологическую характеристику заимствованиям различных исторических эпох.

От специфики описываемой словарем эпохи зависит и постановка вопроса об источнике заимствования. Для языка XVIII в. существенен учет многоконтности, т. е. наличия одновременных контактов с рядом европейских (и славянских) языков и получения слов общеевропейской распространенности в различной национальной трансформации. Особенно широк спектр контактирующих языков в Петровскую эпоху (латинский, польский, немецкий, французский, итальянский, английский, голландский, датский, шведский); но многоконтность характеризует и другие этапы развития языка XVIII в.

Выше приводился ряд примеров фонетических/фонематических вариантов начального этапа заимствования. Их форма отчетливо указывает на различную национальную среду, из которой они получены: *религия, релижия, релия, релѣя* (лат., польск., франц., укр.-белорусск.); *вулкан, волкан* (итал. *vulcano*, нем. *Wulcan*, франц., исп. *volcan*); *шпага, спада, спага* (итал. *spada*, польск. *szpada*); *бисквит, бишкот* (франц. *biscuit*, итал. *biscotto*); *тюльпан, тюлип* (нем. *Tulipan*, франц. *tulip*); *ниша, нича* (франц. *niche*, итал. *nichia*); *мускул, мускуль, мускль* (лат. *musculus*, польск. *muskuł*, франц. *muscle*); *колонна, колумна* (лат. *colonna*, итал. *colonna*) и т. п.

Характернейшее свидетельство многоконтности — получение лексем, оформленных европейскими интернациональными суффиксами в различных национальных модификациях. Так, модификации в европейских языках латинского именного суффикса *-tio (-tionem)*, именного суффикса *-tas (-tatem)*, глагольного суффикса *-idiarel-izare* (из греч. *-i (-ειν)* — источник появления в русском языке XVIII в. вариантных рядов типа *куриозитет — куриозита — куриозите* (контакты с немецким, итальянским, французским языками), *социетет — социете — социета — социетас; дирекция — дирекцио — дирекцион; капитуляция — капитуляцио — капитуляцион; акция — акцион, ауторитет — ауторита; квалитет — квалита* и т. п.

То же относится к оформлению общих корней генетически родственными соотносительными суффиксами в отдельных группах европейских языков: лат. *-ntia*, франц. *-ns*, итал. *-nza* и русский вариантный ряд *алианция — альянс — альянца; финанция — финанц(ы) — финанс(ы)*; лат. *-ari, -or*, франц. *-aire, -ier, -eur*, нем. *-er, -ierer*, англ. *-er* — на русской почве: *актер — актер, газетьер — газетир — газетиер, банкир — банкиер — банкиер, дезертир — дезерттор — дезертер*; франц. *-ill*, исп. *-illo, -illa*, итал. *-iglio, -iglia* — на русской почве: *флотилла — флотилья — флотиль, ванилла — ваниль — ваниль, виолончель — виолончелла*; лат. *-ul*, нем. *-el* — *циркуль — циркель, купол — купул — купель, спектакуль — спектакель*; лат. *-tura*, итал. *-tura*, франц. *-ture* — *авантура — авантюра, миниатура — миниатюра* и т. п.

О многоконтности говорят и колебания в объеме значения. Слово *аммуниция* (вариант *моницион, муница*) определялось как слово, имею-

щее два значения: 1) военные припасы, 2) снаряжение воина. Если в военные припасы мыслится включенным металл — свидетельство шведского словоупотребления; если в снаряжение воина включается провиант — свидетельство французского словоупотребления; если военные припасы мыслятся лишь как относящиеся к артиллерии — свидетельство польского словоупотребления и т. п.

В условиях многоконтактности при построении этимологии существенно выделение двух вех: язык-источник и языки (язык)-посредники, из которых слово непосредственно попадает в язык и которые в большинстве случаев определяют его форму; содержание слова, его значение — единое для языка-источника и посредников.

Подобный подход строится на принципе отправителя, а не получателя. Если, к примеру, во французском военном языке возникло какое-либо слово (*батальон, батарея, парад* и т. п.) и его восприняли все языки Европы, оно будет считаться галлицизмом в любом из них. Сообразно же принципу получателя такое слово может расцениваться как галлицизм в немецком языке, как германизм в польском или датском, как полонизм в русском и т. п. Примат формы, который выдвигают обычно сторонники принципа получателя, не абсолютен. Слово *корпус* (воен.) в русском языке имеет латинизированную оболочку, форму, но получено оно нами из национальных языков Европы. Семантически возможно воздействие ряда европейских языков, усвоивших это значение, сложившееся на французской (*corps*) и итальянской (*corpo*) почве. Со стороны формы возможно воздействие латинизма *корпус* (уже бытовавшего в русском языке в иных значениях), а также шведского, датского, польского словоупотребления в военной сфере (ср. швед. *corpus, corpo*, дат. *Korpus, Korpo*, польск. *Korpus*). Контакты со всеми этими языками в пору заимствования слова доказаны документально.

Осложняющим моментом в построении этимологии является наличие двух языков в качестве источника заимствования в том случае, если у каждого из них свои посредники в передаче слова на русский язык. В этих случаях целесообразно совмещение в этимологической строке двух этимологий. *Флот* и *Флота*: а) франц. *flotte*, непосредственно и через голл. *vloot*; б) итал. *flotta*, непосредственно и через польск. *flota*.

Но полный путь слова от источника до русского языка (этимологическая цепочка) для исторического словаря принимающего языка безразличен: в этом отличие исторического словаря от этимологического. Так, пути слова *кавалерия* в русский язык можно представить в виде трех отдельных цепочек: итальянский — польский — русский; итальянский — французский — русский, итальянский — французский — немецкий — русский. Этимологическая строка словаря эти данные обобщает: *Кавалерия*. Итал. *cavalleria*, через польск. *kawaleryja* или франц. *cavallerie*, нем. *Cavallerie*.

При решении вопроса о языке-источнике обязательным является учет значения этимологизируемой единицы, т. е. единицей заимствования признается лексико-семантический вариант, а не слово как некая совокупность таких вариантов. Соответственно, язык-источник — это тот язык, к исконному словарю которого принадлежит заимствованное в русский язык слово в данном его значении. С исконным словарем языка-источника объединяются при этом иноязычные заимствования в нем, развившие там те значения, с которыми они попадают в русский язык. Так, латинизм, давший семантическое новообразование во французском языке, квалифицируется как галлицизм, а французское слово, давшее семантическое новообразование в немецком языке — как германизм. Франц. слово *adresse*, заимствованное в английский язык, развило там политическое значение «письменное заявление какого-нибудь конституционного органа или группы населения главе правительства, а также групповое обращение к кому-л. с изъяснением каких-либо чувств». В XVIII в. слово *адресс* в этом значении попадает в русский язык. Языком-источником этого заимствования мы назовем английский язык. В отличие от генетического источника такой источник может быть назван конкретно-историческим.

Из сказанного явствует, что учет значения при построении этимологии предполагает возможность указания нескольких этимологий у полисемантического слова. Так, например:

*Адрес*. 1. Франц. *adresse*, непоср. и через польск. *adres*, нем. *Adresse*. Надпись на письме с обозначением лица и места жительства. 2. Франц. *adresse*, непоср. и через нем. *Adresse*. Фин. Надпись на векселе. 3. Англ. *address* < франц. Полит. Обращение к главе правительства.

*Дивизия*, вариант *Дивизио*, *Дивизион*. 1. Лат. *divisio*. Деление. 2. Воен. франц. *division* < лат.

*Парад*, вариант *парад*. 1. Польск. *parat* < франц. Боевое снаряжение, боевая готовность войск. Стоять в параде. 2. Франц. *parade*. Смотр солдат перед разводом караула. 3. Нем. *Parade-Platz*. Площадь для развода караулов.

*Мануфактура*. 1. Ср.-лат. *manufatura*, через франц. *manufacture*, англ. *manufacture*. Изготовление, рукоделие. 2. Англ. *manufacture*. Мануфактурные изделия; текстиль, ткани.

Сложным является и установление конкретно-исторического источника при этимологизировании научных слов, терминов, возникавших в эпоху позднего Средневековья, Возрождения, начала Нового времени. Эти слова создавались в определенных национальных регионах, но строительным материалом при их конструировании были корни и аффиксы латинского и греческого языков (ср. *атмосфера*, *аттракция* и т. п.). По отношению ко многим терминам известно имя их создателя. Так, *логарифм* — слово, введенное Нипером, *инерция* — Ньютоном, *утопия* — Мором и т. п. Можно ли назвать эти слова англицизмами и в словаре указывать при них английскую этимологию? Думается, что сложность здесь состоит в том, что в пору их создания научная литература продуцировалась и на латинском (ученая латынь), и на национальных языках Европы. Положение и функционирование нового слова в языке научной латыни затрудняет квалификацию его как английского слова. Для подобных слов, видимо, целесообразнее указать на их латинскую природу, дополнив латинскую этимологию сведениями о том, где или когда они созданы. Ср. статью на слово *аттракция* в Словаре русского языка XVIII века, где такое дополнительное указание содержит иллюстративный материал.

*Аттракция*. Лат. *attractio*, непоср. или через франц. *attraction*. Физ. Притяжение, привлечение. Ньютон, философ аглинский, показал, что все тела в твари взаимно себя по неким правилам привлекают. Ту силу телес называет аттракциею. Кантемир, Сатира VII, Примеч., 161.

Построение этимологий при заимствованных словах — обычный пункт программы лексикографических описаний. Но исторические словари стоят сейчас перед настоятельной необходимостью давать этимологические справки при словах, значениях слов, словосочетаниях, фразеологизмах, представляющих собою результат калькирования — структурного или семантического. Фронтальное проведение такого описания зависит от разработанности исторической лексикологии того или иного периода. Нынешнее состояние русской исторической лексикологии таково, что словарные работы не находят в ней нужной опоры, прочного фундамента. Словарные описания по необходимости сопрягаются сейчас с изысканиями лексикологическими. Возможности таких изысканий, естественно, достаточно ограничены, и тем не менее вводить в программу лексикографических описаний этимологические справки такого рода необходимо.

Наиболее открыт для наблюдений (по ограниченному набору контекстов и сериям специализированных употреблений) язык научный и язык поэтический. Принцип калькирующего перевода в этих сферах языка пользовался чрезвычайно широко. Словарь XVIII в. вводит за знаком «сравни» (ср.) этимологические указания такого рода: *созвездие* (ср. лат. *constellatio*), *насекомое*, *несекоемое* (ср. лат. *insectum*), *преломление* (ср. лат. *refractio*, франц. *refraction*), *равновесие* (ср. лат. *aequilibrium*, нем. *Gleichgewicht*), *полуостров* (ср. лат. *peninsula*, нем. *Halbinsel*); *самопознание* (ср. нем. *Selbsterkenntniß*); *угол впадения* (ср. лат. *angulus incidentiae*, нем. *Einfallwinkel*), *сила тяжести* (ср. лат. *vis gravitatis*), *царская водка* (ср.

лат. *aqua regis*); *береговое право* (ср. лат. *jus litoris*, нем. *Strandrecht*); *низкое море «отлив»* (ср. франц. *la mer basse*); *слезы Авроры «роса»* (ср. франц. *les pleurs de l'Aurore*) и т. п.

Подобную же этимологическую ориентацию получают в Словаре XVIII в. выявленные семантические кальки, факты семантической индукции: *косность*, физ. (ср. лат. *inertia*), *век* (ср. лат. *seculum*), *памятник* (ср. лат. *monumentum*), *корень*, мат. (ср. лат. *radix*), *спутник*, астр. (ср. лат. *satellit*), *вкус* (ср. франц. *goût*), *промышленность* (ср. франц. *industrie*, лат. *industria*), *влияние* (ср. франц. *influence*), *впечатление* (ср. франц. *impression*) и т. п.

Словарь XVIII в. старается выявить и отметить также иноязычные источники фразеологизмов: *платить тою же монетой* (ср. франц. *ill'a payé en même monnaie*), *возвратить (кого) к самому себе* (франц. *se rendre à lui-même*), *поставить (утвердить) ногу где* (ср. нем. *festen Fuß fassen*), *башни на воздухе строить* (ср. нем. *Schlößer in die Luft bauen*) и т. п.

Приводит Словарь XVIII в. и факты бесспорно калькированных синтаксических связей, например: *зависеть на чем, в ком-чем, от кого-чего* (ср. польск. *zawisnąć od kogo, na czym, w czym*); *влияние на что, над чем* (ср. франц. *influence sur qn*) с примечанием в справочном отделе словарной статьи: «Influence переводят влияние, и не смотря на то, что глагол вливать требует предлога в..., располагают нововыдуманное слово сие по французской грамматике, ставя его по свойству их языка с предлогом на: *faire l'influence sur les esprits*, делать влияние на разумы» (Шишков А. С. Рассуждение о старом и новом слоге российского языка, СПб., 1803 г., с. 25).

Предприняв попытку квалификации фактов калькирования в русском языке XVIII в., составители Словаря русского языка XVIII в. отдают себе отчет в том, что они смогут осуществить лишь часть необходимой работы; полное осуществление ее должно стать плодом усилий многих историков-русистов.

СУДАКОВ Г. В.

ЛЕКСИЧЕСКИЕ ДИАЛЕКТИЗМЫ И ДИАЛЕКТНЫЕ  
ОБЪЕДИНЕНИЯ ЯЗЫКА МОСКОВСКОЙ РУСИ

Использование данных лексики для решения проблемы диалектного членения русского языка донационального периода уже имеет известную традицию. Особенно заметны успехи советских исследователей в описании лексического состава старорусских памятников, связанных с отдельными территориями и некоторыми культурно-письменными центрами, например, с бассейном Северной Двины (Б. А. Ларин, Н. С. Бондарчук, В. Я. Дерягин), с Великим Новгородом и Псковом (В. В. Ильенко, В. И. Максимов, О. С. Мжельская, В. П. Строгова), с югом России (С. И. Котков, В. И. Хитрова), с Рязанью и Смоленском (Е. Н. Борисова) и др. Однако наблюдения над словарем старорусского языка в географической проекции еще не носят систематического характера, не скоординированы и потому не дают общей картины территориального распределения лексики. Добавим, что практически не было и попыток воссоздать полную картину диалектного состояния России XVI—XVII вв. Диалектное членение средневековой Руси реконструируется для периода не позднее XIV—XV вв., т. е. эпохи формирования языка великорусской народности, причем главным образом на основе фонетико-морфологических данных современных говоров [1—3]. Выявление общерусского и ограничение местного — важнейшая задача исторической лексикологии русского языка XV—XVII вв., от решения которой зависит определение словарного вклада говоров отдельных территорий в сокровищницу общерусского национального языка, воссоздание широкой ретроспективы территориальной дифференциации лексики, установление времени формирования отдельных тематических и лексико-семантических групп и т. д. [4]. Достижение указанных целей возможно на путях объективного, с учетом всего жанрово-стилевого и территориального разнообразия текстов, исследования языковой ситуации в преднациональной России, массового обследования источников разной локализации и анализа их данных в сравнении с выводами современной диалектной лексикологии и лексикографии.

Несколько слов о распространенном термине «языковая ситуация» применительно к древнерусскому и старорусскому периодам. Обычно под языковой ситуацией понимают состояние литературного языка в ту или иную эпоху, состав его разновидностей, взаимоотношение между литературным языком и общенародной речью. Подобное понимание языковой ситуации упрощает суть дела. Развернутая картина состояния и развития языка народа в определенную эпоху складывается как минимум из оценки трех типов ситуаций, создающих в комплексе представление о лингвистической ситуации эпохи: 1) литературно-языковая ситуация (стилевая): состав литературного языка, его разновидности, лексико-фразеологические и грамматические средства отдельных типов языка, состояние литературной нормы, отношение к средствам «нелитературного» характера и г. д. (см. работы С. П. Обнорского, В. В. Виноградова, Ф. П. Филина, Н. А. Мещерского, А. И. Горшкова, Б. А. Успенского и др.); 2) социально-языковая ситуация (социолингвистическая): речь различных социальных групп, соотношение в ней литературного, просторечного и диалектного, степень владения литературным языком в разных социальных средах и т. п. (см. работы В. В. Виноградова, Б. А. Ларина, посвященные теории вопроса, но конкретных разработок этой проблематики фактически еще нет); 3) лингвогеографическая ситуация: диалектное членение язы-

ка данной эпохи, соотношение общерусского и местного на разных языковых уровнях, соотношение диалектных средств и литературных элементов в языке, столицы и местных центров письменности и т. п. (см. работы А. И. Соболевского, А. А. Шахматова, Р. И. Аванесова, С. И. Коткова, Ф. П. Филина и др.). Каждый из этих типов языковой ситуации применительно к любому историческому периоду требует отдельного обсуждения. В данном случае речь пойдет в основном о лингвогеографической ситуации в России XVI—XVII вв.

Историческая лингвогеография имеет недавнюю традицию, вопросы методики в этой области, в частности, на русском материале обсуждались мало. Основными здесь являются выбор источников, техника сбора материала, графическое оформление результатов и интерпретация, все они имеют некоторую специфику в отличие от методики работы на современном материале.

Прежде всего важно правильно определить состав анализируемой лексики. Выбор для анализа тех или иных лексико-тематических групп определяется целями исследования, при этом учитывается степень древности слов, устойчивость их в языке и другие признаки. Не случайно, например, для выяснения наиболее древней картины диалектов на определенной территории в первую очередь обращаются к географической терминологии, лексике земледелия и т. п. Учитывая неодинаковые темпы изменчивости разных групп лексики, целесообразно при изучении лингвогеографической ситуации конкретного периода обратиться к анализу не устойчиво консервативных систем географической, земледельческой или административной терминологии, а к изучению предметно-бытовой лексики сфер «одежда», «утварь», «пища», «постройки», обладающей достаточной динамикой, чутко реагирующей на изменения «вещного» мира. Обозначая жизненно важные реалии, по-разному эволюционирующие на разных территориях, эти слова меняют свой семантический объем и парадигматические связи, что обуславливает их территориальную дифференциацию, особенно развитую в кругу конкретных названий. Немало и чисто этнографической лексики, называющей реалии локального распространения.

Далее необходимо подобрать тексты, разные в жанрово-стилевом отношении, так как характер функционирования в них лексем в зависимости от этого не был одинаковым, причем все тексты должны иметь строго фиксированную территориальную прикрепленность. Неравномерное распределение сохранившихся письменных источников по территории России не снимает необходимости привлечения к анализу максимально возможного их числа. Значительное число русских текстов XVI—XVII вв. позволяет начинать лингвогеографические исследования с этого периода. Большинство памятников местной письменности связано не с малыми населенными пунктами, а с административно-территориальными центрами, т. е. уездными городами, по этой причине более мелкая сетка в историко-лексикологических исследованиях не всегда возможна. Дальнейшее увеличение числа источников и исследованных лексических групп делает картину более конкретной и точной.

Приведем список культурно-письменных центров, с которыми связаны привлеченные нами для исследования тексты: с е в е р н о р у с с к а я з о н а: Архангельск, Бежецк, Белозерск, Валдай, Великие Луки, Великий Новгород, Великий Устюг, Весьегонск, Вологда, Галич, Каргополь, Кириллов, Кола, Кострома, Олонец, Онега, Псков, Свирь (Свирский монастырь), Соловки, Сольвычегодск, Старая Русса, Тарногский городок, Тихвин, Торопец, Тотьма, Усть-Вышь, Устюжна, Хлынов, Холмогоры, Чаронда, Ям, Яренск, Ярославль; с р е д н е р у с с к а я т е р р и т о р и я: Алатырь, Арамаз, Владимир, Волоколамск, Городец, Дмитров, Звенигород, Казань, Калязин, Кашин, Клин, Коломна, Можайск, Москва, Муром, Нижний Новгород, Переяславль, Ржев, Ростов, Саранск, Симбирск, Суздаль, Тверь, Торжок, Шуя, Юрьев, Юрьево; ю ж н о р у с с к а я з о н а: Астрахань, Белгород, Белев, Валуйки, Воронеж, Вязьма, Дедилов, Дорогобуж, Елец, Зарайск, Кашира, Короча, Кромы, Курск, Лихвин, Мценск, Обоянь, Орел, Путивль, Рязань, Севск, Серпухов, Смо-

## Названия вместилищ для денег и мелких ценностей

Географические пункты	бумаж- ник	бумаж- ница	зель	калита	карман	козюшка	козяца	мошна	мошня	хлябья	через
Псков			1	1				2	1		1
В. Новгород, Валдай	2		4				2		1		2
Тихвин						1	3	10	1		5
Олонец, Свирь					2			5	6		9
Белозерск	1							10	6		5
Вологда, Тотьма	1							10	5		5
В. Устюг, Яренск	3	5	1					10	5	10	1
Вага								10	2	10	10
Двинской у.			5	2			8	10	4	2	10
Москва			10	4		1		10	1		4
Коломна, Деделов			7		2						1
Елец			2								4
Дорогобуж, Вязьма								2			
Смоленск			3					10	1		6
Курск, Обоянь								3			4
Рязань			1		1		1	1			1
Воронеж	1								1		
Н. Новгород, Казань								10			
Астрахань			1				2	10			
Сибирь					2			10	6		10

С

Примечание: Учитывается не более десяти употреблений слова в источниках, связанных одним или несколькими рядом лежащими пунктами.

Таблица 2

## Названия плетеных вместилищ

	В. Новгород	Тихвин	Белозерск	Вологда	Двинской у.	В. Устюг	Ярсславль	Москва	Владимир	Рязань	Воронеж	Дорогобуж	Смоленск	Сибирь
<i>берестень</i>	.		.	+	.	.		×				×	+	
<i>бурак</i> «короб»	×	+	+	×	×	×		+						
<i>бурак</i> «сосуд»				×		×	×			.				
<i>зобня</i> «корзина»				+			.							
<i>зобня</i> «конск. торба»					.									.
<i>корзина</i>	+	×	+											.
<i>кузов</i>	.		+	+		×				+	+			
<i>крошня</i> (и)	+	+	+	+		×	.	×						
<i>кошель</i> (для утвари)	×	×	+	+	.	+		×	.	+				
<i>кошель</i> (для одежды)				.										
<i>кошель</i> (для сена)	.	.		+		.								
<i>кошель</i> (для воды)	.	.		+				×	+					
<i>коробья</i> «ларец»								.	+					
<i>коробья</i> «мера»	.	.			.			.	+					
<i>лукино</i>			+		+									
<i>луб, лубянка</i> и др.	+	+	+		+									
<i>пестерь</i>				×	×	×							.	
<i>пещерь</i>								+		+				
<i>бехтерь</i>					+									
<i>пошев</i>			.					+						
<i>туес</i>	.		+		×	×		×						×

Примечание к табл. 2 и 3 ×—более десяти употреблений, +—менее десяти употреблений  
.—разовое употребление.

пенск, Старый Оскол, Тамбов, Тула, Черневск, Яблонев; С и б и р ь  
и Д а л ь н и й В о с т о к: Верхотурье, Енисейск, Кунгур, Мангазея, Нер-  
чинск, Тобольск, Томск, Тюмень, Шадринск, Якутск. В некоторых слу-  
чаях учитывались данные других исследователей.

Распределение старорусских локализмов по диалектным зонам  
(названия бондарной посуды и черпаков)

	север		среднерус.	юг		Сибирь
	зап.	вост.		зап.	вост.	
<i>уполовник</i>	+	×	+			
<i>а(у)поло(у)ник</i>			+	+	.	
<i>поварница</i>	+	×				+
<i>поваренка</i>	+	+				
<i>чюмич</i>	×	+	×	+		
<i>галин (а)</i>	+	+				
<i>дуплянка</i>	+	.				
<i>извара</i>	×	×	×		.	
<i>кадца</i>	×	×	.		×	+
<i>кадулька</i>		+				
<i>комьяга</i>			.		.	
<i>лежанка</i>	.		.			
<i>лазбень</i>				+		
<i>лагуи</i>	+	×	+	+	.	+
<i>лаговка</i>	+	.				
<i>лагушка</i>	+	×	.			
<i>мерник</i>	.	×	×			+
<i>напол</i>			+	×	×	
<i>насадка</i>	×	+	×	.		
<i>носок</i>		.				
<i>осташевка</i>	+		.			
<i>селедовка</i>	+		.			
<i>ушат</i>	×	×	×		+	

Важной, но трудоемкой задачей является фиксация типичных для данной территории слов. Частота употребления лексемы является географически варьирующимся показателем, поэтому важно учитывать анализируемое слово в письменности данного пункта хотя бы до условного минимума, но в текстах, написанных разными авторами. В нашем случае фиксировалось не менее десяти употреблений слова не менее чем в трех разных источниках.

Целесообразно последовательное оформление материала вначале в таблицы, а затем на картах. Таблицы могут иметь два вида: полные, включающие все слова тематической микрогруппы (см. в качестве образца табл. 1), и дифференциальные, отражающие только региональную лексику (см. табл. 2—3). Обобщенные данные таблиц наносятся на карту, где вычленяются диалектные зоны или группы говоров.

Конечной целью лингвогеографического анализа на материале письменных источников, как и по данным полевых наблюдений, является установление диалектного членения языка, но есть и принципиальные частности, например, выявление общерусских лексем. Важно обратить внимание на отграничение диалектного от общерусского разговорного, так как и в донациональный период в языке функционировали разговорные лексемы общерусского распространения наряду с междиалектными словами, употребляемыми в нескольких или даже многих пунктах и связанными с несколькими диалектными континуумами. Разграничить эти явления при отсутствии в донациональную эпоху четкой противопоставленности «литературное — диалектное», «общеупотребительное — диалектное» можно только путем накопления фактов, расширения источниковой базы, развития региональной исторической лексикографии.

Местные речевые явления в эту эпоху не были противопоставлены литературному языку в отличие от современных диалектизм, поэтому для обозначения локальных фактов требуется особый термин — «локализм» или «регионализм». Старорусскому локализму свойственны ограниченный ареал употребления, устанавливаемый по памятникам письменности, приуроченным к определенной территории; отсутствие данного слова в текстах общерусского распространения; возможное сохранение словом локального характера и в последующие периоды. Основным в ряду перечисленных признаков является первый. В отличие от современных диалектизм ста-

русский локализм был противопоставлен не нормированному литературному средству, а элементу общерусского употребления.

Как показывает анализ многочисленных памятников письменности, средством повседневного общения русских в XVI—XVII вв. был русский разговорно-бытовой язык диалектного характера, в котором имелось большое число общерусских средств. Вся территория России была в равной мере диалектной, в меньшей степени это относится к Москве и нескольким крупным торгово-ремесленным центрам (Великий Новгород, Вологда, Астрахань и др.), в койне которых заметно проступали общерусские черты, не подавляя, впрочем, местного начала. Несколько иную картину наблюдаем в Сибири и южнорусских областях, население которых в то время сильно обновилось: здесь процессы нивелировки диалектных особенностей и отбора общерусских средств в результате непосредственного общения уроженцев разных областей могли идти довольно быстро, хотя и с меньшей интенсивностью, чем в Москве. Существовали в этот период и наддиалектные формы устной и письменной речи (художественной, культовой, деловой и пр.), в разной степени связанные с диалектным разнообразием устной бытовой речи.

Исследование показывает сложную конфигурацию ареалов отдельных диалектных средств, но отчетливо проступают очертания нескольких, наиболее противопоставленных по лексическим данным диалектных зон, в основных границах совпадающих с более поздним диалектным и этнографическим членением. Так, противопоставляются по отношению друг к другу пять диалектных массивов, границы которых пока восстановлены с известной долей условности из-за неравномерного распределения сохранившихся и исследованных письменных источников по территории России. Во-первых, север противостоит югу, они разграничены широкой и неровной полосой среднерусских говоров, проходящей по пунктам Торжок — Тверь — Москва — Владимир — Нижний Новгород. Во-вторых, внутри северной и южной территорий в свою очередь противопоставлены запад и восток, но с меньшей степенью отчетливости. Граница между западной и восточной зонами проходит в северной части по линии Холмогоры — Каргополь — Белозерск — Бежецк; при этом отметим, что говор Пскова и Великого Новгорода по лексическим показателям местной деловой письменности решительно тяготеет к севернорусскому наречию. В южнорусской области граница между западной и восточной зонами идет по линии Тула — Елец — Старый Оскол. В общем виде эти зоны близки к этнографическим зонам, выявленным по данным XIX — нач. XX вв.: севернорусская, южнорусская, среднерусская, а также западная, северо-восточная и юго-восточная [5; 6, с. 256].

Анализ распределения слов по зонам и отдельным говорам осуществлялся на основе предварительно выполненного семасиологического описания лексики одежды и утвари, результаты которого частично опубликованы [7—11].

Назовем локализмы, послужившие основой для выделения указанных диалектных массивов.

Характерные севернорусские лексемы (для всей территории) — названия рукавиц: *вачеги, верхи, верхонки, дельницы, дубленицы, надолонки*; названия одежды: *платьяное, верхник, шубник, одевальница* «тип шубы», *сукник, свитка* «тип рабочей одежды», *шушун* «верхняя женская одежда из ткани, иногда подбитая мехом», *кумачник* «сарафан из кумача»; названия обуви: *малье* «детская обувь», *уледни — уледы, унты, головы* «сапоги с пришитыми головками»; названия посуды и утвари: *дуплянка* «тип бочки», *зобня* «корзина», *подойник, латка, кошель* «короб для сена», *решетки* «приспособление для жарения и печения пицци», *ставок* «сосуд для хранения напитков и жидкой пицци», *ларь, поварница — поваренка, утка* «солонка в форме птицы», *чаша* «посуда для валяния хлебов», *маслянка, призголовок, пестерь, рогоза* «рогожный куль».

На западе северной части России, представляющей собой зону древней новгородской колонизации и связанной с Псковом, Великим Новгородом, Валдаем, Тихвином, Свирью, Онегой, Архангельском, Холмо-

горами, Белозерском, употреблялись слова: *шубницы*, *деяницы*, *деяльницы*, *шущпан* «женская легкая рабочая одежда, тип сарафана», *понева* «тип наплечной одежды», *яры* «сапоги из оленьей шкуры, сшитые вместе со штанами»; *коробья* «мерный сосуд», *бурак* «короб для хранения бытовых предметов», *шалгун* «сумки из ткани для бытовой рухляди, соединенные попарно для переноски на плече».

На северо-востоке (Сольвычегодск, Хлынов, Великий Устюг, Тотма, Вологда, Кострома, Ярославль) представлены следующие регионализмы: *верхница* «рубаша», *солдатка* «тип шубы», *лопоть* «одежда вообще», *свитка* «тип женской одежды», *ремень*, *полукушачье*, *кромка* «пояс», *пориши*, *обуток*, *обуя*, *стречны* «вид обуви особого покроя», *пимы*, *полуголенки* «чулки»; *кадулька*, *дупелька* «тип бочки», *сельница* — *сеяница* — *сеяльница* «корыто, лоток, в который сыпалось просеиваемое вещество», *галин* «небольшой деревянный или металлический сосуд, тип бочонка», *носок* «небольшой деревянный сосуд с двумя днищами, тип баклажки».

Можно говорить и об отдельных севернорусских говорах, если учесть значительное число связанных с тем или иным письменным центром лексем: белозерских (*водяницы*, *плетеницы*, *передовик* «передник», *хамгла* «рыбацкий передник»; *шадра* «разновидность деревянной посуды», *пантоха* «столовая чаша», *ушатник* «ушат», *лжично* «футляр для ложки»), тихвинских (*журпы* «башмаки особого рода»; *вороновка* — *вороненка* «тип бочки», *зеленка* «глиняная чашка зеленоватого цвета», *кортель* «тип оловянной столовой посуды», *лежка* — *лежатка* «разновидность бочек», *мещелка* «род сумки, мошна», *панна* «сковорода», *уполовня*, *яндовочник* «вместилище для хранения яндов»), великоустюжских (*кошуха* «рубашка», *прикопытки* «короткие чулки», *исподницы* «нижние рукавицы», *камошницы* «рукавицы из оленьих камасов», *шабур* «летний рабочий балахон из холста»; *бумажница* «вместилище для бумаг и ценностей», *бехтерь* «пестерь», *коробец* — *коробчик* «небольшой короб», *лагвица* «баклажка для хранения крепких напитков, объемом от 1 до 4 ведер», *подойница* «сосуд для молока при доении коров», *пуз* «мера и тара сыпучих веществ», *седун* «котел для винокурения», *цепня* «колодезная бадья»), северодвинских (*бусарка* «меховая одежда, покрытая тканью бусого, т. е. темно-голубо-серого цвета», *холщевница* — *холщевня* — *холщага* «одежда из холста», *костычь* «тип сарафана», *исподка* «нижняя женская рубашка», *верхница* «верхняя рубашка», *крестоватик* «тип меховой одежды», *завеска* «передник», *долгари* «тип обуви», *пимы*, *исцель* «сапоги, сшитые из целого куска кожи», *покосник* «девичье головное украшение», *варенги* «рукавицы», *ровдужницы* «рукавицы из ровдуги, т. е. оленьей шкуры»; *доуленка* «подойник», *кринница* «кринка», *коренник* «тип посуды из корня дерева», *липка* «кабочка из липового дерева», *порочка* «черпак», *сусленик* «сосуд для сусла», *ушатец*, *хлебенка* «вместилище для хранения печеного хлеба»), вологодских (*бусырь* «рабочая одежда бусого цвета», *дубленки* «рукавицы из дубленной кожи», *берестяники* «лапти из бересты», *скрешни* «тип сапог», ошетни «тип сапог», *завтуха* «тип рогожи», *огуречник* «столовая посуда для овощей», *перешничек*, *пложка* «кухонная посуда для жарения»). Меньшее число локальных фактов выявлено по новгородскому говору (*охоратки*, *кожницы*), по говорам Зауралья (*головодец*, *шамшура*).

Обратим внимание на заметные различия в отношении лексики между вологодскими говорами (от Вологды до Тотмы включительно) и великоустюжскими (по Сольвычегодск включительно). Прослеживается связь многих соседних говоров, например, устюжских и северодвинских (*рукомойка*, *лаговка*, *хамьян* «тип мошны»), тихвинских и белозерских.

Среднерусские говоры, за исключением московских, не обнаруживают лексической специфики, подтверждая тем самым свое промежуточное, переходное положение между севернорусским и южнорусским наречиями. Следует отметить размытость границ среднерусских говоров: тяготение к севернорусскому наречию волоколамских и тверских говоров, заметную связь рязанских говоров с подмосковными (*судница* «вместилище для посуды», *воспище* «подстилка или мешок из дерюги», названия рогож *лапотница* и *циновка*) и т. д. В крайней западной части среднерусской территории

вовсе не заметно какой-либо прослойки между севернорусскими и южнорусскими говорами.

Приведем список лексем, отмеченных в московских актах XVI—XVII вв.: *абаб* «одежда из грубого сукна абы, тип зипуна», *занавеска* «передник», *опашиница*, *распашиница*, *передник*, *рукавка* «муфта», *чехол* «сорочка»; *амагиль* «походная фляжка», *ванна*, *варовик* «кувшин для горячей жидкости», *горчишник*, *клеяленка*, *кореноватка* «посуда из корня дерева», *липовка* «кадочка из липы», *монастырек* «футляр», *наливок* «род ковша», *овощник* «посуда для овощей», *передача* «большая чаша для охлаждения вина льдом», *подблюдник*, *пятерик* «тип котла», *площадка* «широкий и приплюснутый сосуд из дерева», *серебренник* «сосуд из серебра», *связни* «столовые судки на общем поддоне», *тарельник*, *тройчаток* «котел определенного объема», *хреноватик*, *четверник*, *цедилка*, *шаф* — *шкп*, *ягодник*, *яшник*. Большое количество старомосковских локализмов объясняется несколькими причинами: во-первых, значительным числом выявленных и обследованных текстов, связанных с Москвой и Подмосковьем; во-вторых, содержание московских текстов часто бывает связано с бытом феодальной знати, для которого характерно разнообразие предметов утвари и одежды; в-третьих, в XVI—XVII вв. московская письменность по числу локализмов еще не отличалась от письменности остальных областных письменных центров. Словарь московской письменности вообще поражает своим объемом, в деловой и художественной речи Москвы происходил иногда осознанный, но чаще стихийный отбор лексических средств из огромного числа общерусских лексем и местных элементов, разными путями попадающих в говор Москвы. Диалектные, типично северные или специфические южные слова могли встречаться в московских источниках, например, северные *подойник*, *латка*, *решетка*, южнорусское *понева* «женская набедренная одежда», юго-западные *фартук*, *катанка*, *дылея*, северо-западные *мурманка*, *повязка*, северо-восточные *полуголенки*, *чарки* и т. д. Прослеживается нормализующая роль московской письменности: если слово устойчиво входило в московский говор и язык письменности московских приказов, оно обнаруживало стремление к общерусскому распространению. Дальнейшая судьба слов сводилась к расширению региона их бытования и одновременно в силу этого — к увеличению числа местных фонетико-словообразовательных вариантов, унификация которых происходит в последующие периоды.

Многообразны лексические связи севернорусских и среднерусских говоров, прежде всего они выражаются в наличии общих междиалектных лексем: *белильница*, *каптур* «женский головной убор», *лагушка* «род кадки», *мятель* «тип плаща», *мерник*, *приголовок* «дорожный сундучок с наклонной крышкой», *перечница*, *рукомой*, *расольник* «столовая посуда для солений», *тарелка*, *уксуник*, *фляга*, *таз*, *цепник* «кадка, в которой настаивались пацитки». Учитывая тяготение к среднерусским говорам рязанских диалектов, включим в список общих северно- и среднерусских лексем названия *квашня*, *кринка*, *кошель* «короб», *рогожа*, *уполовник*, *ушат*. Принимая во внимание близость говора Дорогобужа и Вязьмы к среднерусским диалектам и севернорусскому наречию, дополним указанный список словами *крошни*, *лагул*, *пещерь*, *чюмич*. Север и западную часть средней России связывают названия *пужиши* «штаны особого покроя», *канги* «зимняя обувь из оленьих шкур», *упаки* «грубая обувь из сыромятной кожи»; учитывая происхождение этих слов, можно предполагать их распространение по русской территории с севера на юг. Общей для севера и восточной части средней России является лексема *пришитки*, обозначающая тип сапог. Западную часть севернорусских и среднерусских говоров объединяют слова с корнем *верет-*, а также лексемы *брусок* «тип питейной посуды», *калитка* «тип фляжки», *корзина*, *лежанка* «тип бочки», *кошель* «лубяное ведро для воды». Общими для севернорусских говоров и диалектов центра средней России были слова *вретнице*, *грохот* «крупноячеестое решето», *коробейка*, *кумган*, *канна* «кружка», *калита*, *козушка* «денежный мешочек», *череп* «глиняный сосуд для жидких продуктов»; наличие общих лексем объясняется влиянием московских и владимиро-суздальских гово-

ров на севернорусское наречие. В севернорусской диалектной зоне обозначается группа говоров, наиболее тесно связанная с говорами Москвы и Владимира: белозерские (*заторник* «чан для винокурения», *кореноватик* «вместилище из древесных корней для хранения домашней утвари», *пошев*, *рогозина*), вологодские (*зобня* «корзина», *дойник*, *колода* «долбленое корыто для спуска жидкости при винокурении», *лимонник*). В этом находят отражение древние связи Московского и Ростово-Суздальского княжеств с Белозерьем и Вологодчиной, московская и ростово-суздальская колонизация севера, происходившая в XIII—XV вв., а также и волна обратной миграции в XVI—XVII вв.

В южнорусской диалектной зоне обнаружено меньше региональной лексики. Вот типичные южнорусские слова: *вязенки* «вязаные рукавицы», *понева* «женская пабедренная одежда», *запояска*, *подпояска*, *гольром* «женский пояс»; *комяга* «корыто для воды», *напол* «тип кадки», *уполоник* «разливательная ложка». На юго-востоке также отмечены *синевка* «тип поневы», *чоп* «чан, используемый при винокурении», *мастюшка* «небольшой кухонный горшок». На юго-западе в свою очередь наблюдаются лексемы *панчохи* «разновидность чулок», *сельник* «лоток, в который ссыпается просеиваемое вещество», *гарнец* «тип посуды», *лазбень* «род кадки, жбана».

Здесь выделяются рязанские говоры (*синявка* «тип поневы», *снур* «головной убор»; *поставня* «хлебная чаша», *севальник* «лукошко для ручного сева зерна»), воронежские (*варги* «вязаные рукавицы», *вершки* «верхние рукавицы», *бострог* «тип женской одежды», *безрукавка*, *деланка* «тип поневы», *запаска* «передник», *деготница* «сосуд для дегтя», *плахта*, *копица* «башлык», *каюк* «корыто для выращивания солода», *кляга* «бочонок», *кадиль* «кадка», *дежа* «квашня», *кошелка*, *прикадок*, *садовница* «лукошко», *судня* «вместилище для посуды»), смоленские (*снованка* «тип поневы», *хустка* «головной платок», *перчатки*).

Со среднерусскими говорами южнорусское наречие связано набором общих лексем: *ендова*, *плошка* «питейный сосуд»; см. также среднерусское и юго-западное *скрыня* «сундук, ларец».

Значительным единством отличались говоры, расположенные в западной части русской территории (от Тихвина до Смоленска), что дает иногда основание не включать смоленские говоры в южнорусское наречие, но все же если Вязьма и Дорогобуж по лексическим данным ближе к северо-западу, то Смоленск — к юго-западу. Приведем общие для всей западнорусской территории лексические единицы: *магирка* «войлочный колпак», *приволюка*, *саян*, *шлык*; *игольница* — *игольник*, *кварта* «сосуд для жидкости с ручкой и крышкой; мера объема», *насадка* «деревянный бочонок для напитков емкостью до 7 ведер», названия бочек *осташевка* и *селедовка*, *питушка* «сосуд для напитков». Известная общность наблюдается в лексическом составе севернорусских и западнорусских письменных источников (*лубянка*, *лубень*, *кандея*, *кукшин*). В западнорусских говорах и в южнорусском наречии отмечены названия одежды *катанка*, *дылея*, *фартук*. Важно отметить, что западный регион по этнографическим данным XIX—XX вв. также является переходной зоной [6].

Лексические связи говоров северной территории и среднерусских диалектов в XVI—XVII вв., как показывает анализ, были значительнее, чем средней России и юга. Сравнивая локальную лексику разных территорий с точки зрения ее употребительности, междиалектного распространения, можно заметить, что диалектизмы севера устойчивее, значительно и их число, это в некоторой степени объясняется и наличием богатой деловой письменности на севере, хорошо отражающей местные явления. Можно предполагать более существенный вклад севернорусского наречия в общерусскую лексическую сокровищницу: многие слова, впервые отмеченные в письменных источниках Русского Севера, закрепляются в общерусском употреблении (см. примеры ниже), в отношении южнорусских лексем, если иметь в виду тематические группы «одежды», «утварь», такие факты неизвестны. Первенствующая роль в оформлении и закреплении общерусской лексической нормы бесспорно принадлежала говорам средней Рос-

сии, особенно московскому. В лексике юга преобладает общерусское, местных черт здесь количественно меньше, что лишь отчасти объясняется меньшим числом сохранившихся письменных источников. В отношении юга надо учесть и такой фактор: хотя русское население здесь проживало постоянно, но наиболее интенсивно юг заселялся в XVI—XVII вв., причем заселение шло с севера на юг [12], поэтому среднерусское и общерусское влияние на южнорусскую речь в ту пору было особенно значительным. Со второй половины XVII в., в частности, в связи с воссоединением Украины с Россией, возрастает украинское влияние на юге, одновременно в связи со стабилизацией состава населения крепнут южнорусские диалектные черты. Возможно, некоторые южнорусские особенности развились, окрепли и распространились на более широкую территорию, например, в верхнеднепровские говоры (Дорогобуж, Вязьма), лишь в национальный период.

Что касается русского языка в Сибири, то он зависел от своей северновеликорусской основы, в частности, был особенно близок к говорам северо-восточной зоны, что подтверждается большим числом общих лексем: *лопоть*, *шушун*, *свитка*, *шабур*, *верхница*, *полукушачье*, *обуя*, *тумы*, *уледи*, *латка*, *поварница*, *призоловок*, *розога*, *утка*, *меденик*, *зобня* «корзина», *косяк* «род сосуда». Наблюдаются здесь и специфические, местные названия, заимствованные из тюркских, финно-угорских и тунгусо-маньчжурских языков аборигенов Сибири и Дальнего Востока, например, названия меховой одежды и обуви: *доха*, *малица* (пока отмечено лишь *маличишка*), *парка*, *торбосы*, *тулуп*, *санаяк*, *яки* и др.

Говоры Поволжья тяготели к среднерусским и юго-восточным диалектам (*казан* «котел для винокурения», *плошка* «питейный сосуд»). Выделяется своим смешанным составом астраханский говор, где есть местные названия (*баба* «сосуд для питья», *стоятня* «тип бочки», *тартовка* «тип рогожи», *чапурка* «керамическая чаша для напитков»), но встречаются и разнообразные по территориальной принадлежности элементы, в том числе специфические северорусизмы.

Несомненно, что в сочетании с явлениями фонетического и грамматического уровней лексические факты должны быть включены в совокупность признаков, различающих соответствующие диалекты. Заметим также, что особый интерес и вместе с тем особую трудность для выявления представляют междиалектные лексемы широкого, но не общерусского употребления, ср. *ушат* — севернорус., среднерус., юг.-вост., *берестень* и *насадка* — севернорус., среднерус., юг.-запад. и т. д. При отсутствии общепризнанной литературной нормы их можно обнаружить лишь при условии массового<sup>1</sup> привлечения разнолокальных источников.

Четкого попарного или погруппового территориального распределения лексем фактически не наблюдается, что свидетельствует о динамичном характере локальных лексико-семантических процессов, широких взаимосвязях соседних говоров. Примеры лексических соответствий обнаруживаются лишь внутри лексических микрогрупп. Например, если в севернорусских актах диалектными являются названия сарафанов и рубах, то в южнорусских источниках им противостоят наименования разновидностей понев. Что же касается самих слов *сарафан* и *понева*, то, как и в современных говорах, не было их географического противопоставления, поскольку *сарафан* был общерусским словом. Диалектное разнообразие в сфере названий женской одежды — результат большего разнообразия и более быстрой изменчивости самой женской одежды. Комплекс мужской одежды носил общерусский характер, поэтому большинство соответствующих слов представлено на всей русской территории. Указанные особенности словника женской одежды подтверждаются и на более широком материале, поскольку в староукраинском и старобелорусском языках по сравнению с русским языком XVI—XVII вв. также наблюдается сходство словаря мужской одежды и значительные расхождения в номенклатуре женской одежды.

Рассмотрим примеры территориальных соответствий из лексики посуды и утвари, ср. севернорусское *поваренка* — севернорусское и сибирское

*поварница* — севернорусское, среднерусское и юго-восточное *уполовник* — юго-западное *аполо(у)ник* — севернорусское, среднерусское и юго-западное *чюмич*. Функционально одинаковые сосуды для винокурения получили повсеместно название *квасник*, но имелись и местные наименования: севернорус., моск. *заторник* — псков., волог., костр. *спусник* — белозер., твер., волог., костр. *цепник* — южнорус. *чоп*. Одинаковые сосуды для приготовления теста на значительной территории от Поморья до Рязани получили название *квашня*, лишь в воронежские акты обнаружено наименование *дежа*. Сосуд для хранения молока на севере, в средней России и в северной части южнорусской территории назывался *кринкой*, а в районе Звенигород — Муром — Рязань было известно слово *молостов* с тем же или очень близким значением.

Комплексы функционирующих на той или иной территории тематических и лексико-семантических групп отличаются количеством лексем, что является следствием действия экстралингвистических причин: климатических условий местности, наличия того или иного материала, особенностей технологии обработки материала и т. д. (см. обилие названий разновидностей рукавиц в севернорусских источниках, названий меховой одежды в сибирских и т. п.) [13, 14].

Наблюдения за временем появления того или иного слова на разных территориях позволяют судить о центре инновации, что важно как для установления списка старорусских локализмов, выяснения вклада отдельных говоров в общерусский лексический фонд, так и для определения источника происхождения заимствованных слов. Например, *курта* — *куртка* были первоначально западнорусскими словами, а со второй половины XVII в. приобрели общерусский характер. *Чан* вначале известно в памятниках Северной Руси, с начала XVII в. — в Москве, а со второй половины столетия слово употребляется повсеместно; первые примеры употребления слова *лагу* наблюдаются в севернорусских актах, к концу XVII в. оно обнаруживается в письменности среднерусской полосы; *шайка* вначале известно в памятниках Сибири и восточной части севернорусского наречия, к середине XVII в. занимает все пространство Русского государства; *кузов* и *бумажник* распространяются по русской территории с севера, *корзина* и *сундук* — с северо-запада, *туес* и *подголовок* — с северо-востока; *чемодан* вначале было известно в Северной России и Москве, с середины XVII в. становится общерусским; *шкатулка* в изучаемый период распространено в бассейне Северной Двины и в центре, а к югу доходит лишь до Рязани.

Центрами инноваций заимствованного происхождения являлись приграничные районы и области, где наиболее интенсивными были торговые и бытовые контакты с иностранцами. Район первоначального употребления заимствованного слова в русской письменности, а также маршрут его последующего постепенного распространения по другим зонам может служить локализирующим признаком для установления языка-источника заимствования. Если при этом разные фонетические варианты слова связаны с разными регионами (ср. *кумган* — севернорус., известно в Москве и Рязани, *кунган* — среднерус., известно в Вологде, Белозерске, Рязани; *ядова* — севернорус., в конце XVI в. фиксируется в Москве, в XVII в. — на Валдае, в Клину, Коломне, Симбирске, Астрахани, *ендова* — редко на севере, широко известно в актах Москвы, Рязани, Смоленска и Воронежа), то это может быть вероятным свидетельством неоднократного заимствования слова из разных близкородственных языков, причем в разных частях русской территории.

В истории отдельных слов отмечаются не только факты расширения ареала их употребления, но и случаи ограничения территории бытования слова: *ночвы* носило общерусский характер, а после XVII в. стало междиалектным средством.

Локальный характер основных лексем может не сказываться на территориальной приуроченности производных, которые разошлись в семантическом отношении с производящим словом, ср. севернорусское *ларь* «большой ящик для хранения различных вещей» и общерусское *ларчик*

«ящичек для драгоценностей». Позднее, может быть, благодаря демиинутиву *ларчик* и слово *ларь* приобрело общерусский характер.

Диалектизмы различались временем появления в языке: были слова, уже архаичные для XVII в., например, некоторые названия мер и мерных сосудов, зафиксированы и недавние по происхождению исконные или иноязычные названия. Иногда локальное бытование слова может служить опознавательной приметой его архаичности. Обычно устарелость слова для старорусского периода устанавливается по частоте и сфере его употребления. При достаточном числе обследованных источников можно использовать и прием, обычно известный лишь в практике изучения современного языка: фиксация архаичного по диалектным показаниям. Лексемы, архаичность которых подтверждается их употреблением в церковно-книжной письменности, в историко-повествовательных сочинениях и острым ареалом их распространения в местной деловой письменности, например, *лагвица*, *пуз*, *гарнец* и др., представляют особый интерес для выяснения истории лексики в предыдущие периоды развития языка.

Дальнейшее развитие исторической диалектографии на материале лексики позволит воссоздать картину территориальной дифференциации словарного состава русского языка, проследить, как складывается общерусский лексический фонд, определить вклад говоров отдельных областей в процесс формирования национального языка.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Горшкова К. В. Историческая диалектология русского языка. М., 1972.
2. Образование севернорусского наречия и среднерусских говоров. По материалам лингвистической географии. М., 1970.
3. Хабургаев Г. А. Становление русского языка (пособие по исторической грамматике). М., 1980.
4. Виноградов В. В. О связях истории русского литературного языка с исторической диалектологией.— В кн.: Виноградов В. В. Избранные труды. История русского литературного языка. М., 1978, с. 210.
5. Работнова И. П. Русская народная одежда. М., 1964, с. 4.
6. Лебедева Н. И., Маслова Г. С. Русская крестьянская одежда XIX — начала XX в.— В кн.: Русские. Историко-этнографический атлас. М., 1967.
7. Судаков Г. В. К вопросу о роли севернорусских говоров XVII в. в складывании общерусского лексического фонда.— В кн.: Вопросы формирования русского национального языка. Вологда, 1979.
8. Судаков Г. В. Названия «питейной» посуды старой Руси.— Русская речь, 1983, № 1.
9. Судаков Г. В. «Всякое посудье».— Русская речь, 1983, № 5.
10. Судаков Г. В. В чем носили деньги древние русичи?— Русская речь, 1984, № 2.
11. Судаков Г. В. Лексикология старорусского языка (предметно-бытовая лексика): Учебное пособие по спецкурсу. М., 1983.
12. Готье Ю. В. Замосковский край в XVII веке. Опыт исследования по истории экономического быта Московской Руси. 2-е изд. М., 1937.
13. Судаков Г. В. Лексические диалектизмы в севернорусских актах XVI—XVII вв. (названия рукавиц).— В кн.: Севернорусские говоры. Вып. 4. Л., 1984.
14. Судаков Г. В. Названия меховой одежды в старорусском языке.— В кн.: Русское народное слово в историческом аспекте. Красноярск, 1984.

ХОЛОДОВ Н. Н.

ПРОБЛЕМА ОТНОШЕНИЙ АНАЛОГИЧНОСТИ  
И НЕАНАЛОГИЧНОСТИ В СИНТАКСИСЕ

Проблема сходств и различий в языке не является новой. Истоки ее восходят к древним лингвофилософским и собственно лингвистическим представлениям, которые были связаны с обнаружением в самых разнообразных речевых проявлениях тех или иных общих и специфических особенностей<sup>1</sup>. Однако специально обратил на нее внимание, очевидно, только Ф. де Соссюр, утверждавший, что в языке нет ничего, кроме сходств и различий. В явном или неявном виде эта идея активно использовалась затем при разработке проблем дихотомии языка и речи, системных представлений о языке, теорий изоморфизма и иерархии языковой структуры, вариантов и инвариантов, ядерных структур языка, а также других теорий и классификаций, опирающихся на близость и противопоставленность самых разнообразных лингвистических единиц и категорий (парадигматика языка). В предлагаемой статье данная проблема рассматривается в синтагматическом и прежде всего в семантико-синтаксическом аспекте. Такая постановка вопроса связана с результатами проведенного автором исследования сочинительной связи соединительного типа в русском языке.

В истории науки о русском языке проблема содержания соединительных союзов и отношений всегда была на периферии исследовательских интересов. Это обусловило продолжительное сосуществование не сводимых друг к другу точек зрения. Так, с ранних пор обнаруживается тенденция видеть в соединительной связи значение определенной гармонии смыслов — равносильности, сходства, равенства, согласия. Она идет от М. В. Ломоносова, и ее придерживались многие другие исследователи [1—5]. С другой стороны, имеются попытки свести соединительные отношения к некоторому механическому, асемантичному виду связи, восходящие, очевидно, к Н. И. Гречу. Назвав союзы *и* и *да* соединительными, он отмечал, что в «просто» соединительных предложениях не выражается «никакого постороннего свойства сего соединения» [6, с. 348—357]. Эта идея была несколько конкретизирована П. М. Перевлесским, подчеркнувшим, что в «соединительных сочетаниях» одно предложение «просто присовокупляется к другому» [7]. Однако в наиболее явной форме рассматриваемая концепция была выражена А. М. Пешковским: «Союзы... соединительные образуют чисто нулевую категорию. В них нет никакого добавочного оттенка в тех связях, которые союз устанавливает между членами, что отражается в названии их, совершенно общем (ведь каждый союз соединяет)» [8]. В наше время целый ряд обстоятельств способствовал развитию этой тенденции. Большое влияние оказали здесь соссюрианские и дескриптивистские концепции, согласно которым языковые единицы определялись только на основе внутрilingвистических отношений. Семантика соединительного союза, в свете указанных концепций, интерпретировалась как точка пересечения определенных отношений, причем отрицалось наличие абсолютного значения в самом союзе (иногда от него предлагалось отвлечься как от внелингвистического). В этом плане немалую роль сыграла и идея С. О. Карцевского о семантически нулевом характере отношений между членами перечисляемого ряда в бессоюзном сложном предложении [9]. Поскольку бессоюзные перечислительные отношения

<sup>1</sup> Так или иначе она представлена, например, в известных спорах древних греков о природе наименования и об аналогиях и аномалиях в языке.

понимались до недавнего времени только как соединительные<sup>2</sup>, то это понимание и прямо, и через своеобразное преломление идеи С. О. Карцевского об открытых и закрытых синтаксических структурах проецировалось на соединительные отношения. Данная концепция, на первый взгляд, поддерживалась весьма интересными открытиями 50—60-х гг. Одно из них было связано с выявлением в сложных предложениях с союзом *и* многочисленных отношений, характерных как для противительных сложносочиненных, так и для сложноподчиненных предложений весьма разнообразных типов. Другое открытие связано с обнаружением многочисленных фактов соединения при помощи союза *и* неоднородных (неоднородных) членов предложения типа *Никто и никогда не говорил; Так будут делать все и всегда* [11]. Эти данные можно было интерпретировать в пользу семантической немотивированности использования союза *и*, следовательно, в пользу его асемантической. Соединение же в целом можно было понять как своего рода «пустое отношение». Особенно дезориентирующим в этом плане было то обстоятельство, что сочинительная связь с союзом *и* может наполняться противительными отношениями. Ведь если допустить в союзе *и* значение сходства, то трудно признать, что оно совмещается с противительным значением несходства или прямой противоположности. Эти, как и некоторые другие обстоятельства, способствовали тому, что в 60—70-х гг. *и* (т. е. основной специальный показатель соединения) стал пониматься как некая «чистая скрепа», которая никак не помечает отношений в семантическом плане [12]. Нашедшее отражение в авторитетных изданиях, это понимание получило широкое признание и распространение.

К сожалению, концепция асемантической соединения пока лишь декларируется. Она не учитывает также противопоставленных мнений, хотя они представляют несомненный интерес. Так, у М. В. Ломоносова есть положение о том, что соединительные («сопрягательные») союзы связывают «р а в н ы е (разрядка наша.— Х. Н.) наклонения глаголов» [1]. На эту догадку трудно не обратить внимания, поскольку при помощи союзов соединения действительно связываются глаголы (даже шире — сказуемые) одномодального плана. А случаи «нарушения» этой закономерности требуют объяснения, но не являются основанием игнорировать ее. К сожалению, не обращалось также внимания на традиции определения состава соединительных союзов. Между тем эти традиции небезынтересны. Так, начиная с 30-х гг. XIX в. в число соединительных союзов включались слова *тоже* и *также*, т. е. слова с непосредственно наблюдаемым значением сходства.

В разряд соединительных союзов весьма единодушно включается *ни... ни... ни...* А с его помощью в сложное предложение объединяются только такие части, в которых налицо тождество отрицательного значения сказуемых (...*ни солнца мне не виден свет, ни для корней моих простора нет*). Характерно также, что под соединительными предложениями с союзом *да* понимаются только такие, в частях которых более или менее ярко проявляются тождественные компоненты семантической структуры [13, с. 7—25; ср. также с. 42—47]. Представители концепции асемантической соединения оставляют в стороне и собственные интересные наблюдения. Так, Н. И. Греч отмечал, что союзами *и* и *да* (= *и*) связываются не всякие, а «сходствующие между собою предложения» [6, с. 357]. То же подчеркивал П. М. Перевлесский [7]. А. М. Пешковский, считая сочинительные союзы показателями однородности, исходил, следовательно, из того, что все эти союзы (в том числе и соединительные) имеют значение известной тождественности. Однако в прямых характеристиках семантики союзов соединения он не отразил этих своих исходных представлений и вольно или невольно свел данные союзы к семантически нулевой категории. Интересно также отметить то обстоятельство, что С. О. Карцевский обращал внимание на идентичность позиций членов перечисляемого ряда [9]. Но это справедливое мнение стоит в прямом противоречии с его уже отмечавшейся

<sup>2</sup> Ср., например, даже сейчас: «Бессоюзные открытые ряды заключают в себе одно значение — соединение, которое имеет характер перечисления» [10].

идеями о семантически нулевом характере перечислительных отношений: идентичность позиций не может не предполагать отношений идентичности между членами определенного ряда<sup>3</sup>. В настоящее время по-прежнему гипотетичной остается мысль о семантической немотивированности использования основного показателя соединения — союза *и*. Концепция асемантической соединения лишается поддержки и со стороны общей теории языка. Стала очевидной суженность сосюррианских и дескриптивистских представлений о языке и задачах его исследования. Важное значение приобретают проблемы изучения той семантики языковых единиц и категорий, которая детерминирована их непосредственным соотношением с внеязыковой действительностью. Представления о системообразующих и системо-приобретенных свойствах элементов языковой системы [14] вызывают серьезное сомнение по поводу того, что соединение асеманлично или же что оно располагает только значениями относительного характера.

Отсутствие надежной эмпирической и теоретической базы, внутренняя несогласованность рассматриваемой концепции, а также неясность функциональной перспективы соединения побуждают исследователей обратиться к идеям, идущим от М. В. Ломоносова и поддерживаемым традицией выявления состава соединительных союзов. Так, Е. Н. Ширяев и Ю. А. Левицкий исходят из того, что союз *и* имеет значение согласованности, соответствия, сходства, идентификации [15, 16]. Ценно стремление исследователей аргументировать свои мнения. Думается, правда, что эта аргументация не во всем безупречна. И тем не менее суждения и выводы названных исследователей являются серьезной поддержкой той концепции сочинения, которая продолжительное время не обращала на себя внимания.

Очевидно, концепцию семантической соединения тоже пока нельзя признать обстоятельно аргументированной. Можно полагать, однако, что она более адекватно отражает реальную сущность соединения как синтаксического явления. Мы уже приводили некоторые аргументы в пользу этой концепции. В порядке подведения итогов по истории вопроса приведем еще ряд соображений.

1. Мнение о семантической соединения и даже о характере его значения по существу поддерживается и представителями концепции асемантической. Основной недостаток здесь в том, что исследователи, обращая внимание на семантическое сходство соединяемых компонентов, не обращают внимания на те о т н о ш е н и я сходства, идентичности и т. д., которые неизбежно должны устанавливаться между такими компонентами.

2. Соединительные союзы являются лексическими единицами, и уже в силу этого надо, видимо, исходить из того, что они семантически значимы.

3. Если бы соединительные союзы были асемантическими и их использование было бы семантически не мотивированным, то они должны были бы свободно употребляться во всяком синтаксически правильном построении. Однако какими бы «гибкими» эти союзы ни были, их использование ограничено. Речевая практика избегает, например, *и* в предложениях типа *Гидротехник покажет вам реку, только сейчас он уезжает*. То же самое можно сказать о случаях типа *Идите скорее, иначе не успеете; Одни пишут, другие читают, третьи рисуют* (здесь возможен *а*, но не *и*).

4. В ряде случаев можно наблюдать дифференцирующие способности *и*. Так, сочетание *Вахтер дежурит, он же следит за чистотой в помещении* двузначно. Если *вахтер* и *он* — разные субъекты, налицо сопоставительные отношения. Если это один и тот же субъект, то перед нами соеди-

<sup>3</sup> Сейчас известно, что бессоюзное перечисление может быть соединительным, разделительным и сопоставительным. Ср.: *Всюду для нее были открыты двери, всюду люди уступали ей дорогу; Возможно, он плохо рассчитал, возможно, тут произошла какая-то случайность; Дождь вымочит, солнышко высушит, буиные ветры голову расшеют*. В первый пример можно ввести *и*, во второй — *или* (вместо *возможно*), в третий *а*. Возможно, С. О. Карцевский считал те отношения, о которых мы говорим, внелингвистическими (что маловероятно). Возможно, однако, и то, что он сомневался в своих характеристиках бессоюзных перечислительных структур, поскольку высказал их в статье, которую не считал завершенной [9].

нительные отношения. Введение *и* снимает двузначность. Союз однозначно показывает тождество субъектов, устанавливая между ними соответствующие отношения. Ср. также отношения между субъектами в случаях *Это радовало, а это вдохновляло* и *Это радовало, и это вдохновляло* (а дает установку на различие субъектов, *и* — на их тождество). Ср. также *У них брат сочиняет, а сестра пишет* и *У них брат сочиняет и сестра пишет* (а свидетельствует о том, что предикаты разные, при *и* предикаты характеризуются отношениями тождества).

5. Наличие в сложносочиненных предложениях с союзом *и* различных частных значений объяснимо с точки зрения признания в этом союзе значения сходства. Ср.: *Мальчишки работали хорошо, но девочки тоже не отставали*. Семантическое сходство предикатов здесь налицо, и обычно в таких случаях используется *и*, а *но*, *а*, *однако* употребляются для того, чтобы акцентировать мысль, что в разных (и даже подаваемых как противоположные) явлениях имеются сходные признаки. Ср. также редкие случаи типа *Ей хотелось плакать, но именно поэтому она старалась выглядеть веселой*. В предложениях такого типа акцентрируются и подаются как необычные причинно-следственные отношения — т. е. отношения, противоположные семантике союза. Следовательно, совмещение в пределах данного конкретного вида связи отношений взаимоотрицающего порядка не исключается. Допуская в *и* семантику сходства, можно на тех же основаниях объяснить возможность совмещения с нею противительной семантики несходства, противоречивости в предложениях типа *Тебя, дьявола, голого в родню приняли, и ты же на меня с топором!* (В. Шукшин, Волки). В таких случаях *и*, оформляя неодинаковое, противоречивое содержание компонентов как одинаковое и непротиворечивое, акцентрирует семантику противоречивости, отчего все подобные предложения в той или иной мере экспрессивны. Таким образом, использование *и* оказывается семантически и функционально мотивированным<sup>4</sup>.

6. С точки зрения семантической мотивированности можно интерпретировать и случаи использования союза *и* для соединения неоднородных членов предложения. В этих случаях в семантической структуре соединяемых членов налицо элементы тождества. Даже в уникальном примере А. М. Пешковского... *многие и часто поступают хуже* [8, с. 442] в членах, соединяемых *и*, налицо общий семантический компонент: «немалое, значительное количество». Следовательно, *и* можно понять как средство эксплицитного выражения тех отношений тождества, которые безусловно устанавливаются между тождественными компонентами семантической структуры соединяемых членов<sup>5</sup>.

7. Концепция семантической соединения предполагает некоторые новые возможности понимания и исследования отдельных аспектов синтаксиса.

Признание соединения семантически значимым, передающим значение сходства, тождественности и т. д., позволяет понять сочинение как систему, организованную прежде всего на основе противопоставления значений (отношений) сходства значениям (отношениям) несходства, различия. Это противопоставление находит выражение в противопоставлении союзов соединения всем другим (несоединительным) сочинительным союзам.

Если сказанное верно, то трудно не сделать вывода о наличии прямой соотнесенности принципа организации системы данных синтаксических отношений со структурой и результатами работы начальных этапов познавательной деятельности мышления в их принятом логико-философском и психологическом истолковании. Ср.: «На начальных этапах ознакомления с окружающим миром различные объекты познаются путем сравнения... В ходе этого синтетического акта происходит анализ сравниваемых явлений, предметов, событий и т. д. — выделение в них

<sup>4</sup> Вопрос о возможности совмещения семантики *и* с разными частными значениями рассматривался нами специально [17—19].

<sup>5</sup> Большой материал, в котором исследуется общий семантический компонент в соединениях данного типа, рассмотрен Л. Д. Чесноковой [20].

общего и различного» (разрядка наша.— Х. Н.) [21]. Отсюда систему сочинения можно истолковать как языковой механизм отражения результатов познания сходных (общих) и несходных (специфических) сторон в познаваемых объектах и как средство материализации, объективирования и закрепления в языковых единицах результатов познания соответствующих отношений, существующих между этими сторонами. На этом основании можно полагать, что система сочинения детерминирована структурой (способами, механизмами) начальных этапов познавательной деятельности мышления, включенностью и постоянной включаемостью результатов этой деятельности в механизм (формы) языкового мышления и практику обмена мыслями. Чтобы терминологически подчеркнуть эту детерминированность, значения сходства названы нами значениями аналогичности, а значения несходства — значениями неаналогичности. Проблема аналогичности и неаналогичности в синтаксисе предполагает, следовательно, соединение представления о ядре системы синтаксических (логико-синтаксических, психолого-синтаксических) отношений с представлениями о структуре и результатах работы начальных этапов познавательной деятельности мышления.

Объективность данных представлений как в лингвистическом, так и в экстралингвистическом плане можно было бы подтвердить прежде всего фактом широкой распространенности и воспроизводимости значений аналогичности и неаналогичности в синтаксических построениях самых разнообразных типов. Так, хорошо известна широкая распространенность сочинения в простом и сложном предложении, причем как в союзной, так и в бессоюзной форме. Сочинительными союзами часто связываются предложения, оформленные как самостоятельные (точкой или интонацией) — в зависимости от форм материального воплощения речи). Важная роль союзов сочинения в структуре сложных синтаксических целых (прозаических строф, сверхфразовых единств и т. д.) отмечена Г. Я. Солгаником [22]. Семантическая структура построений всех отмеченных типов опирается на отношения аналогичности и неаналогичности. В бессоюзных сложных предложениях однородного состава И. В. Антипиной тоже зафиксированы данные отношения [23, с. 12—19].

Результаты анализа показали, что при помощи сочинительных союзов между сложными целыми, разделами и частями глав повествования, между главами также устанавливаются отношения аналогичности и неаналогичности. Приведем ряд примеров, не требующих особых комментариев:

1. «Для Шульца Генриетта была не женщина, а существо высшее, неземное, гений его фантазии, идеал его вдохновения. Шульц полюбил, как юноша, как артист, пылкий и молодой.

И Генриетта предалась Шульцу, сердцем и жизнью, и для нее Шульц не был существо обыкновенное, и она тоже смотрела на него с чувством какого-то благоговения. Она полюбила, как дитя» (В. Соллогуб, Сережа).

2. «Чтобы не терять времени, решаем съездить на денек в родной аул Атанияза. Тридцать пять километров на восток.

И вот мы трясемся в грузовике на каких-то ящиках, рулонах шерсти, пачках трикотажного белья...» (Ю. Трифионов, Утоление жажды) — содержание второго абзаца аналогично результату, «запрограммированному» первым абзацем.

3. «У него (Битыка.— Х. Н.) загораются глаза. Он хватает нож, вертит его перед собой, пробует острие большим пальцем, не может налюбоваться. Вся детвора с завистью следит за ним.

Но вдруг Битык как бы спохватывается. На лице снова появляется досада...» (Г. Федосеев, В тисках Джугдыра).

4. Основная идея второй части эпилога к роману А. Иванова «Вечный зов» — жизнь оставшихся в живых героев налаживается, берет свое. Начало же следующей, третьей части, вводимой союзом *а*, имеет совсем иную тематику:

«А вот Анна Савельева ни людям, ни свету белому не радовалась, жила одиноко и отчужденно... утром молчком приходила на птичник... вечером молчком уходила...»

Отношения аналогичности и неаналогичности обнаруживаются также при бессознательном соединении абзацев, между репликами разных лиц в диалогической речи, между авторским текстом и речью персонажей и т. д. [24]. Интересный в рассматриваемом плане материал проанализирован Т. В. Золотухиной [25, с. 28—34], И. Д. Степановой [23, с. 32—35], В. Н. Анощенковым [25, с. 35—40]. Заслуживают внимания попытки Н. В. Мозгаловой понять частицу *и* как средство выражения отношений аналогичности [23, с. 5—11]. На материале польского, чешского и английского языков ряд вопросов, относящихся к данной проблеме, рассмотрен А. М. Смирновой [23, с. 20—27], И. Д. Степановой [23, с. 28—35], Т. В. Золотухиной [25, с. 28—36; 26, с. 79—80].

Обнаружение изоморфизма в структуре процессов познания и принципах организации системы рассматриваемых синтаксических отношений, с одной стороны, и факт прямой соотносительности результатов начальных этапов познания с содержанием этих отношений — с другой, позволяют понять функции различных видов синтаксической связи. Так, функции сочинительной связи в наиболее общем плане можно усмотреть прежде всего в выражении и дифференциации отношений сходств и различий. С помощью специализированных сочинительных средств происходит также соотнесение семантики сочиненных единиц с пониманием говорящими аналогичных и неаналогичных сторон познаваемых объектов. Это общее представление можно конкретизировать в самых разнообразных направлениях. Покажем некоторые.

1. Принимая бином «значение аналогичности — значение неаналогичности» как исходный, базовый компонент системы сочинения, можно понять другие сочинительные отношения, представленные известными видовыми значениями сочинительных союзов, производными этих основных, ядерных отношений. Сопоставительные союзы являются носителями понятия неаналогичного разного (т. е. собственно разного); противительные — неаналогичного противоположного; градационные — такого неаналогичного (разного или противоположного), в котором обнаруживаются элементы аналогичного (*Не только брат пишет стихи, но и сестра что-то сочиняет*); разделительные — альтернативно-неаналогичного [т. е. представляющего явления как разные прежде всего в том плане, что одно из них должно быть исключено, а другое — не исключено из одних и тех же планов (временных, модальных и др.) существования].

2. Как производные базовых значений можно понять и частные значения сочинительной связи. Так, отношения соответствия (различного рода причинно-следственные отношения) можно понять как производные отношений аналогичности. Они означают, что следствие (результат) соответствует (аналогично) тому, что регулярно (или регулярно при некоторых ситуациях) детерминируется (или «программируется») данной причиной: *Ветер разогнал тучи, и дождь прекратился*. Отсюда становится понятным, почему именно сложносочиненные предложения с союзом *и* обычно имеют в той или иной степени результативно-следственное значение. Отношения несоответствия можно понять как производные отношений неаналогичности. Это отношения несходства, наблюдаемые при условии, что в факте несходства обнаруживается более или менее редкая (вызывающая недоумение, удивление) противоречивость сосуществования одного явления наряду с наличием другого. Ср.: *На ней платье белое, а шляпа черная* и *На ней платье белое, а шляпа (как ни странно, видите ли и т. д.) черная!*

3. Приведенные данные позволяют думать (в соответствии с распространенным пониманием семантической структуры лингвистических единиц), что сочинительные отношения — это действительно отношения аналогичности или неаналогичности, которые могут включать в себя другие отношения (семы, фигуры, семантические множители). В таком случае рассматриваемая концепция в синхроническом аспекте может быть полезной при дифференциальном анализе сочинительных отношений, а в диахроническом плане она позволяет надеяться на богатые возможности исследования как перспективы, так и ретроспективы сочинительных отношений и их системы.

4. Процесс выявления в познаваемых объектах аналогичных и неаналогичных сторон диалектически един и неразделен. С другой стороны, чтобы представить результаты познания сопоставляемых явлений в цельности, установление сходств и различий предполагает сохранение в сознании и в речевых единицах результатов отражения тех и других сторон <sup>6</sup>. Можно думать, что в сложносочиненных предложениях эта особенность познания отражается в том, что их составные части не могут быть семантически абсолютно тождественными или абсолютно разными. В них всегда налицо элементы сходств и различий. Однако разные задачи познания и условия общения требуют актуализации то сходных, то несходных сторон их семантики. Существуют разные средства такой актуализации. Одним из них являются союзы. Союзы связывают компоненты предложения, выражая отношения. Выражая отношения, они одновременно подчеркивают, активизируют то сходные, то несходные стороны содержания одного и другого компонента. В случае *На ней платье белое и шляпа белая* актуализируется сходство, но в то же время представлено различие (платье — шляпа), вследствие чего здесь возможны не только соединительные союзы, но и градационные и разделительные, которыми можно актуализировать соответствующие стороны семантики частей. Однако здесь недостаточно элементов несходства, вследствие чего невозможны сопоставительно-противительные союзы. Но ср.: *На ней платье белое, а шляпа черная (не белая, красная и т. д.)*. В случае *Пароходы плывут, самолеты летят* преобладают элементы несходства. И все же сочинительно-соединительные средства (интонация или союзы) актуализируют здесь семантику сходства субъектов по характеру общего (типового) значения их предикатов: *Пароходы плывут, и самолеты летят* (тождество признака динамизма, движения и, возможно, некоторой общей целеустремленности). А сопоставительно-противительные средства актуализируют здесь различие субъектов по характеру непосредственно воспринимаемого несходства их предикатов: *Пароходы плывут, а (но, однако) самолеты летят*. Градационные и разделительные союзы здесь тоже могут актуализировать соответствующие стороны семантики частей.

5. Отношения аналогичности и неаналогичности как отражение результатов работы механизмов познания, очевидно, играют важнейшую роль в организации семантической структуры текста. Наличие этих отношений между разнообразными отрезками текстов дает возможность полагать, что эти отношения и их смена являются тем наиболее абстрактным семантическим стержнем, на который «нанализуются» и которым скрепляются в единое целое отрезки монологических повествований и диалогических единств. Можно думать, следовательно, что когда мы составляем тексты, познавая и отражая самые разнообразные по объему и сложности отрезки действительности, мы мыслим эти отрезки не иначе как в том или ином отношении сходные или разные, в большей или меньшей мере отвлекаясь от деталей познаваемых и отражаемых явлений и, следовательно, составляемого текста. В более общих формах сходные мысли высказывались раньше (Г. И. Сильман указывала, что союз «содействует известному отвлечению внимания от отдельного предложения, переносу центра тяжести высказывания с отдельных предложений на сквозное движение мысли, на логические сдвиги» [27]).

6. Представляется возможным на принимаемом здесь основании скорректировать понимание соотношения 1) синтаксической однородности, 2) аналогичности и 3) неаналогичности. Отношения однородности, равноправия — это те же отношения аналогичности, однако более высокого уровня абстракции. Соединительные союзы как сочинительные, представляют прежде всего два значения: однородности и аналогичности. <sup>7</sup> Несоединительные союзы тоже представляют прежде всего два значения: од-

<sup>6</sup> Очевидно, этим обусловлена диалектика семантической структуры синтаксических отношений — обязательное наличие элементов взаимоотрицания.

<sup>7</sup> Кажется, именно в этом заключается «тайна» соединительных отношений и союзов, склонявшая одних ученых к пониманию асемантической соединения, а других [10, с. 616] к отождествлению «соединительности» и «сочинительности».

нородности и неаналогичности. Адекватность такого понимания сущности сочинения можно показать на следующих элементарных примерах. В случае *Читаем газеты, книги* слова *газеты* и *книги* однородны по причине их отнесенности к одному и тому же члену и по причине замещения ими однородных синтаксических позиций (это более абстрактный план однородности-аналогичности). Кроме того, между ними налицо отношения аналогичности — по причине их однотипности в плане утверждения—отрицания (более конкретный план однородности-аналогичности). Те и другие отношения могут быть актуализированы соединительными союзами: *Читаем газеты и (да) книги*. А в случае *Читаем газеты, не книги* указанные члены однородны по тем же причинам (более абстрактный план), но между ними налицо также и отношения неаналогичности (более конкретный план), по причине их неоднотипности в плане утверждения—отрицания. Те и другие отношения одновременно могут быть актуализированы сопоставительно-противительными союзами: *Читаем газеты, а (но, да, однако) не книги* (кстати, если бы *и* был показателем только однородности или сочинительности, то его можно было бы использовать и в примерах второго типа; однако здесь он «не умещается»; причина, надо полагать, — его второй семантический компонент). Ср. также: *Бежит красиво и быстро — Бежит красиво, но быстро*. Здесь и *и*, и *но* являются показателями отношений однородности. Но при *и* оба сочиненных члена оцениваются к тому же как одинаково положительные (и то и другое — хорошо), а *но* набрасывает на содержание второго компонента «тень» отрицательности (плохо) и противопоставляет его первому компоненту как положительному.<sup>8</sup> Таким образом, специфика сочинительной связи в её типичных проявлениях состоит прежде всего в том, что своим наиболее абстрактным значением она представляет однородность членов по отношению к общим подчиняющим (или подчиненным) членам, а другим, более конкретным значением, помечает и (или) актуализирует отношения аналогичности или неаналогичности, акцентируя и подавая в фокус внимания одни и нейтрализуя другие стороны семантической структуры сочиненных компонентов.

7. Если отношения однородности — это по природе своей те же отношения аналогичности, но более высокого уровня абстракции, то на этой основе можно найти выходы к пониманию содержания основного противопоставления в системе сочинения и подчинения. Ср. распространенное в русской лингвистической традиции понимание основных категорий сочинения и подчинения. Сочинительные отношения — это отношения равноправия, однородности (т. е. известной аналогичности, сходства), а подчинительные отношения — это отношения неравноправия, неоднородности (т. е. известной неаналогичности, несходства). Согласно таким представлениям, следовательно, соединительное сочинение противопоставлено подчинению как по значению однородности, так и по значению аналогичности. Несоединительное сочинение противопоставлено подчинению только по значениям однородности. Благодаря же своему второму значению оно сближается с подчинением и является некоторым промежуточным звеном в общей системе сочинения и подчинения. Очевидно, несоединительное сочинение вместе с подчинением конкретизирует одно и то же общее понятие неаналогичного, однако по-разному и в разных направлениях (в данной статье сделана попытка показать это представление на материале известных видовых значений сочинительных союзов несоединительного типа). Если это предположение верно, то надо признать, что в теории сочинения и подчинения «схвачено» и отражено именно то ядро реальных синтаксических отношений, которое детерминировано фундаментальным свойством мышления — способом и результатами работы начальных этапов познавательной деятельности. Не исключено, что

<sup>8</sup> Обратим внимание также на то, что в этом примере *да* можно понимать и как соединительный, и как противительный союз: *Бежит красиво да (к тому же) быстро — Бежит красиво, да (только, к сожалению) быстро*. «Метаморфозы» *да* в примере *Читаем газеты...* и в только что рассмотренном являются свидетельством неустойчивости его в системе соединительных союзов [28].

в этом состоит жизненная сила этой теории, несмотря на различного рода сомнения и попытки наполнить её каким-то новым содержанием, продолжает оставаться важнейшим инструментом научно-исследовательской и педагогической практики.

Таким образом, есть основания полагать, что основная функция соединительной связи сводится к выражению отношений сходства. Это позволяет понять систему сочинения в русском языке как противопоставление отношений сходств и различий. Отношения изоморфизма между структурой сочинения и структурой начальных этапов познания наводят на мысль, что сочинение и его структура детерминированы способами и результатами познавательной работы мышления. Данное обстоятельство позволяет поставить проблему отношений аналогичности и неаналогичности как соединяющую представления о синтаксических отношениях с представлениями о работе механизмов познания. Необходимость дальнейшей разработки данной проблемы обуславливается рядом лингвистических и экстралингвистических факторов. Методологически необходимо разработку этой проблемы обуславливается возможностями «выхода» к другим синтаксическим (а также к экстралингвистическим) проблемам и перспективами построения более адекватных онтологических (а на их основе и более удобных операционально-методических) синтаксических концепций.

Безусловно, проблема отношений аналогичности и неаналогичности требует своего дальнейшего обоснования, как лингвистического, так и экстралингвистического порядка. В лингвистическом плане важнейшей задачей остается проблема исследования различных синтаксических связей в монологической и особенно диалогической речи (как наименее изученной). Актуален здесь также вопрос об осмыслении в аспекте этой проблемы предикативных отношений и категорий утверждения и отрицания, а также межморфемных отношений в структуре слова. Положительные результаты такого осмысления будут более определенно означать, что система языка основывается на отношениях сходств и различий не только в парадигматическом, но и в синтагматическом аспектах.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Ломоносов М. В. Полн. собр. соч. Т. VII. М.—Л., 1952, с. 573.
2. Давыдов И. И. Опыт общесравнительной грамматики русского языка. СПб, 1852, с. 366, 368.
3. Словарь церковно-славянского и русского языков. Т. 1. СПб, 1867.
4. Лавров Б. А. Условные и уступительные предложения в древнерусском языке. М.—Л., 1941, с. 20.
5. Мейе А. Общеславянский язык. М., 1951, с. 388—389.
6. Греч Н. И. Практическая русская грамматика. СПб., 1827.
7. Первелецкий П. Начертания русского синтаксиса. М., 1848, с. 120.
8. Пешковский А. М. Русский синтаксис в научном освещении. М., 1956, с. 448.
9. Карцевский С. О. Бессоюзие и подчинение в русском языке.— ВЯ, 1961, № 2, с. 126.
10. Русская грамматика. М., 1980, с. 169.
11. Майданский Н. М. Соединительные сочетания разнотипных членов предложения.— РЯШ, 1965, № 5.
12. Грамматика современного русского литературного языка. М., 1970, с. 664, 667.
13. Холодов Н. Н. Сложносочиненные предложения в современном русском языке. Ч. II. Смоленск, 1975.
14. Солнцев В. М. Язык как системно-структурное образование. М., 1971, с. 46—49.
15. Ширяев Е. Н. Дифференциация сочинительных и подчинительных союзов на синтаксической основе.— ФН, 1980, № 2, с. 51—52.
16. Левицкий Ю. А. Семантика русских сочинительных союзов.— В кн.: Проблемы структурной лингвистики. 1978. М., 1981, с. 91.
17. Холодов Н. Н. О семантике соединительных отношений и союза *и*.— РЯШ, 1976, № 5.
18. Холодов Н. Н. Оксюмороны и выявление типовой семантики союзов.— В кн.: Семантическая структура словосочетаний и предложений русского языка. Тула, 1978.
19. Холодов Н. Н. Об оксюморонах в русской речи.— В кн.: Проблемы учебника русского языка как иностранного. М., 1980.
20. Чеснокова Л. Д. Связи слов в современном русском языке. М., 1980, с. 94 и сл.
21. Брушлинский А. В. Мышление.— В кн.: Общая психология. М., 1976, с. 325 — 326.

22. *Солганик Г. Я.* Синтаксическая стилистика. М., 1973, с. 98 и сл.
23. Проблема отношений аналогичности и неаналогичности в языке. Иваново, 1983, с. 12—19.
24. *Холодов Н. Н.* О сочинительной связи вне предложения.— В кн.: Синтаксические отношения в предложении и тексте. Смоленск, 1981.
25. Отношения аналогичности и неаналогичности в языке. Иваново, 1983.
26. *Золотухина Т. В.* Проблема типологии синтаксических отношений в диалогических единствах разных типов.— В кн.: Тезисы докладов юбилейной научной конференции, посвященной 10-летию Ивановского государственного университета. Иваново, 1984.
27. *Сильман Т. И.* Проблемы синтаксической стилистики. Л., 1967, с. 29.
28. *Стеценко А. Н., Холодов Н. Н.* Об основных тенденциях и путях развития системы сочинения в русском языке.— ВЯ, 1980, № 2.

ЛОГАЧЕВА Е. П.

О ПРОТОТИПАХ ГРАММАТИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ  
В «ОРГАНОНЕ» АРИСТОТЕЛЯ

Функциональный уровень научного исследования зависит не в последнюю очередь от того смысла, который вкладывается в используемые при этом термины. Имеется в виду, конечно, не акустический образ термина, а то понятие, которое определяет его содержание.

Термины как единицы словарного состава языка подвержены процессу изменения на основе метафорического и метонимического переноса, сужения и расширения значения при переходе слов из одной функциональной сферы в другую (например, из обиходной в научную); такое изменение значения возможно на основе тех же закономерностей и внутри одной и той же функциональной сферы: этимологически одни термины могут восходить к другим терминам.

Термины «субъект», «предикат», «имя», «глагол», «предложение» («высказывание», «речь») относятся к наиболее древним в науке о языке. История их возникновения в хронологической последовательности изложена Г. Глинцем [1] и другими учеными, на которых мы будем в дальнейшем ссылаться. Наш анализ посвящается наблюдению за семантической эволюцией этих терминов как лексических единиц. Основным материалом для исследования послужили логические трактаты Аристотеля, объединенные названием «Органон». Однако единая концепция проходит и сквозь другие его сочинения, например, «Метафизику» и «Поэтику».

Термин «субъект» используется в современной науке в первую очередь в таких ее сферах, как теория познания и грамматика. Между философским и грамматическим терминами «субъект» существует этимологическое родство, однако для языка науки более релевантно их функциональное различие. В вузовском учебнике «Основы марксистско-ленинской философии» дается следующее определение категории «субъект»: «В теории познания „субъект“ — человек как активный носитель познавательной способности и познавательных функций» [2, с. 137].

В «Философском энциклопедическом словаре» содержится определение субъекта, которое дает повод считать, что в настоящее время происходит расширение функциональной сферы этого термина, а следовательно, и расширение его значения. В этом новейшем справочнике «субъект» определяется как «носитель предметно-практической деятельности и познания (индивид или социальная группа), источник активности, направленной на объект» [3, с. 661].

В научной и технической литературе последних лет наблюдается тенденция к популяризации этого термина. Пишут, например, о человеке как «субъекте труда и творчества», о машине как о «субъекте производства» [4, с. 10]. Степень абстрактности термина при этом уменьшается.

Значение «человек» не является первоначальным значением, которое вкладывалось в этот термин. По словам Г. Глинца, слово «субъект» (лат. *subjectum*) как дословный перевод встречающегося у Аристотеля греческого слова *ὑποκειμενον* («подлежащее») создал одновременно с термином «предикат» (лат. *praedicatum*) в V столетии римский философ Боэций, переводчик и комментатор Аристотеля [1, с. 49]. От него эти термины попали в средневековую схоластическую философию, где термин «субъект» употреблялся в значении, близком первоначальному (под «субъектом» понимался «реальный предмет») [1, с. 19; 5, с. 556—557]. В «современном значении» он впервые встречается у Фомы Аквинского [5, с. 557]. В гносеоло-

гическом смысле он употребляется в работах философов, начиная с Декарта [3, с. 661].

Использование термина «субъект» в значении «человек» означало его специализацию, т. е. сужение значения, по сравнению с греческим ὑποκείμενον, под которым Аристотель понимал прежде всего «субстанцию» (или «первую сущность»).

«Суженное» значение термина «субъект» распространилось и на грамматическую науку. Р. Якобсон пишет, например, что «наиболее адекватное представление о действующем субъекте и особенно субъекте транзитивного действия — это живое существо (das belebte Wesen), а представление об объекте — это неодушевленный предмет (der unbelebte Gegenstand)» [6, с. 253; 7].

Модификация значения термина «субъект», ведущая к его специализации, связана с более поздним этапом развития этого термина. До него он прошел еще более сложный путь функционально-семантических преобразований. «Насколько нам известно, — пишет Дж. Лайонз, — первым, кто стал различать существительные и глаголы, был Платон (429—347 гг. до н. э.) ... По определению Платона, существительные — это слова, которые могут выступать в предложении как субъекты предикации, а глаголы — это слова, которые могут выражать предизируемое действие или свойство. (Грубо говоря, субъект предикации называется вещь, о которой нечто утверждается, а предикат — это та часть предложения, которая утверждает нечто о вещи, обозначенной субъектом)» [8, с. 29—30]. У Платона в диалоге между Теэтетом и чужестранцем-элеатом говорится следующее: «Ч. — ... Ведь у нас есть два рода показываний голосом относительно сущности. Т. — Каким образом? Ч. — Один, названный именами, другой — глаголами» [9, с. 58]. «Речь» возникает тогда, когда имя и глагол соединяются. Об этом говорится так: «Ч. — ... А тут-то уже первое соединение оказывается слаженным и немедленно становится речью, — пожалуй, первой и самой малой речью» [9, с. 58].

Встречающиеся у Платона названия «имя» и «глагол» относятся к типу слов, которые мы называем «существительными». Они были одними из первых научных терминов, примененных для описания языка. Как и у всех имен, их значение предметно. С одной стороны, они — знаки, «показывающие голосом относительно сущности», а с другой — единицы, из которых путем их связывания слагается речь. В тех же ракурсах рассматривается имя и глагол у Аристотеля.

Трактат «Об истолковании» Аристотель посвящает объяснению трех пар понятий: имя (ὄνομα) и глагол (ῥήμα), отрицание и утверждение, высказывание и речь [10, с. 93]. В этом ряду отсутствует оппозиция «подлежащее» и «сказуемое», хотя объем понятия у них не совпадает с объемом понятия у «имени» и «глагола».

Остановимся прежде всего на последнем из названных Аристотелем противопоставлений: «высказывание и речь». Аристотель различает «речь» (λόγος), «высказывающую речь» или «высказывание» (ἀποφάνσις), а также «сказывание» (φάσις)<sup>1</sup>. Он пишет: «Речь есть такое смысловое звуко сочетание, части которого в отдельности что-то обозначают как сказывание, но не как утверждение или отрицание; я имею в виду, например, что „человек“ что-то, правда, обозначает, но не обозначает, есть ли он или нет; утверждение же или отрицание получается в том случае, если что-то присоединяют» [10, с. 95].

«Высказывающей речью», считает Аристотель, является та речь, «в которой содержится истинность или ложность чего-либо...» [10, с. 95]. Истинность или ложность чего-то можно как утверждать, так и отрицать [10, с. 96]. «Первая единая высказывающая речь, — пишет Аристотель, — это утверждение, затем — отрицание» [10, с. 96]. В последней формулировке «высказывающая речь» совпадает с определением «посылки», которая характеризуется Аристотелем как «речь, утверждающая или отрицающая что-то относительно чего-то» [12, с. 119].

<sup>1</sup> В других редакциях слово φάσις переводится как «высказывание» [см. 11, с. 510].

В «Поэтике» Аристотель дает определение «речи» (λόγος)<sup>2</sup>, которое включает в себе ядро будущего синтаксиса. Приведем его полностью: «11. Предложение — составной звук, имеющий самостоятельное значение, отдельные части которого также имеют самостоятельное значение. Не всякое предложение состоит из глаголов и имен. Может быть предложение без глаголов, например, определение человека»<sup>3</sup>. Однако какая-нибудь часть предложения всегда будет иметь самостоятельное значение (например, в предложении „идет Клеон“ — „Клеон“).

12. Предложение бывает едино двояким образом: когда оно обозначает единое, или когда состоит из многих. Например, „Илиада“ — единое как соединение многих<sup>4</sup>, а определение человека — как обозначение одного предмета» [9, с. 63].

Из этого определения «речи» следует, что она может быть и тем, что мы сегодня называем «предложением» (*идет Клеон*), и словосочетанием (аристотелевское определение человека), и словом (*Илиада*). Важно, чтобы «речь» была «определением»<sup>5</sup> одной сущности, сколько бы видовых отличий она ни включала [ср. 11, с. 211]. Единство содержания «речи» определяется Аристотелем, таким образом, не по горизонтали, как в синтаксисе, а по вертикали, путем соотношения ее с сущностью. В трактате «Об истолковании» Аристотель пишет: «Поэтому „существо, живущее на суше, двуногое“ есть речь единая, а не множественная, ведь речь едина не оттого, что слова произносят непосредственно друг за другом» [10, с. 96].

Что касается «высказывающей речи», то Аристотель предъявляет определенные требования не только к ее содержанию (она должна что-то утверждать или отрицать), но и к составу ее частей: «Каждая высказывающая речь необходимо заключает в себе глагол или изменение глагола по времени, ведь и речь о человеке не есть высказывающая речь до тех пор, пока не присоединено „есть“, или „был“, или „будет“, или нечто подобное» [10, с. 96].

Синтезируя признаки «речи», можно установить, что она: 1) материализуется в звуке, следовательно, есть явление языка; 2) имеет смысл (есть «смысловое звуко сочетание»); 3) едина по смыслу; 4) может иметь форму слова, словосочетания, предложения; 5) не всегда состоит из глаголов и имен; 6) не всегда что-то утверждает или отрицает. «Высказывающая речь», отвечая первым трем требованиям, обладает еще следующими признаками, она: 1) имеет форму предложения, 2) всегда содержит глагол, 3) всегда что-то утверждает или отрицает.

Что касается «имени» и «глагола», то они, как и «речь», являются, по словам Аристотеля, «звуко сочетаниями» («составными звуками»), имеющими самостоятельное значение. Глагол, в отличие от имени, обозначает еще и время [10, с. 93—95; 9, с. 63]. Они могут быть высказаны сами по себе («без связи») или же в соединении («в связи») [15, с. 53]. Взятые в отдельности, имя и глагол не образуют «речи» («высказывания»). «Итак, — говорится в „Об истолковании“, — имя или глагол назовем лишь сказыванием<sup>6</sup>, ибо так не говорит тот, кто намерен выразить что-то словами, чтобы высказаться, все равно, вопрошает ли он или нет, а сам что-то сообщает» [10, с. 96].

Платон считал, что и имя, и глагол одинаково «показывают голосом относительно сущности»: глаголы относятся к действиям, имена — к тем, кто совершает действие [9, с. 58]. В отличие от Платона, Аристотель полагает, что, хотя и имя, и глагол, высказываясь о сущности, определяют ее, но определяют по-разному: имена, указывая на сущность, определяют ее как «первую сущность» или «вторую сущность»; глаголы же, несмотря

<sup>2</sup> В используемом переводе (λόγος) — «предложение».

<sup>3</sup> Аристотель подразумевает свое «определение человека»: «двуногое существо, живущее на суше» [11, с. 211; 13, с. 352; ср. также 14, с. 99].

<sup>4</sup> Имеется в виду собирательный смысл слова.

<sup>5</sup> «Определение» здесь не часть (член) предложения, а вся «речь о сущности».

<sup>6</sup> З. Н. Микеладзе считает, что φωνή употребляется здесь в смысле «предиката самого по себе» [16, с. 607].

на то, что они, «высказанные сами по себе, суть имена и что-то обозначают» [10, с. 95], на субстрат не указывают. Аристотель считает, что глаголы «еще не указывают, есть ли [предмет] или нет, ибо „быть“ или „не быть“ не обозначения предмета...» [10, с. 95]. В другом месте об этом сказано еще более определенно: «Далее, глагол всегда есть знак для сказанного об ином, например, о подлежащем или о том, что находится в подлежащем» [10, с. 94]. Носителем значения времени у Аристотеля является «глагол» (ῥῆμα), а не «сказуемое» (κατηγορούμενον). «Говорю же я, — пишет Аристотель, — что глагол обозначает еще и время; например, „здоровье“ есть имя, а „[он] здоров“ есть глагол, ибо это еще обозначает, что здоровье имеется в настоящем времени» [10, с. 94]. В данном толковании «глагол» — ближе к современному представлению о «сказуемом» (предикате).

При создании латинских терминов «subjectum» и «praedicatum» образцами послужили используемые Аристотелем слова ὑποκειμένον и κατηγορούμενον.

Аристотель определял «подлежащее» через понятие «сущность» (οὐσία: имени соответствует «речь о сущности» (λόγος τὰς οὐσίας), которая может быть разной у одного и того же имени (например, человек и изображение) [15, с. 53]. Он различает «первые сущности» и «вторые сущности»: «Что касается первых сущностей, то бесспорно и истинно, что каждая из них означает определенное нечто. То, что она выражает, есть нечто единичное и одно по числу» [15, с. 59]. «Подлежащими» он называет прежде всего «первые сущности», «...потому что для всего остального они подлежащие и все остальное сказывается о них или находится в них... Далее, первые сущности, ввиду того что они подлежащие для всего другого, называются сущностями в самом основном смысле» [15, с. 57].

Вторыми сущностями Аристотель считает вид и род: «А вторыми сущностями называются те, к которым как к видам принадлежат сущности, называемые так в первичном смысле, — и эти виды, и их роды; например, отдельный человек принадлежит к виду „человек“, а род для этого вида — „живое существо“. Поэтому о них говорят как о вторых сущностях, например, „человек“ и „живое существо“» [15, с. 55—56]. О вторых сущностях может «сказываться» все то, что «сказывается» о первых сущностях. Аристотель так рассуждает по этому поводу: «В самом деле, отдельного человека можешь назвать умеющим читать и писать; значит, так можешь назвать и человека, и живое существо. И таким же образом обстоит дело и во всех других случаях» [15, с. 57—58].

Между первыми и вторыми сущностями существуют, таким образом, иерархические, т. е. вертикально направленные, отношения частного к общему и наоборот. «Из вторых сущностей, — считает Аристотель, — вид в большей мере сущность, чем род, ибо он ближе к первой сущности. В самом деле, если станут объяснять, что такое первая сущность, то ее объяснят доступнее и более подходяще, указывая вид, чем указывая род; так, указывая отдельного человека, укажут понятнее, указывая, что он человек, нежели указывая, что он живое существо; первое более свойственно для отдельного человека, второе более обще...» [15, с. 56—57].

Отношения между подлежащим и сказуемым складываются, таким образом, как отношения между частным и общим. Во «Второй аналитике» Аристотель изображает эти отношения как имеющие направление «вверх» и «вниз»: «Под направлением вверх я разумею направление к более общему, под направлением вниз — к частному» [17, с. 291]. Основой этого иерархического построения являются «первые сущности». Он пишет: «Первая сущность не составляет никакого сказуемого: ведь она не сказывается ни о каком подлежащем. Что же касается вторых сущностей, то вид сказывается о единичном, а род — и о виде, и о единичном» [15, с. 58—59].

Из приведенных рассуждений можно сделать вывод, что «подлежащим» может быть не только «первая сущность», но и «вторая сущность» — вид для рода. В «Категориях» об этом говорится совершенно определенно: «И так же как первые сущности относятся ко всему остальному, так и вид относится к роду, а именно: вид есть подлежащее для рода, ведь роды сказываются о видах, виды же не сказываются о родах» [15, с. 57].

Становится очевидным, что Аристотель не отождествляет «подлежащее» и «сущность». Быть «подлежащим» — есть функция сущности в том случае, если о ней что-то «сказывается». Аристотель сам указывал на это различие между субстратом и функцией: «Общая черта всякой сущности — не находиться в подлежащем» [15, с. 58]. «Первая сущность» находится «глубже», чем «подлежащее», она не «сказывается» ни о чем (это не ее функция), ее же функция — быть самой собой, т. е. субстратом, первой сущностью, о которой «сказываются» виды и роды и «все другое». Для Аристотеля «подлежащее» — это уже абстракция, термин научного языка, наименование функции субстрата, но не сам субстрат и не часть «речи» (предложения), как, например, «имя».

Абстрактный характер значения «подлежащего» косвенно подтверждается тем, что в символической логике оказалось возможным ввести для него особый термин. В комментариях к «Категориям» дается по этому поводу следующее разъяснение: «Подлежащее есть нечто отличное от первых сущностей и, стало быть, есть некоторое общее, обозначенное, скажем, общим термином „С“: АаС → [БаА → БаС]» [16, с. 602].

Аристотель рассуждает как материалист: «Таким образом, все другое [помимо первых сущностей] или говорится о первых сущностях как о подлежащих, или же находится в них как в подлежащих. Поэтому, если бы не существовало первых сущностей, не могло бы существовать и ничего другого» [15, с. 56]. Под «другим» Аристотель понимает не только виды и роды, но и качества (например, «белое»), и свойства человека (например, умение читать и писать).

Термин *ὑποκειμενον* точно воспроизведен при переводе его на латинский язык: сохранена форма причастия (субстантивированного) — «subjectum», словообразовательная модель и лексическое значение словообразовательных элементов. Изменился, однако, ракурс восприятия термина: из вертикального он стал горизонтальным (линейным).

Наиболее сложный путь развития проделало наименование *κατηγοριούμενον*. Созданный Бэцием термин «praedicatum» является, вероятно, не просто калькой с этого наименования<sup>7</sup>, а синтетическим термином, объединяющим несколько сходных наименований.

В «Категориях» Аристотель широко пользуется термином «сказуемое» для объяснения того, что может «сказываться» о сущности. Одни сказуемые «сказываются» о самой сущности (определение как вид и род). Виды и роды не только называют, но и характеризуют подлежащее. «Вид же и род, — утверждает Аристотель, — определяют качество сущности: ведь они указывают, какова та или иная сущность» [15, с. 59]. Другие сказуемые обозначают качества и свойства, присущие подлежащему, но не обозначают самой сущности. «Так, белое, находясь в теле как в подлежащем, сказывается о подлежащем (ведь тело называется белым), но понятие белого никогда не может сказываться о теле» [15, с. 56]<sup>8</sup>.

Таким образом, «сказуемое» у Аристотеля не есть наименование определенной части «речи», а есть, скорее, обозначение имени по его функции «выражать свойства сущности», «сказываться» о них<sup>9</sup>.

Отношение между «подлежащим» и «сказуемым» у Аристотеля — не отношение оппозиции, а, скорее, отношение единства. Ближе всего к аристотелевскому пониманию этих феноменов научного языка находится «означаемое» и «означающее» Ф. де Соссюра [19, с. 99].

«План содержания» и «план выражения» не образуют у Аристотеля двух параллельных линий. Их соотношение можно изобразить в виде замкнутой фигуры — «логического треугольника», стоящего на вершине. Эту вершину образует первая сущность (субстрат), которая не является

<sup>7</sup> Лат. *prae-dicāre* «объявлять, заявлять, говорить называть»; греч. *κατ-ηγορέω* «обвинять, порицать, упрекать, высказывать(ся), утверждать».

<sup>8</sup> В «Грамматике Пор-Рояля» прилагательные названы «акциденциями», существующими только через субстанции. Помимо отчетливого значения, у них существует еще одно неясное значение, которое назвали «коннотацией некоторой вещи» [18, с. 226—227].

<sup>9</sup> «Сказуемыми» являются, по существу, и «десять категорий» Аристотеля [15, с. 55; 17, с. 295].

«сказуемым». «Подлежащим» служит более частное понятие для более общего. Род в этой иерархии не бывает «подлежащим». О первых и вторых сущностях может быть сказано «все другое». И все это проецируется в «речь».

В горизонтальном же ракурсе Аристотелем рассматривается «посылка» (πρωτάσις), состоящая из двух «терминов» и глагола *быть*: «Термином я называю то, на что распадается посылка, т. е. то, что сказывается, и то, о чем оно сказывается, с присоединением [глагола] „быть“ или „не быть“...»<sup>10</sup> [12, с. 120].

Перенос наименования логической функции на часть высказывания, а затем — на «звукосочетание» (имя и глагол) произошел, очевидно, очень рано. Греческий ученый Аммоний Гермий (V—VI вв.), давая комментарии к «Об истолковании» Аристотеля, писал, что стоики создали учение о предикатах; он передает, как Порфирий (III в. н. э.) излагает это учение: «Предикат высказывается либо об имени, либо о падеже и в обоих случаях бывает либо законченным предикатом, который достаточен для того, чтобы вместе с субъектом образовать суждение, либо недостаточным и нуждающимся в дополнении для того, чтобы образовать законченный предикат. Если нечто, будучи высказано об имени, образует суждение, они называют его *предикатом κατηγορημα* или *схождением οβριζμα* — оба эти имени обозначают одно и то же — например, Сократ гуляет...» [9, с. 71].

Произошло то, что сам Аристотель называл переходом при доказательстве «из одного рода в другой» и что он считал возможным при условии, что «этот род должен быть или вообще тем же, или в каком-то отношении тем же» [17, с. 270—271].

Итак, исходное значение многозначного ныне термина «субъект» сохранилось лишь в сравнительно узкой сфере науки логики; в гносеологии оно было отчасти компенсировано термином «объект» [1, с. 20], введенным в научный язык учеными схоластами, а затем, в XIX в., — в грамматику [20, с. 30—43] и вступившим в обеих сферах в функциональную оппозицию с «субъектом».

Представители различных лингвистических школ вкладывали в термин «субъект» свое представление об этой грамматической категории, о чем говорят различные определения к этому термину: «логический», «психологический», «грамматический» субъект и ныне «онтологический» субъект, «субъект ситуации» [21, с. 128].

Часто пишут, что «объект» не является термином формальной логики [22, с. 10—11]. Однако у Аристотеля мы встречаем наименование явления, которое позже стало называться «объектом» в синтаксисе. Это «падеж» (πτώσις), под которым греческий ученый понимал как морфологическую форму слова, в том числе и имени [10, с. 94; 23, с. 561], так и элемент грамматической формы «посылки» («...посылку же надо взять так, чтобы имя стояло в соответствующем падеже») [12, с. 190]. Это значит, что у Аристотеля мы встречаем если не прототип слова, то прототип понятия «объект».

Аристотель создал целостную логическую систему, в которой в органическом единстве представлены и построение мысли, и ее языковое (знаковое) выражение, охватывая и систему понятий, и систему высказываний в их отношении к онтологической действительности. Отделение формы от содержания произойдет позднее, в европейском языкознании.

Нередко исследователи, занимающиеся поисками истоков грамматической науки в логической системе Аристотеля, пишут об отсутствии четкого разграничения между логическими и грамматическими терминами. Последнее обстоятельство объясняется прежде всего той задачей, которую ставил перед собой философ и которую он сформулировал в «Первой аналитике» следующим образом: «Прежде всего следует сказать, о чем исследование и дело какой оно [науки]: оно о доказательстве, и это дело доказывающей науки» [12, с. 119]. Умение же доказывать, т. е. успешно

<sup>10</sup> Термин «связка» (сорула) принадлежит философу и богослову Абельяру (1079—1142) [ср. 1, с. 19]. В «Грамматике Пор-Рояля» этот термин употреблен как грамматический [18, с. 226].

вести полемику, требовало прежде всего умения отличать высказывания, содержащие истину, от высказываний, не содержащих ее. И истинные, и ложные высказывания неизбежно выступают в языковой форме.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. *Glinz H.* Geschichte und Kritik der Lehre von den Satzgliedern in der deutschen Grammatik. Bern, 1947.
2. Основы марксистско-ленинской философии. 5-е изд. М., 1981.
3. Философский энциклопедический словарь. М., 1983.
4. *Смолян Г. Л.* Человек и компьютер. М., 1981.
5. *Philosophisches Wörterbuch.* Hrsg. von Klaus G. und Buhr. M. Leipzig, 1964.
6. *Jakobson R.* Beitrag zur allgemeinen Kasuslehre. Gesamtbedeutungen der russischen Kasus.— In: TCLP, 1936, № 6.
7. *Weisgerber L.* Der Mensch im Akkusativ.— *Wirkendes Wort*, 1957—1958, 8, S. 193 и сл.
8. *Лайона Д.* Введение в теоретическую лингвистику. М., 1978.
9. Античные теории языка и стиля. Ред. Фрейденберг О. М. М.— Л., 1936.
10. *Аристотель.* Об истолковании.— Соч.: В 4-х т. М., 1978, т. 2.
11. *Аристотель.* Метафизика.— Соч.: В 4-х т. М., 1975, т. 1.
12. *Аристотель.* Первая аналитика.— Соч.: В 4-х т. М., 1978, т. 2.
13. *Аристотель.* Тошικά.— Соч.: В 4-х т., М., 1978, т. 2.
14. *Аристотель.* Поэтика. Примечания Новосадского Н. И. Л., 1927.
15. *Аристотель.* Категории.— Соч.: В 4-х т. М., 1978, т. 2.
16. *Аристотель.* Соч.: В 4-х т. М., 1978, т. 2.
17. *Аристотель.* Вторая аналитика.— Соч.: В 4-х т. М., 1978, т. 2.
18. *Амирова Т. А., Ольховиков Б. А., Рождественский Ю. В.* Очерки по истории лингвистики. М., 1975.
19. *Соссюр Ф. де.* Курс общей лингвистики.— В кн.: *Соссюр Ф. де.* Труды по языкознанию. М., 1977.
20. *Александров Н. М.* Проблема второстепенных членов предложения в русском языке.— Уч. зап. ЛГПИ им. А. И. Герцена, 1963, т. 236.
21. Русская грамматика. Т. 2. Синтаксис. М., 1980.
22. *Гухман М. М.* Развитие залоговых противопоставлений в германских языках. М., 1964.
23. *Аристотель.* О софистических опровержениях.— Соч.: В 4-х т. М., 1978, т. 2.

БИТКЕЕВ П. Ц.

ПРОБЛЕМА ДОЛГОТНОСТИ В ФОНОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ОЙРАТСКОГО ЯЗЫКА

Фонологическая долгота гласных свойственна всем современным монгольским языкам, кроме дунсянского и баоаньского. Однако дискуссионным в монголистике остается вопрос о первичности или вторичности происхождения долгих гласных, а в последнем случае — и вопрос о времени их возникновения.

Традиционно считалось, что долгие гласные в монгольских языках вторичны и образовались путем слияния двух гласных при исчезновении интервокального согласного, чаще всего  $\gamma \sim g$ . Такая интерпретация оправдывалась прежде всего тем, что долгие гласные живых монгольских языков соответствовали старописьменному сочетанию  $\Gamma + C + \Gamma$  — гласный + согласный (обычно  $\gamma \sim g$ ) + гласный. Однако еще А. А. Бобровников подверг сомнению правомерность такой точки зрения. «Представляет ли монгольское письмо двусложными знаками древнее произношение новых долгих букв, — писал он, — или эти знаки были только изображение тех же самых долгих гласных, какие находятся ныне в живом языке? Трудно дать решительный ответ на этот вопрос, но мне кажется, что второе предположение вероятное» [1].

Анализируя механизм образования долгих гласных и другие факты современных монгольских языков, обоснованное положение выдвинул известный японский ученый Ш. Хаттори, согласно которому долгие гласные были в протомонгольском языке [2]. Это положение нашло как сторонников [3—6], так и противников [7]. Решению вопроса может способствовать и реконструкция фонологических систем монгольских языков и диалектов разных периодов их исторического развития, в частности, ойратского языка XVII в., хотя по вопросу о долгих гласных в ойратском языке существуют различные, порой диаметрально противоположные точки зрения. Согласно одной из них (характерной для традиционной монголистики), в ойратском языке XVII в. существовали долгие гласные фонемы [8—10], согласно другой — не было фонологической дифференциации гласных по длительности [11—13].

Исходной основой разных точек зрения по вопросу о долгих гласных в ойратском языке является расхождение в интерпретации вписываемого справа внизу от гласной буквы знака «удан» (—) в графической системе Ясного письма, созданного в 1648 г.

По установившейся традиции «удан» считался диакритическим знаком, передающим долготу предшествующей гласной буквы. Поэтому гласные буквы с «удан» в Ясном письме транслитерировались гласными буквами со знаком долготы, например, как  $\bar{a}$ ,  $\bar{o}$ ,  $\bar{e}$ . Действительно, если сравнить формы слов в ойратском и старописьменном монгольском написании, нетрудно обнаружить, что гласные буквы с «удан» в Ясном письме соответствуют старописьменным монгольским комплексам  $\Gamma + C + \Gamma$ , из которых образовались долгие гласные. Ср., например:

ойратский письменный	старописьменный монгольский	значение
<i>bātur</i>	<i>baγatur</i>	«богатырь»
<i>ulān</i>	<i>ulaγan</i>	«красный»
<i>dere</i>	<i>degere</i>	«наверху»
<i>temen</i>	<i>temegen</i>	«верблюды»
<i>bāxu</i>	<i>baγaxu</i>	«завязывать»
<i>dolōn</i>	<i>doluγan</i>	«семья»
<i>bārō</i>	<i>bögere</i>	«почка»

В современных монгольских языках в этих словах гласным с «удан» соответствуют долгие гласные или редуцированные гласные полного образования обычно того же качества. Ср. произношение слов, например, в калмыцком языке: *ba:tār, ulan, de:rà, temæn, bo:xà, dolan, bæ:rà*; в монгольском: *ba:tār, ula:ŋ, de:rà, temɛ:, bo:xà, dolo:, bō:r*; в бурятском: *batār, ula:ŋ, de:rà, temɛ:ŋ, bo:xà, dolo:ŋ, bō:rà*.

Однако в последнее время предложен ряд новых трактовок знака «удан», в связи с чем по-новому ставится и вопрос о долгих гласных в ойратском языке XVII в.

Так, по мнению монгольского ученого Г. Жамьяна, «знак (—) в Ясном письме был не диакритическим обозначением долготы соответствующего гласного, писавшегося слева от вертикальной строки, а самостоятельной буквой, посредством которой передавался долгий  $\bar{a}$  (или по закону гармонии гласных долгий  $\bar{e}$ )» [14, с. 151; см. также 11, с. 259]. Согласно этому утверждению, слова, которые традиционно передавались как *sād* «помеха», *dēre* «наверху», *bōrō* «почка (анат.)», *ʃokōl* «сочинение», *dolōn* «семь», *dōrō* «стремя», *yabūd* «уйдя», *barīd* «держа», *xanīdum* «кашель», *arūr* «позади», транслитерируются по Г. Жамьяну, соответственно как *saād, deēre, bōēre, ʃokoāl doloān, dōrōē, yabuād, xaniādun, aruār*. При этом важно отметить, что долгие  $\bar{a}$ ,  $\bar{e}$  выступают в «положении после предшествующей краткой гласной фонемы» [14, с. 151]. Следовательно, надо полагать, что буквы  $\bar{a}$ ,  $\bar{e}$  не являются отражением самостоятельных долгих фонем.

Вместе с тем Г. Жамьян считает, что «удан» имел и другие функции — применялся в качестве разделительного знака при зиянии гласных (как, например, в памятниках монгольской квадратной письменности, ср. *ge'en* «светлый») и для передачи долгого гласного  $\bar{a}$  в словах, заимствованных из тибетского и санскрита (через посредство тибетского) [14, с. 151].

Мнение Г. Жамьяна об «удан» в Ясном письме и долгих гласных в ойратском языке нашло отклик у ряда известных монголистов. Дополнительные аргументы приводит известный монгольский ученый акад. Ш. Лувсанвандан: «Если сравнить эти два взгляда, привычный старый взгляд не исходит из того, что Ясное письмо и система его графики были созданы на основе внутрилингвистических факторов в соответствии с особенностями ойратских говоров, а базируется на европейской традиции обозначать долгие гласные с дополнительным знаком — черточкой или удвоенными буквами, расшифровывая буквы Ясного письма со знаком долготы или удвоенные гласные буквы применительно к бурятскому, халхаскому и другим восточным монгольским наречиям» [15, с. 104—105]. Ш. Лувсанвандан считает, что система Ясного письма, в частности, его графика были построены в соответствии с особенностями ойратских говоров, а также с учетом систем квадратной, санскритской и тибетской письменностей [15, с. 105].

Статью Г. Жамьяна перевел на русский язык Г. Д. Санжеев, где в комментариях к переводу, он высказал мнение, что «удан» передавал не долгие  $\bar{a}$ ,  $\bar{e}$ , а ударные  $\acute{a}$ ,  $\acute{e}$  [16, с. 153]. Однако в более поздней работе, посвященной истории письменности монгольских народов, гласные с «удан» он отразил в транслитерации двумя гласными буквами, разделенными апострофом, ср.: *ba'atur* «богатырь», *dolo'an* «семь», *ke'eli* «утроба», *bari'ad* «схватив» [12, с. 117—118].

Предложенный Г. Жамьяном способ транслитерации использован акад. Ц. Дамдинсурэном при передаче ойратского текста «Рамаяны», но в упрощенном виде — без обозначения долготы над второй гласной буквой: *zaan* «слон», *bosoad* «встав», *kōbōyin* «сын», *bōgōetōlō* «так пребывал» [13, с. 60—61].

Интерпретация знака «удан» в ойратской графической системе как самостоятельных гласных  $\bar{a}$ ,  $\bar{e}$  (или  $\acute{a}$ ,  $\acute{e}$ ) явилась основанием для изменения хронологических рамок развития монгольских языков. «Долготные комплексы ОПЯ (ойратского письменного языка — Б. II.) позволяют теперь с большей уверенностью заключить, — пишет Г. Д. Санжеев, — что хронологические рамки среднемонгольской стадии развития наших языков

(гласный + гласный после выпадения интервокальных согласных и до слияния их в один долгий) следует раздвинуть примерно до половины или конца XVII в., а не до XV—XVI вв., как это было принято считать до сих пор применительно к основным монгольским языкам, т. е. халха-монгольскому и бурятскому, а также ойратским диалектам [12, с. 130—131].

Правильная интерпретация знака «удан» Ясного письма имеет исключительно важное значение как для установления фонематической системы ойратского языка, так и для определения состояния развития монгольских языков того времени.

Следует отметить, что интерпретация знака «удан» как долгих  $\bar{a}$ ,  $\bar{e}$  весьма логично объясняет те случаи, когда «удан» находился после буквы узких огубленных гласных в позиции непервого слога слова. Как выше было показано,  $\bar{i}$ ,  $\bar{u}$ ,  $\bar{ü}$  в словах типа *xarīd*, *xanīdun*, *yabūd* в современных монгольских языках соответствуют обычно открытые гласные низкого и среднего подъёмов, кроме монгор. *xarīli* «отдавать, возвращать».

Несмотря на кажущуюся новизну, положение Г. Жамьяна, однако, не подтверждается данными фонетического развития монгольских языков. Так, если знак «удан» передавал долгие или ударенные гласные  $\bar{a}$ ,  $\bar{e}$ , ( $\acute{a}$ ,  $\acute{e}$ ), то эти гласные должны были обладать материально большей устойчивостью, чем предшествующий краткий гласный, следовательно, должны были сохраниться при дальнейших изменениях, которые дали монофтонгизацию двугласных. Поэтому в транслитерируемых, по Г. Жамьяну, примерах *böerö* «почки», *töe* «пядь», *toā* «число», *xoāsun* «пустой» должны были при слиянии сохраниться гласные  $\bar{a}$ ,  $\bar{e}$  (или  $\acute{a}$ ,  $\acute{e}$ ). И тогда в современном калмыцком эти слова имели бы соответственно формы: *bæ:r*, *tæ:*, *ta:*, *xa:sàn*.

Однако в современном калмыцком, да и в других монгольских языках, в этих словах выступают не  $\bar{a}$ ,  $\bar{e}$ , а огубленные гласные типа  $\bar{o}$ ,  $\bar{ö}$ , например, калм. *bæ:rə*, *tæ*, *to*, *xo:sàn*.

Эти данные свидетельствуют о том, что толкование «удан» ойратского письма как специального знака долгих или ударенных гласных  $\bar{a}$ ,  $\bar{e}$  (или  $\acute{a}$ ,  $\acute{e}$ ) не может быть применено к гласным с «удан» в позиции первого слога слова.

Утверждение, согласно которому использование дополнительных диакритических знаков (в данном случае знака «удан» для передачи долго-ты гласного) — это европейская традиция и, поэтому они не могли быть применены Зая-Пандитом, не согласуется с данными Ясного письма. На самом деле создатель ойратского письма широко использовал диакритические знаки для обозначения разных фонем. Например, буквы, передаваемые в транслитерации как *o*, *u*, *x*, *γ*, *g* имеют обязательные диакритические знаки — соответственно черточку справа вверх, черточку слева вниз, две точки слева, кружочек слева, «луночку» слева.

Таким образом, диакритические знаки были органической составной частью системы знаков Ясного письма, и нет основания считать, что долгота гласных не могла быть передана диакритическим знаком «удан». Другим возражением против трактовки «удан» как  $\bar{a}$ ,  $\bar{e}$  (или  $\acute{a}$ ,  $\acute{e}$ ) является и такой фактор, как ограниченное употребление  $\bar{i}$ ,  $\bar{u}$ ,  $\bar{ü}$  (со знаком «удан») главным образом в вариантах форм постфикса разделительного деепричастия, например: *barīd* «держа», *xalīxu* «смотреть», *tejīgsen* «кормивший», *yabūd* «пойдя», *irīd* «придя», их транслитерационные формы по Г. Жамьяну: *bariād*, *xaliāxu*, *tejīgsen*, *yabuād*, *iriēd*.

Вариант на  $\bar{i}d$  встречается в рукописях очень редко по сравнению с другими формами разделительного деепричастия, которые могут быть транслитерированы как  $\bar{a}d$ ,  $\bar{e}d$ ,  $\bar{o}d$ ,  $\bar{ö}d$ , например, *abād* «взяв», *kürēd* «пойдя», *tegēd* «затем», *ögōd* «отдав». Правда, встречаются, хотя и редко, случаи написания  $\bar{i}$ , например, в форме орудного падежа: *buyudčir* «через Бугудчи», *talkir* «через Талки (местность)», *čuulir* «через Цуули (местность)», а также и в середине слова, например, *bičiči* «писарь, писатель», *tejīgsen* «вскормивший», *külīsün* «путы, связка». Однако в этих случаях

необходимо учесть, что исходная основа оканчивается на *i*: *buγudči-*, *talki-*, *čuuli-*, *biči-*, *teži-*, *kūli-*.

В этой связи, по-видимому, прав монгольский ученый Х. Лувсанбалдан, который, возражая Г. Жамьяну, пишет, что написание *i* в этих и аналогичных примерах — результат использования в Ясном письме морфологического принципа. Деля подтверждению он приводит такой факт: в 1957 г. на научной конференции в г. Урумчи, посвященной вопросам орфографии Ясного письма, было принято решение сохранять гласную букву *i* в конце основы при соединении суффиксов в словах гуттурального ряда, например, в основе *biči-* «писать» сохранять *i*, чтобы не получалось *bičēči* «писатель» [9, с. 44—45]. Это решение является, по Х. Лувсанбалдану, продолжением традиции Ясного письма, где применялся и морфологический принцип орфографии.

Можно предположить, таким образом, что написание  $\bar{i}$ ,  $\bar{u}$ ,  $\bar{ü}$  в Ясном письме — орфографический способ сохранения в целостности основы. Гласный  $\bar{i}$  часто должен был передавать еще и мягкость предшествующего согласного. Например, орфограммы слов *xarīd* «возвращаясь (домой)» и *xarād* «карауля», *barīd* «держак» и *barād* «исчерпав» различаются гласными буквами  $\bar{i}$ ,  $\bar{a}$ , которые позволяют сохранить основы слов *xari-*, *bari-* и передать мягкость предшествующего согласного *r'*. Поэтому орфографически вполне допустимо, чтобы  $\bar{i}$ ,  $\bar{u}$ ,  $\bar{ü}$  передавали в непервых слогах слова гласные *iā*, *iē* или  $\bar{a}$ ,  $\bar{e}$ . и *uā*, *üē*. Для В. Л. Котвича это было настолько очевидным, само собою разумеющимся фактом, что он ограничился следующим: «Хотя в калмыцком алфавите есть начертание  $\bar{i}$ , которое могло быть с удобством служить для изображения долгого  $\bar{i}$ , но оно уже с давних пор употребляется для другой цели» [17, с. 20]. «Особого внимания заслуживает, — пишет далее В. Л. Котвич, — обозначение смягчения согласных, стоящих перед долгими гласными. Именно:  $\bar{i}$  служит для обозначения смягчения перед  $\bar{a}$ , причем особого знака для  $\bar{a}$  не пишется,  $\bar{i}$  перед  $\bar{u}$ , так что долгое  $\bar{u}$  изображается здесь без обычного второго кружка. Эти приемы можно сохранить и на будущее время» [17, с. 52].

Итак, гласные *i*, *u*,  $\bar{ü}$  в непервых слогах слова служили: 1) для сохранения исходной основы слова и, возможно, передачи в некоторых случаях *i*, *u*,  $\bar{ü}$  — образных элементов перед долгим гласным; 2) для обозначения долгих  $\bar{a}$ ,  $\bar{e}$  в зависимости от сингармонической рядности слова, тем более, что имелись графико-орфографические возможности: во всех других случаях долгие или дифтонгоидные огубленные высокого подъема (узкие) гласные передавались удвоенными буквами *uu*, *üü*, сочетанием букв *ou*, *öü*, а узкий неогубленный долгий — сочетанием *iüi*, *yi*. Правильность чтения обеспечивалась тем, что долгие гласные высокого подъема артикуляции передавались графически другими способами, а именно: удвоенным написанием гласных букв или сочетанием разных букв. В тех ограниченных позициях, где буквы узких гласных имели диакритический знак «удан», они, по закону языка, не могли быть долгими. Все это может служить подтверждением правомерности предлагаемого Г. Жамьяном чтения букв узких гласных со знаком долготы  $\bar{i}$ ,  $\bar{u}$ ,  $\bar{ü}$  как содержащих во второй части долгие  $\bar{a}$  или  $\bar{e}$ .

Вместе с тем позиционно ограниченное употребление в непервых слогах «удан» справа от гласных букв, передаваемых в транслитерации как  $\bar{i}$ ,  $\bar{u}$ ,  $\bar{ü}$  является фонстически и орфографически обусловленным и графически допустимым частным случаем использования этого знака для передачи долгих  $\bar{a}$  и  $\bar{e}$ . Это, однако, не дает основания считать, что знак «удан» служил для передачи долгих или ударенных гласных  $\bar{a}$ ,  $\bar{e}$  (или  $\acute{a}$ ,  $\acute{e}$ ) во всех без исключения случаях, как это предлагают сторонники новой трактовки значения «удан».

Во-первых, как уже было показано выше, попытка применить положение Г. Жамьяна для первого слога слов вступает в противоречие с законами развития гласных в монгольских языках. Во-вторых, отождествление «удан с долгими  $\bar{a}$ ,  $\bar{e}$  строится без достаточного учета истории возникновения долгих гласных в монгольских языках, которые образова-

лись, как известно, не только из комплексов, но и из монофтонгов. Это очень хорошо прослеживается в Ясном письме. Так, гласные в форме исходного и орудного падежей, которые в старописьменном монгольском имели одинарные гласные буквы, в Ясном письме писались уже с «удан»: *-ēse*, *-bēr*. С «удан» писались и конечные гласные в постфиксе соединительного падежа *-luγā*, *-lügē*, которые имели еще и сокращенные формы *-lā*, *-lē*, они восходят к старописьменным монгольским *-luγ-a*, *-lüge*. С долготой стали писаться и гласные в некоторых основах, например, *saγān* «белый», *xibilγān* «перерожденец», ср. старописьменный монгольский *saγan*, *xibilγan*.

Эти данные наглядно показывают написание «удан» там, где не было комплексов Г + С + Г. Следовательно, в таких случаях гласные с «удан» не могут быть переданы, согласно новой интерпретации «удан», как гласные *ā* или *ē*.

В-третьих, отождествление «удан» с долгими гласными *ā*, *ē* противоречит губной гармонии, присущей орфографии Ясного письма. Например, в *ōdö* (*bolxu*) «посетить, прибыть» (высокий стиль), *ǰokōγson* «сочинивший», *bōrō* «почки», *ǰōlōn* «мягкий» после долгих *ō*, *ō* (огубленных гласных с «удан») следуют краткие *o*, *ö*, вместо которых при трактовке огубленных *ō*, *ö* с «удан» как *oā*, *öē*, должны употребляться другие буквы неогубленных гласных.

В этой связи трудно согласиться и с другим положением Г. Жамьяна, согласно которому в ойратских говорах XVII в. не было долгих *ō*, *ö*. Тем более, что существовали, по его мнению, долгие *ā*, *ē*, *ū*, *ü* [14, с. 152], правда, в постпозиционном сочетании с краткими гласными.

В-четвертых, в пользу наличия долгих гласных, в том числе и *ō*, *ö*, свидетельствует и грамматическое сочинение «Тарни унших аргыг хураасан» [9, с. 328—329].

Дополнительными, хотя и косвенными, данными в пользу наличия в ойратском языке (указанного периода) долгих гласных могут служить памятники монгольского языка XIII—XIV вв., созданные среднеазиатскими и арабскими филологами. Это сочинение 1245 г. анонимного арабского автора [18], труд Ибн-Муханны (начало XIV в.) [19] и особый интерес представляющий словарь, Мукаддимат ал-Адаб [19], где долгие гласные встречаются почти повсеместно, например, *čālsun* «бумага», *nādun* «играл», *qāna* «где», *hulān* «красный», *kēr* «темногнедой», *dēre* «наверху», *emēl* «седло», *bōl* «раб», *tōriba* «кружился», *būrul* «седой», *amuulan* «отдых», *turū* «копыто», *kūjūn* «шея», *hūbe* «вонял», *nūresün* «уголь», *kōbe* «распух», *sōn* «малый», *ǰōbe* «приобрел», *ōren* «сам», *gerin* «дома (род. п.)», *berin* «невесты (род. п.)», *urcin* «ювелира (род. п.)», *im* «такой». В словаре содержатся, правда, и такие написания, как *ǰa'ūn* «сто», *ǰa'ān* «слон», *e'ūden* «дверь», *ke'ōsen* «пена» [19, с. 17, 18, 23, 25, 27, 71]. Долгие гласные отражены также и в глоссарии Ибн-Муханны, например, *nūl* «грех», *bičēci* «пишущий», *bōl* «раб», *dolān* «семь», *kōkūr* «мех для вина» [19, с. 434, 436, 440]. Долгим гласным в этих словах соответствуют в современных монгольских языках (монгольском, калмыцком, бурятском) долгие гласные фонемы обычно того же качества. Долгие гласные зафиксированы и в «Зирни манускрипт» [20].

Другими источниками, по которым в той или иной мере можно судить о состоянии развития долгих гласных в монгольских языках XIII—XIV вв., являются тексты «Сокровенного сказания» (1240 г.) и памятники квадратного письма, созданного в 1269 г. Например, транслитерация «Сокровенного сказания» содержит различные сочетания и удвоения гласных букв типа *saari* «крестец», *hurui* «вниз (по течению)», *eenekči* «только, исключительно», *qauli* «правило», *neuri* «кочевка, переезд» [21]. Иногда они передаются и гласными буквами с долготой: *adūsun* ~ *adu'učī(n)* «табушник», *inēgu* ~ *ine'egu* «смеяться» [22]. Однако о точности отражения ими реальных фонетических данных монгольского языка XIII в. говорить трудно,

ибо они — транслитерация текста, сохранившегося в китайской иероглифической транскрипции.

Исследователи отмечают исчезновение в квадратном письме интервокальных согласных  $\gamma$ ,  $g$  в комплексах, из которых образовались долгие гласные. Вместо старописьменных  $\gamma$ ,  $g$  в квадратном письме употребляется «айн», передаваемый в транслитерации буквой  $h$  или точкой. Букву «айн» обычно рассматривают в монголистике как своеобразный разделитель двух смежных гласных, еще не слившихся в один долгий гласный и принадлежащих двум соседним слогам [23, с. 214; 24, с. 23—24; 25].

Однако исследования последних лет заставляют пересмотреть это традиционное положение. Анализируя буквы квадратного письма и древнеиндийского алфавита, акад. Ш. Лувсанвандан установил, что букве  $a$  квадратного письма соответствовала в древнеиндийском краткая буква  $a$ , букве «айн» квадратного письма — долгая гласная буква [26, с. 31]. «Это является свидетельством того, — пишет Ш. Лувсанвандан, — что люди на местах с давних пор различали  $a$  — „большую“ и  $a$  — „ковш“ («айн». — Б. П.), как краткий и долгий гласные» [26, с. 32].

Следовательно, буква «айн», которая стоит в ряду согласных букв квадратного письма, использовалась, по Ш. Лувсанвандану, в качестве долгой гласной буквы. Поэтому он предлагает и транслитерировать как *gaïn* «хан», *duïlqaue* «дать понять», *č'eriïdun* «войска» вместо традиционных *qa'an*, *du'ulqaue*, *č'eri'udun* или *qa'an*, *du'ulqaue*, *č'eri'udun* и др.

Вывод Ш. Лувсанвандана о том, что с помощью «айн» передавали в квадратном письме долгий гласный, вносит изменение в традиционное для монголистики представление о степени развития долгих гласных в монгольском языке, однако не дает нам основания утверждать, что письмо отражало долгие гласные фонемы. Существенное значение для определения оппозиции гласных по признаку долготности имеет анализ орфографии. Основным же в квадратном письме был слоговой принцип орфографии, по которому каждый слог получал отдельное написание. По общей фонологии, если два смежных гласных относятся при слогаделении к одному слогу, то они представляют одну фонему. Поэтому если бы «айн» был своеобразным разделителем, как это представляли в транскрипции, например, *qa'an*, то слоговая граница должна была бы проходить, как это считалось раньше, между двумя гласными, и слово делилось бы на два слога. Однако в квадратном письме это слово пишется в один слог. Если два одинаковых по качеству гласных относятся к одному слогу, как это имеет место в приведенных выше словах *qaïn*, *duïlqaue* и др., и если один из них долгий, то невозможно их смежное употребление в одном слоге, особенно в монгольском языке, который не терпит сочетания гласных. Поэтому логично считать, что буква «айн» передавала в квадратном письме долготу гласных, которые фонематически противопоставлялись кратким фонемам.

Таким образом, рассмотренные выше графические данные не оставляют сомнения в отношении бытования долгих гласных в монгольских языках XIII и начала XIV в. Если это так, то нет оснований отрицать наличие долгих гласных в ойратском языке, который относится хронологически к более позднему периоду. Правда, верно и то, что не все монгольские языки развивались синхронно, соответственно чему долгие гласные могли появляться в различных монгольских языках и наречиях в разное время. Однако материалы современного калмыцкого языка и ойратских говоров говорят о том, что они не могли отставать в фонетическом развитии от других монгольских языков, а такие явления, как монофтонгизация дифтонгов, которая свойственна только калмыцкому языку, и последовательно сильная редукция гласных показывают, что ойратский язык опережал в фонетическом развитии другие монгольские языки, в том числе монгольский и бурятский.

Долгие гласные ойратского языка зафиксированы и в записях, относящихся ко второй половине XVII и XVIII в. Так, Н. Витсен в 60-70-х годах XVII в. зафиксировал в ойратском языке долгие гласные путем удвоения гласных или сочетанием разных букв. Примеры: *çob* «прямой»,

*koktoб* «выпивший», *заап* «слон», *temian* «верблюд», *czeeken* «мало», *koutaγa* «нож», *keoken* «дитя» [27, с. 27—30]. В записях В. Страленберга, относящихся, правда, к несколько более позднему времени (первая четверть XVIII в.) также получили отражение ойратские долгие гласные, для передачи которых В. Страленберг использовал, кроме удвоения и сочетания гласных, еще и такой способ, как сочетание гласного с *h*, характерный для обозначения долгих гласных в графической системе немецкого письма. Примеры: *utaan* «пожарище», *kalloon* «жарко», *idee* «кушать», *dohla* «я пою», *kihlin* «рубашка» [27, с. 186, 187, 192].

Изложенное выше позволяет сделать следующие выводы:

1. Знаком «удан» обозначали в Ясном письме долготу гласных, фонематически противопоставленных соответствующим кратким гласным: *dāraxu* «мерзнуть» — *daraxu* «давить», *dāre* «наверху» — *der* «подушка», *tōsun* «пыль», — *tosun* «масло», *tōrikü* «блуждать», — *tōrikü* «родиться».

2. Графическая система Ясного письма, по-видимому, допускала ограниченное использование знака «удан» для передачи и долгих гласных  $\bar{a}$ ,  $\bar{e}$  в позиции непервого слога слова путем его сочетания с буквами *i*, *u*,  $\bar{i}$ .

Вопрос о долгих  $\bar{u}$ ,  $\bar{ü}$ ,  $\bar{i}$ ,  $\bar{ï}$ , их фонематической сущности в ойратском языке вызывает различные суждения, поскольку Ясное письмо не дает прямых свидетельств бытования узких долгих гласных. За исключением отмеченных выше редких случаев написания с «удан», в Ясном письме употребляются удвоенные написания гласных *uu*,  $\bar{üü}$ , или сочетание гласных *ou*,  $\bar{öü}$ , например *ijuur* «корень», *düüren* «полный», *doudaxu* «позвать», *döü* «младший (по возрасту)», которые породили высказывания о «фонематических нормах промежуточной ступени» [24, с. 78] и «незавершенности образования долгих гласных» [28]. С этим можно согласиться, поскольку дифтонгоидные сочетания узких гласных в монгольских языках сохраняются, как показывают исследования, дольше, чем аналогичные сочетания открытых гласных.

Однако, если судить по памятникам XIII—XIV вв., узкие долгие гласные бытовали в монгольских языках задолго до XVII в. В записях Н. Витсена, относящихся ко второй половине XVII в., встречается сочетание *ou*, ср.: *doulan* «тепло», *oula* «гора», *toula* «заяц», *koura* «сухой». Несколько позже, в начале XVIII в., В. Страленберг зафиксировал долгие узкие огубленные гласные. Они переданы сочетанием гласного с *h* и путем удвоенного написания гласного, ср.: *buhral* «седой», *çuii* «рама», *duhrgä* «наполнил», *kukuhr* «сосуд» [27, с. 32, 34, 37].

Данные Н. Витсена не дают основания для безоговорочного утверждения, что ойратскому языку были свойственны долгие узкие огубленные гласные. Но если ойратский  $\bar{u}$  имел неоднородную артикуляцию составляющих его элементов, то он мог быть воспринят Н. Витсеном на слух как сочетание двух огубленных гласных и передан при транскрипции буквами *ou*. Кроме того, даже если допустить, что в ойратском языке были дифтонги *ou*,  $\bar{öü}$ , то их вторые элементы, согласно фонетическим законам монгольских языков, должны были быть долгими, потому что из них затем образовались долгие  $\bar{ü}$ : *u*:, например: *oula* «гора» >  $\bar{u}la$  > *u:lɑ*, ср. ст.-п. монг. *aγula*;  $\bar{ö}len$  «облако» > *illen* > *γ:lən*, ср. ст.-п. монг. *egülen*. Зато записи В. Страленберга, как и другие материалы монгольских языков, достаточно убедительно подтверждают положение грамматического сочинения XVII в. «Тарни унших аргыг хураасан» о долгих огубленных гласных высокого подъема в ойратском языке. Графемы Ясного письма, транслитерируемые как *uu*,  $\bar{üü}$ , были, по-видимому, продолжением традиции монгольского письма, по которой в некоторых случаях долгие гласные, но чаще  $\bar{u}$ ,  $\bar{ü}$ , передавались удвоенным написанием типа *uul* «тот самый», *sooxur* «рябой», *buu* «ружье», *degüü* «младший (по возрасту)», *ilegüü* «лишний» [23, с. 249]. Обозначение долгих гласных удвоенным написанием гласных букв довольно широко использован и в исторических хрониках бурят: *jala-a* «кисточка на шапке» вм. ст.-п. монг. *jalaγ-a*, *duuγ-a* «шлем, каска» вм. ст.-п. монг. *duγuγ-a*, *niilekü* «объединиться» вм. ст.-п. монг. *niγilekü*, *nuur* «озеро» вм. ст.-п. монг. *naγur* и др. [29].

Графемы, транслитерируемые здесь как *ou*, *öü*, передавали в одних случаях, возможно, и дифтонгоидный характер фонем, а в других — служили для сохранения графико-орфографических различий старого монгольского письма, которым ойраты пользовались параллельно. Например, ойр. п. *uixi* «пить», ср. ст.-п. монг. *uγixi*, ойр. п. *ouxi* «переливать жидкость», ср. ст.-п. монг. *aγixi*, ойр. п. *suutu* «выдающийся, гениальный», ср. ст.-п. монг. *suutu*, ойр. п. *souxi* «сидеть, садиться», ср. ст.-п. монг. *saγixi*.

Такого рода написания довольно последовательно проводились в ойратском письме, особенно в начальный период его существования. Правда, это зависело от степени грамотности пишущего, от его знаний старописьменного монгольского языка. Однако во многих случаях ощущалось сильное влияние живого языка, где различия между *ou* и *uu*, *öü* и *üü* давно утратили силу, произносились как  $\bar{u}$ ,  $\bar{ü}$ , поэтому в одних текстах можно встретить написание *souxi* «сидеть, садиться» [30, л. 2], а в других — *suixi* [31, л. 3]. Даже в одном и том же тексте можно встретить двойное написание, например, *köböün* ~ *kübüün* «сын, мальчик», *noγoudi* ~ *noγuudi* — показатель мн. числа [31, л. 3].

То же самое можно сказать и о долгом  $\bar{i}$  переднерядной артикуляции в ойратском языке, хотя образование долгого  $\bar{i}$  проходило несколько своеобразно в монгольских языках, а в некоторых из них, например, в баоаньском языке, где признак количественности является фонематически несущественным, отсутствует долгий  $\bar{i}$  при наличии краткого *i* [32].

В старом монгольском письме долгий  $\bar{i}$  передавался, как известно, удвоенным написанием, например *siidburi* «решение», *xaïixi* «побелеть». Эта же традиция была принята и в ойратском письме с той лишь разницей, что между двумя буквами *i* вставлялась буква *y*, например, *nomiyin* «книги (род. п.)», *bičigiγin* «письма (род. п.)». И сочинение «Гарни унших аргыг хураасан», определенно указывает на наличие долгого  $\bar{i}$  в ойратском языке.

К наиболее сложным относится вопрос о долгом  $\bar{i}$  заднерядной артикуляции, поскольку в ойратском письме, да и в других монгольских письменностях, не было специальных буквенных знаков для  $\bar{i}$  и  $\bar{i}$ , отличных от мягкорядных *i* и  $\bar{i}$ .

Г. П. Мельников считает, что образование долгого  $\bar{i}$  в монгольских языках было невозможно из-за антропофонических трудностей. «Предположения о существовании регулярного противопоставления гласного *y* по признаку долготы, — пишет он, — вообще не имеет оправданий, так как развитие долгого *y* требует преодоления еще больших антропофонических трудностей» [33]. Ссылку на «антропофоническую трудность» нельзя считать убедительной. Для носителей языка, как известно, нет трудных и легких звуков. Однако зафиксировать долгий  $\bar{i}$  в монгольских языках не удавалось, хотя можно говорить о рефлексах, сохраняющих в какой-то мере качество исходного варианта краткого *i*. Правда, долгий  $\bar{i}$  заднерядной артикуляции удалось зафиксировать автору настоящих строк в монгольском языке Тувы, но он имеет ограниченное употребление [34]. Причина отсутствия долгого  $\bar{i}$  в монгольских языках заключается, в частности, в том, что в комплексе Г + С + Г старого монгольского письма, после интервокального согласного  $\gamma$  гласный  $\bar{i}$  не выступал. Поэтому  $\bar{i}$  не имел возможности удлиняться, так как согласно схеме образования долгих гласных, по Ш. Хаттори, Г + С + Г, удлинялся лишь гласный, который следуя за согласным [2, с. 61], как правило, сохранял свое качество. Б. Я. Владимирцов вывел гипотетически лишь одну форму древнего монгольского языка, где  $\bar{i}$  выступал после интервокального  $\gamma$ : *\*tiγiraγ* «дюжий», *čigiraγ* *čī rāk* [23, с. 199]. Другая причина отсутствия долгого  $\bar{i}$  — неустойчивость краткого  $\bar{i}$  в фонематических системах монгольских языков.

Таким образом, ни ранние записи ойратской и монгольской речи, ни анализ графических данных Ясного письма не дают основания считать, что ойратский вокализм имел долгий  $\bar{i}$  заднерядной артикуляции.

Признаки долготности распространялись в ойратском языке и на дифтонги. Однако следует различать дифтонги, вторым компонентом которых

был любой гласный, кроме *i*. Такие дифтонги были восходящими и выступали как оттенки соответствующих долгих гласных. Об этом свидетельствуют и данные Ясного письма, где *ou*, *öü* нередко чередуются с *uu*, *üü*. например, *doudbai* «пригласил» [31, с. 6], *duuyār* «по голосу» [31, с. 11], *oroulbai* «послал» [31, с. 17], *oruulun* «послав. направив» [31, с. 15] или встречаются параллельные формы *kü'öün* ~ *kü'üün* «шея» [31, с. 27]. В современных монгольских языках сочетаниям *ou*, *öü*, *iu*, *iü* соответствуют долгие гласные *u*: *ü*: (или *y*:), например, ойр. п. *nour* «озеро», *jöün* «игла», *ariun* «чистый», *terigüün* «первый», ср.: калм. *nur* (*nu:rta*), *zyn* (*zy:tæ*), *æyn*, *tyryn*; монг. *nu:r*, *dzü:*, *ar'u:ŋ*, *tergü:ŋ*; бур. *nu:r*, *zū:ŋ*, *ar'u:ŋ*, *tergü:ŋ*.

Дифтонги же на *-i* были также долгими, но нисходящими, в памятниках встречаются чередования их с долгими гласными, соответствующим первому компоненту, например, ойр. п. *noxoi* «собака» [31, с. 39], но *noxödu* «собаке» [31, с. 39]. Да и в современных ойратских говорах на месте ойр. п. дифтонгов на *-i* выступают долгие гласные или долгие дифтонги, например, в дэрбэтском говоре монгольского языка: *maxlāi* «шапка» < ойр. п. *mal'ai*; *oe* ~ *öi* «лес» < ойр. п. *oi*; *ji* с «скот» < ойр. п. *üyis* [35] или *melkē* «лягушка» < ойр. п. *melkei*, *nām* «восемь» < ойр. п. *nayiman* [36]. В современном калмыцком языке долгим дифтонгам ойратского письменного языка соответствуют долгие и редуцированные гласные полного образования.

Итак, все вышеизложенное дает основание прийти к следующим выводам:

1. В ряде монгольских наречий XIII в. уже существовали долгие гласные, которые передавались на письме чаще всего как  $G + C + G$ , где *C* обычно  $\gamma \sim g$ , что подтверждает правильность предположения А. Бобровникова о долгих гласных в монгольских языках XIII в.

2. Широко представленные в ойратском языке долгие гласные (монофтонги, дифтонги) получили наиболее последовательное письменное выражение в Ясном письме. созданном в середине XVII в. Долгие монофтонги графически передавались посредством знака «удан», а также удвоения или сочетания гласных букв.

3. Долгими были в ойратском языке и дифтонги, которые делились на две группы: нисходящие и восходящие. Определяющим был второй элемент. Дифтонг был нисходящим при втором элементе *i*, а во всех других случаях — восходящим.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Бобровников А. А. Грамматика монгольско-калмыцкого языка. Казань, 1849, с. 14.
2. Hattori S. The length of vowels in Proto-Mongol.— *Studia Mongolica*, 1961, t. 11, fasc. 17—23.
3. Poppe N. The primary long vowels in Mongolian.— *JSFu*, 1962, № 63, 2.
4. Ligeti L. Les voyelles longues en moghol.— *A O*, 1964, t. XVII, fasc. 1.
5. Weiers M. Zu den langen Vokalen in der Moghol Sprache.— *ZAS*, 1970, № 4.
6. Mirayama S. Die Entwicklung der Theorie von den primären langen Vokalen im Mongolischen.— В кн.: *Mongolian studies*. Budapest, 1970.
7. Doerjé G. Langvokale im Urmongolischen? — *JSFOu*, 1964, № 65; 1970, № 70.
8. Кара Д. Книги монгольских кочевников. М., 1972.
9. Лувсанбалдан Х. Тод үзэг, түүний дурсгалууд. Улаанбаатар, 1975.
10. Биткеев П. Ц. Калмыцкий и ойратский вокализм: Автореф. дис. на соискание уч. ст. докт. филол. наук. М., 1981.
11. Жамьян Г. Тод үсгийн зөв бичих дүрэмд урт эгшгийг хэрхэн тэмдэглэсэн тухай асуудал.— *Монголын судлал*, 1970, 7-р боть.
12. Санжеев Г. Д. Лингвистическое введение в историю письменности монгольских народов. Улан-Удэ, 1977.
13. Дамдинсүрэн Ц. «Рамаيان» в Монголии. М., 1979.
14. Жамьян Г. Обозначение долгих гласных в ойратском Ясном письме.— *Народы Азии и Африки*, 1970, № 5.
15. Лувсанбалдан Ш. Дөрвөлжин, тод үсгийн зөв бичих дүрэмд монгол хэлний урт эгшгийг хэрхэн тэмдэглэсэн нь.— *Хэл зохиол*. 1970, 7-р боть.
16. Санжеев Г. Д. От переводчика.— *Народы Азии и Африки*, 1970, № 5.
17. Котвич В. Л. Опыт грамматики калмыцкого разговорного языка. Пг., 1915.

18. *Poppe N.* Das mongolische Sprachmaterial einer Leidener Handschrift.— Изв. АН СССР, 1927, № 12—17; 1928, № 1.
19. *Поппе Н. Н.* Монгольский словарь Мукаддимат ал-Адаб. Ч. I—II. М.— Л., 1938.
20. *Iwamura Sh.* The Zirin manuscript. Kioto, 1961.
21. *Козин С. А.* Сокровенное сказание (Юань Чао би ши). М.— Л., 1941, с. 581, 588, 592, 593.
22. *Hainisch E.* Wörterbuch zu Monghol in Niuca Tobca'an (Yuan-chaopi-shi). Geheime Geschichte der Mongolen. Wiesbaden, 1962.
23. *Владимирцов Б. Я.* Сравнительная грамматика монгольского письменного языка и халхаского наречия. Л., 1929.
24. *Санжеев Г. Д.* Сравнительная грамматика монгольских языков. Т. I. М., 1953.
25. *Поппе Н. Н.* Квадратная письменность монголов. М.— Л., 1941, с. 30—31.
26. *Лувсанвандан Ш.* Монголын дөрвөлжин үсгийн их А, шангаган А-гийн тухай асуудалд.— *Studia Mongolica*, 1978, t. VI. fasc. 6.
27. *Doerfer G.* Ältere Westeuropäische Quellen zur kalmückischen Sprachgeschichte. Wiesbaden, 1965.
28. *Убушаев Н. Н.* Деловые бумаги на старокалмыцкой письменности как источник изучения истории калмыцкого языка.— В кн.: 320 лет калмыцкой письменности. Элиста, 1970, с. 119.
29. *Цыдендамбаев Ц. Б.* Бурятские исторические хроники и их родословные. (Историко-лингвистическое исследование). Улан-Удэ, 1972. с. 309—311.
30. *Biography of Saaya Pandita in Oirat characters.* Ulanbator, 1967.
31. *Биография Зая-пандиты.* Рукопись библиотеки Восточн. ф-та ЛГУ. Хул. Q 541, Сalm. 20.
32. *Годаева Б. Х.* Баоаньский язык. М., 1964, с. 5.
33. *Мельников Г. П.* Монгольский вокализм как система и алтайская гипотеза.— В кн.: Проблема общности алтайских языков. Л., 1971, с. 302.
34. *Биткеев П. Ц.* Твердорядный гласный *i* в монгольском языке Тувы.— Уч. зап. КНИИ ЯЛИ, 1973, вып. XI, сер. филол., с. 112—113, 116—117.
35. *Вандуй Э.* Дөрвөд аман аялгуу. Улаанбаатар, 1963, х. 157, 159, 163.
36. *Kara G.* Notes sur les dialectes oirat de la Mongolie Occidentale.— АО, 1963, t. 8, fasc. 2, p. 134.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

РЕЦЕНЗИИ

**Čakavisch-deutsches Lexicon.** T. I. Hrsg. von Hraste M. und Simunović P. Unter Mitarbeit und Redaktion von Olesch R. 1979, S. LX + 354; T. II. Deutsches Wortregister. Hrsg. von Olesch R. und Simunović P. 1981, S. 253; T. III. Čakavi-che Texte. Hrsg. von Simunović P. und Olesch R. 1983, S. 620. — Köln — Wien: Böhlau Verlag.

Чакавские диалекты издавна привлекали внимание крупных представителей славянского языкознания своей четкой обособленностью, архаичностью, своими чертами, существенными для общеславянских сравнительно-исторических штудий, своей акцентологической и фонетической системой. Они интересны также историческими языковыми и поэтическими текстами-памятниками, относящимися к древнему глаголическому периоду, к началу славянского далматинского Ренессанса и к более позднему времени, текстами, представляющими собой яркие опыты создания литературного языка на нештокавской основе, т. е. не на той базе, на которой зиждется современнейший хорватскосербский литературный язык. Чакавские диалекты в наше время используются как язык региональной чакавской литературы, весьма самобытной и значительной по своим художественным, преимущественно поэтическим, качествам и достижениям. Им всецело посвящен научно-филологический журнал «Čakavska rič» (Чакавское слово), выходящий в Сплите с 1971 г.

Чакавскую народную речь изучали И. А. Бодуэн де Куртэнэ и А. Беллч, Л. П. Якубинский и М. Малецкий, а в последнее время М. Храсте, Й. Хамм, П. Шимунович, Б. Финка, Б. Юришич и др. По чакавской лексике, однако, написано не более двух-трех десятков работ, включая в это число и общедиалектологические описания, и небольшие списки слов, из коих только один труд Б. Юришича был отдельным словарем [см. 1]. Поэтому появление трехтомного фундаментального «Чакавско-немецкого словаря» (авторы первого тома — М. Храсте и П. Шимунович, редактор Р. Олеш; второй и третий тома созданы Р. Олешом и П. Шимуновичем) — большое событие в славистической научной жизни. Имена авторов известны нам по целому ряду крупных работ в области славянской диалектной лексики, ономастики и истории языка. Естественно, что читатели словаря ожидали от составителей академической точности подачи материала, хорошей обработки значений слов, полноты грамматических помет и форм, тщательной акцентировки в толкуемых словах, в их формах и при-

мерах, точной паспортизации и указания места записи и т. п., и они не обманулись в своих ожиданиях — все это присутствует в словаре. Но его составители и редактор поплы в поисках новых возможностей дальше и предложили, на наш взгляд, очень интересную форму лексикографической обработки и подачи дополнительного материала. Они сопроводили первый том, включающий в себя около 20 тыс. слов (707 с. словарного текста), вторым томом (253 с.), содержащим немецкий словарный регистр, и третьим томом (620 с.), в котором помещены тексты различного содержания, с различных территорий и различного времени полевой записи или написания. Три книги создают единое целое, единый комплексный источник для дальнейших исследований разного профиля и разной направленности — акцентологических, фонетических, морфологических, синтаксических и, конечно, лексикологических и этимологических.

Ценность чакавского акцентологического материала хорошо известна. При этом подача его довольно сложна из-за изменения в парадигме не только места, но и тона ударения. Поэтому составители дают в словарной статье помимо исходной формы номинатива у существительных и инфинитива у глаголов еще формы генитива ед. числа и презенса 1-го лица, как это можно видеть из статей *jaĝla* «игла» и *janot* «ехать верхом»: *jaĝiã, jaĝlê f lit igla* 1. «(Nah-Strick, Injektins-) Nadel» Prez *jaĝlê na môre se šit* (B). 2. «Längenmaß» *Zôjmî mi dvî jãgle kãna* (D). J 69, S. V → *jôĝla; jãhoť, jãsem ipf vn lit jahati, jašêm kreiten*) U nôs *jasu na mûlu al na tovaru* (B). J 78.

Недостающая в заглавном слове и в последующих за ней формах информация об акценте восполняется отчасти формами из иллюстративных примеров (*jaĝla, jaĝlê, dvî jãgle*). Эти же примеры служат важным источником, отражающим морфологосинтаксические и чисто синтаксические явления, вроде употребления кратких форм прилагательного в составе сказуемого (*Nisôn vrovu da je ti môli t ko ĝlûp* «Я не верил, что этот чалый так глух»), предлога *za* с инфинитивом в функции союза цели «что-

бы (*Dôj šaku prônite za užgât ogôj* В «Дай пук хвороста, чтобы разжечь огонь») и т. д. и т. п. Но наиболее ценным собранием синтаксических примеров оказываются, безусловно, тексты, о которых подробнее скажем ниже. Пока же отметим, что почти каждая словарная статья снабжена литературным штокавским лексическим эквивалентом, как это видно из приведенных выше примеров, а также параллелями из упомянутого словаря Б. Юришича (обозначено буквой *J*) и других лексикографических источников или ссылками на них (их общее число — 12).

Немецкий регистр слов (составители Р. Олеш и П. Шимунович) — любопытное новшество в двуязычной и диалектной лексикографии, дающее возможность читателю, знающему немецкий язык, быстро находить по определенному значению чакавские слова-эквиваленты и в то же время устанавливать синонимические ряды слов. Например, в немецком регистре слово *schreien* «орать, кричать» подано следующим образом: *schreien* 138, 270, 339 (360), 457 (459), 626, 642, 1064, 1078, 1257, 1323 (1324), 1339, 1381<sup>2</sup>; *nom. varb.* 139, 459; *aus vollem Halse* — 1323; *um die Wette* — 593; *viel* — 1049; *vor Wut* — *und auf den Boden stampfen* — 324; *wie ein Kuckuch* — 469;

На указанных страницах со значением «schreien» приводятся соответственно следующие глаголы, отглагольные существительные и фразеологизмы: *derât se, hlîpot, izburinat se, izrevât se, kredat, narevât se, revât, rovat, trîskot, vikât, vrîskot, zavikât, derône, krik*,  $\diamond$  *vikât na vâz glâs, nadvikat, razvikât se, istrepot se, kûkot*.

В чакавских говорах имеются древние и редкие соответствия с русской лексикой, которые не типичны для штокавского типа хорватско-сербского языка. Например, *rubit* 1: «шкурить, чистить, снимать кору, кожуру (с сосны, яблок и т. п.)»; 2. «окаляля подрубать»; *štrukût* «выдавить, выдавливать»; *štroknut* «уколоть»; *zibât* «колыхать, качать», *zibât se* «колыхаться, качаться»; *stînut* «стынуть (о погах и т. п.)». В числе синонимов к глаголу «орать, кричать» есть и чакав. *istrepot se* от \**trepot se* (ср. русск. глагол речи *тrepаться*), сопровождаемый живой иллюстрацией: *Zenû se je na mene is'trepola jer sen pogledo jednû drûgu žênsku* (В)

«Жена на меня накричала, потому что я посмотрел на другую женщину». Форма и значение чакавского глагола свидетельствуют о вероятной древности русского глагола *тrepаться*.

Особый интерес представляет третий том, содержащий хорошо собранные или подобранные и изданные тексты. Эти тексты охватывают более широкую языковую территорию, чем та, на которой был собран материал для первого и второго томов, т. е. для словаря и указателя. Записанные в поле и переданные фонетической транскрипцией тексты передают языковые особенности чакавских да (матинско-икавских) говоров (острова Брач, Хвар, Вис, Корчула и

юго-западная часть п.-ва Пелешац, Вргада, Шалта, гор. Сплит, острова у гор. Шибеника, Корнаты), далматинско-икавских (остров Ластово), чакавских икавско-икавских говоров (район гор. Задр, Хорватское Приморье, Кварнерские острова, материковые говоры Лики, Оточпа, Брини, района гор. Озаль и зоны Жумберка), истрийских (Кастав и Истрия), градишчанских (бургенландских) говоров и, наконец, речи чакавских иммигрантов в Америке. Перечисленные тексты занимают большую половину третьего тома (с. 1—378); все они акцентированы и собраны либо недавно (собратели П. Шимунович, М. Храсте, М. Бошкович-Стулли, Р. Видович, З. Вагнер, Л. Макс и др.), либо в 30-х годах нашего века и несколько раньше (записи М. Храсте, М. Московлевича, П. Тяяна и др.). Очень ценно, что тексты разнообразны по жанру и по тематике. Среди них много фольклорных записей — сказок, легенд, народных анекдотов и описаний народного быта, трудовой деятельности. Целиком перепечатана и одна из ранних записей чакавской речи и фольклора с акцентовой А. Белича, опубликованная в его статье «Заметки по чакавским говорам» [2].

Отдельными, пятым, раздел третьего тома занимают стихи и несколько прозаических произведений чакавских поэтов и писателей XX в. Это — небольшая, в основном акцентированная антология региональной чакавской литературы, представленная такими известными именами, как М. Франевич, В. Назор, Д. Иваншиевич, Ш. Вучетич Н. Бонифачич-Рокин и др. Она дает возможность установить соотношение чакавской диалектной устной и народно-поэтической речи, с одной стороны, и региональной «литературно-поэтической», с другой. Но так как чакавская региональная литература имеет свои глубины, многовековые корни, то составители третьего тома проф. П. Шимунович и проф. Р. Олеш включили в него несколько исторических текстов со словарем (с. 431—554): древнейший хорватский глаголический памятник 1100 г. — надпись на каменной плите из Башки, что на острове Крк (Bašćanska ploča), кириллические листки-выписки из юридических документов 1250 г. с острова Брача, доминиканский устав, писанный латиницей (*Red i zakon*) 1345 г. из гор. Задра, и довольно объемистую глаголическую межевую книгу (*Istarski razvod*) 1325 г. из Истрии, как и все другие исторические тексты, в латинской транслитерации.

Таким образом, третий том охватывает все чакавские говоры вплоть до переселенческих и иммиграционных, в то время как первый том и, соответственно, второй содержат материал, собранный на ограниченной территории, а именно на островах Брач, Хвар и Вис (52 населенных пункта), т. е. трех крупных островов, расположенных в Средней Далмации южнее гор. Сплита. Уместно вспомнить, что именно в этой зоне, на этих островах зарождалась в XVI в. литература сла-

вянского Ренессанса на Адриатике, светская чакавская литература, давшая таких ярких представителей, как Марко Марулич (из Сплита), Ганибал Лудич, Петр Гекторович, Микша Пелегринович и Мартин Бенетович (с Хвара). Поэтому словарь и материалы, приложенные к нему, послужат незаменимым пособием для исследователей чакавского литературного языка XVI в. и для языка хорватских писателей раннего Ренессанса. Третий том содержит также богатую библиографию по чакавским диалектам и словарь к чакавским текстам.

Такая же весьма удачная, но более скромная и по объему, и по исполнению попытка сочетать областной словарь с диалектными текстами сделана авторами полесского Туровского словаря [3]. Белорусским ученым также принадлежит честь создания первой послевоенной диалектологической хрестоматии [4], за которой последовали фундаментальные чешская, украинская и новая белорусская хрестоматии [5—7]. У поляков вышло в свет несколько областных диалектных хрестоматий, но у южных славян таких изданий до сих пор не было. Чакавская хрестоматия, т. е. третий том рецензируемого словаря, — первое издание такого рода, однако оно по объему полнее всех упомянутых выше книг, к тому же содержит еще и исторический материал.

Авторитетная, завоевавшая международное признание серия «Славистических исследований» («Slavistische Forschungen»), созданная и редактируемая проф. Рейнгольдом Олешом, известным исследователем полабских памятников, польских диалектов и славянских языков, пополнилась трехтомником, без которого будет трудно обходиться не только специалисту по южнославянским языкам, но и слависту вообще.

Толстой Н. П.

## ЛИТЕРАТУРА

1. *Jurišić B.* Rječnik govora otoka Vrgade. Knj. I — II. Zagreb, 1966, 1971.
2. *Белич А.* Заметки по чакавским говорам. — ИОРЯС, 1909. Т. XIV, кн. 2.
3. *Крывіцкі А. А., Цыхун Г. А., Яшкін Я. Я.* Тураўскі слоўнік. Т. 1—3. А — О. Мінск, 1982—1984.
4. Хрестоматія па беларускай дыялекталогіі. Мінск, 1962.
5. *Ceské nářeční texty.* Praha, 1976.
6. *Говори української мови. Збірник текстів.* Київ, 1977.
7. *Мяцельская Е. С., Камароўскі Я. М.* Беларуская дыялекталогія. Хрэстаматія. Мінск, 1979.

**Шадури Т. И.** *Общее языкознание.* — Тбилиси: Ганатлеба, 1983, 490 с.

Общее языкознание изучается во всех вузах союзных и автономных республик нашей страны. Этот факт вызывает необходимость создания вариантов учебников и учебных пособий с учетом родного языка учащихся. Такая работа ведется во всех республиках, и в частности — в Грузинской ССР [ср. 1, 2].

В рецензируемом учебном пособии Т. И. Шадури освещаются программные вопросы данной учебной дисциплины. В книге, кроме того, «сообщаются некоторые сведения из истории изучения грузинского языка, делаются ссылки на исследования грузинских ученых, приводятся примеры из русского и грузинского языков, отдельные русско-грузинские параллели» (с. 3). Пособие состоит из трех частей: в первой излагается история языкознания, во второй говорится о внешней и внутренней структуре языка, в третьей части — освещаются методы лингвистических исследований.

Первая часть книги состоит из двух глав, первая из которых посвящена собственно истории языкознания, а вторая — характеристике основных направлений современного языкознания. Во второй главе, в частности, говорится о неограмматизме (этим термин объединяются Московская, Казанская, Же-

невская и Парижская лингвистические школы), о школе «слов и вещей», об учении К. Фослера, о неогумбольдтианских концепциях в зарубежной лингвистике (Э. Сепир, Л. Вайсгербер, итальянская неолингвистика), о структурализме (Пражская и Копенгагенская школы, американская дескриптивная лингвистика). Завершается глава краткой характеристикой советского языкознания; среди крупнейших теоретиков общего языкознания, работавших в Грузии, автор называет имена: Г. С. Ахвледиани, А. Г. Шанидзе, А. С. Чикобава.

Вторая часть книги состоит из четырех глав. В первой главе «Социолингвистика. Вопросы социологии языка» (с. 162—187) автор рассматривает соотношение языка и общественно-экономических формаций, языковые контакты, соотношение языка, сознания и культуры, а также методы социолингвистики и языковое планирование. В небольшой второй главе говорится о психологии речи (психолингвистике), а в третьей — о знаковой природе языка. Четвертая глава — самая большая (с. 199—301); она посвящена внутренней структуре языка — основным единицам каждого уровня структуры языка: фонеме, морфеме, лексеме и синтаксеме (предложению). В рамках учения

о фонеме излагаются взгляды И. А. Бодуэна де Куртенэ и Н. С. Трубецкого, представителей Ленинградской и Московской фонологических школ. Развитие фонетической школы в Грузии связано с именем Г. С. Ахвледиаки. В пособии представлена система фонем русского языка, дан сопоставительный анализ фонологических систем русского и грузинского языков. Завершается глава рассмотрением вопросов фонотактики и определением слога как минимальной произносительной единицы речи.

Центральным понятием грамматики (морфологии и синтаксиса) является понятие грамматической категории и ее конститuentов — грамматической формы и грамматического значения. Эти понятия освещаются на основе работ А. А. Потемни и А. А. Шахматова, А. М. Пешковского, Ф. Ф. Фортунатова. Т. Н. Шадури, подчеркивая связь грамматической формы и грамматического содержания, обращает внимание на валентность как структурную особенность единиц языка, а также на пропорциональный характер грамматической категории.

Отграничив морфологию от морфемики, автор более подробно освещает вопросы морфемики и бегло морфотактику в рамках дескриптивной лингвистики. В пособии говорится также о словосочетании, предложении и сложном синтаксическом целом, синтагме и синтагматике, конфигурации, парадигме предложения, о конструктивном и коммуникативном (логическом) его членении.

В отдельный параграф выделено рассмотрение лексемы и лексико-семантической системы языка. Лексема как основная единица уровня — двусторонняя: единица она объединяет лекс, семантему (тип лексического значения) и категорию (грамматико-категориальные значения). Так как слово многоаспектно, его можно изучать с разных сторон. В системе языка слова находятся в синтагматических, парадигматических, иерархических отношениях; в речи слово-лексема употребляется в одном из лексико-семантических вариантов.

Третья часть книги характеризует методику сравнительно-исторического, типологического, лингвогеографического и описательного языкознания. Сравнительно-историческая проблематика и методика ее исследования показывается на материале индоевропейских языков, в частности, славянских. В главе о типологическом изучении языков рассказывается о классификации языков, универсалиях, языке-эталоне, сопоставительной грамматике, характерологии и типологии — содер-

жательной (контенсивной), структурной (формальной) и функциональной. Подробнее других рассматриваются методы синхронного описания языка — дистрибутивная методика (особенно на уровне морфем), анализ по НС, трансформационная методика (в связи с проблематикой порождающей грамматики), теория полей, применение в языкознании гипотетико-дедуктивных и количественных методов доказательств.

Рецензируемое пособие относится к типу расширенного: в нем обсуждаются многие вопросы, содержится обширная библиография, включая некоторые специальные статьи последних лет. Весьма велика, однако, и потребность в таких пособиях, в которых содержался бы не только калейдоскоп имен и проблем, но и строгий отбор их, подробный рассказ о выдающихся языковедах (например, Л. В. Щербе, И. И. Мещанинове, В. В. Виноградове, Г. С. Ахвледиаки, А. С. Чикобава). Такие проблемы, как, например, язык и культура, языковое строительство в СССР, в том числе в Грузии, заслуживают более углубленного рассмотрения. Это не снимает, однако, потребности в пособиях расширенного типа, в частности, хрестоматий (ср. [2], где содержатся полезные задания, упражнения и вопросы по общему языкознанию).

К недостаткам рецензируемой книги можно отнести неоправданное, на наш взгляд, выдвижение на передний план историографической и методической проблематики; именно этим объясняется, что в пособии недостаточно подробно и глубоко рассматриваются вопросы социологии языка и некоторые другие проблемы общего языкознания. Пособие перегружено терминологией и именами.

Заключая рецензию, хочется отметить положительную деятельность издательства «Ганатлеба» по подготовке учебных пособий по языкознанию. Что же касается пособия Т. Н. Шадури, то оно написано на высоком теоретическом и профессиональном уровне и должно быть переиздано (конечно, с учетом тех новых требований, которые сейчас предъявляются к учебникам, учебным пособиям, учебным словарям).

*Кодузов В. И.*

## ЛИТЕРАТУРА

1. Введение в языкознание. Под ред. Ахвледиаки Г. С. Тбилиси, 1972 (на груз. яз.).
2. Шадури Т. Н. Практикум по общему языкознанию. Тбилиси, 1976.

Отрицание в языке — одна из важнейших проблем общего языкознания, прежде всего в плане соотношения формы и содержания, структуры предложения и выражаемой им мысли. Хотя отрицание всегда находилось в центре внимания формальной логики и лингвистики, эта проблема исследована все еще недостаточно. Более того, в отечественной и зарубежной лингвистике нет монографического исследования, в котором к анализу отрицания как языковой универсалии был бы применен логико-грамматический подход. Именно этот пробел в определенной мере восполняет рецензируемая монография.

Книга состоит из Введения, трех глав и Заключения.

В первой главе «Основные концепции логико-грамматической категории отрицания» (с. 6—78) подвергнуты критическому анализу основные логико-философские (раздел «Отрицание в формальной логике») и лингвистические (раздел «Отрицание в лингвистике») концепции отрицания. В разделе «Отрицание в формальной логике» критические рассматриваются различные логические концепции отрицания. Согласно концепции «особой отрицательной реальности», отрицательные суждения свидетельствуют о небытии. С точки зрения концепции «реальности, отличной от данной», истинные отрицательные суждения говорят о мире положительных фактов, но делают это не прямо, а косвенным образом, отражая не собственные свойства отдельных вещей, а их отношение к другим вещам (отношение различия, отношение несовместимости). Сторонники теории отрицания как «полагания мыслимого реально не существующим» небытие признавали объективно, но оно понималось не как «чистое небытие», а как небытие одного в бытии другого, т. е. как инобытие. Сторонники отрицания как «преодоления ложного знания» обнаруживают субъективно-идеалистический взгляд на природу логических форм, законов и категорий, рассматривая их не как отражение объективного в субъективном, а лишь как продукт «чистого» мышления (отрицание существует только в мыслях, суждение — это только суждение о суждении). В «психологической концепции отрицания» утверждение и отрицание суть параллельные выражения одобрения и неодобрения субъектом мыслимого содержания. Сторонники «содержательной концепции отрицания», преобладающей в материалистической формальной логике, рассматривают отрицание как элемент смысла суждения, имеющий объективное основание. В формальной логике принято семантическое определение отрицания в терминах истины и лжи: отрицание истинного суждения есть ложь, а отрицание ложного — есть истина. Отрицание в математической логике есть одна из основных логических операций, которая применяется 1) к суждению в целом и 2) к понятию как составному элементу высказывания. В первом случае отрицание

употребляется для опровержения суждения, во втором случае (в логике предикатов) — для выражения отсутствия у субъекта какого-либо признака.

Рассмотрев различные концепции логического отрицания, автор приходит к выводу, что в философской и логической литературе нет общепринятого, последовательного ответа на вопрос о сущности отрицания. По мнению автора, логические операторы отрицания отображают категориальный аппарат человеческого мышления. Как и другие логические формы и категории, они отражают наиболее общие отношения и структуры самого объективного мира, которые миллиарды раз воспроизводятся в деятельности людей, а затем закрепляются в виде определенных фигур логики. В силу этого они имеют аксиоматический характер. Не является исключением и формально-логическое отрицание: оно тоже есть отражение действительности (реального отсутствия чего-то) и имеет весьма абстрактное формальное содержание. Отрицание — одна из фундаментальных категорий формальной логики, это — субъективный образ объективного мира. В содержательном плане отрицание имеет соответствующие онтологические аналоги — такие свойства объективного мира, как инобытие, различие и др.

В разделе «Отрицание в лингвистике» рассматриваются различные концепции отрицания в лингвистике. В «психологической концепции отрицания» отрицание рассматривается в духе психологизма — как чисто субъективное проявление человеческой психики. В «прагматической концепции отрицания» в отрицании видят явление внутриязыковое: это — коммуникативная операция, отклоняющая или корректирующая мнение адресата. Из того верного факта, что отрицания как такового в самой действительности нет, делается ошибочный вывод, будто отрицание есть чисто лингвистическая категория, ничего не говорящая о положении дел в самой действительности. Сторонники «концепции отрицания как выражения отсутствия объективной связи» рассматривают отрицание как языковую категорию, служащую средством негативных связей между понятиями. Категория отрицания выражает не языковое значение, а является формой выражения отрицательного суждения, отражающего отрицательные связи действительности. Представители «концепции отрицания как выражения объективной разединенности» рассматривают отрицание как грамматическую категорию, которая выражает некую смысловую разединенность между членами предложения и соответствует разединенности чего-то в самой действительности. В «концепции особой отрицательной модальности» отрицание (противопоставляемое утверждению) рассматривается как основная форма модальности, но не как объективная категория, имеющая определенный онтологический аналог, а как чисто субъективная, оценочная категория. Включение отрицания в категорию

модальности происходит в силу того, что модальность ошибочно понимается как некая всеобъемлющая категория, в которой отсутствует единый *principium divisiōnis*.

Рассмотрев различные концепции отрицания в лингвистике, автор приходит к следующим выводам. Психологическая и прагматическая концепции отрицания представляются несостоятельными, поскольку в них не признается детерминированность отрицания объективной действительностью: отрицание — это либо чистый продукт психики человека, либо только внутриязыковая функция — выражение мнения говорящего о чьей-либо мысли. Для автора неприемлемо безоговорочно и концепция отрицания как выражения объективной раздвоенности: нельзя рассматривать в качестве референта отрицания некую раздвоенность. Неверной автор считает и интерпретацию отрицания как особых форм модальности и предикативности. Включение отрицания в число бесспорно модальных значений связано с неоправданно широким пониманием самой категории модальности. Предикативность же как отнесенность содержания всего предложения к действительности не зависит от формы (положительной или отрицательной) данного предложения. По мнению автора, заслуживает внимания концепция отрицания как выражения отсутствия объективной связи. Однако в качестве денотата отрицания следует рассматривать именно отсутствие данного, определенного вида связей в самой действительности, а не просто объективные связи. Семантика утверждения и отрицания — логическое свойство предложения-суждения. Но она одновременно является и грамматическим свойством предложения.

Автор, безусловно, прав, что формально-логическое и языковое отрицание по смыслу сопоставимы, но отнюдь не идентичны (они могут не совпадать). В качестве примера автор приводит слова *слепой* и *глухой*, в которых грамматика, в отличие от логики, не усматривает никакого отрицания. С точки зрения логики в них, по мнению автора, выражено отсутствие, лишённость зрения и слуха, т. е. отрицание. Нам представляется, что с точки зрения логики в этих словах может быть отражено и утверждение, и отрицание. Все зависит от того, в состав каких модусов включены суждения данными словами: на фоне одних суждений, образуя с ними логическое умозаключение, суждения с этими словами могут иметь отрицательный смысл, на фоне же других суждений — утвердительный смысл. Критерием распознавания «отрицательности» или «положительности» в этих словах служит правильное построение соответствующего модуса. Говоря о положительной семантике отрицательных по форме предложений, автор приводит примеры, которые, с нашей точки зрения, вовсе не имеют «положительной семантики»: *Не опоздать бы на поезд* (= *Я не должен опоздать на поезд*), *По газонам не ходить* (= *Я не должен ходить по газонам*).

В о в т о р о й главе «Средства выраже-

ния отрицания. Усиление отрицания. Об отрицании отрицания» (с. 79—140) рассматриваются типичные способы выражения отрицания, средства усиления отрицания, функции двойного отрицания, в разных языках, некоторые общие тенденции развития и становления отрицаний. Одним из самых распространенных синтетических способов выражения отрицания во многих и-е. языках являются отрицательные аффиксы типа русск. *не-, ни-, без-*. Автор описывает отрицательные аффиксы, возможности их сочетаемости с различными частями речи, их дифференциацию по частям речи в разносистемных языках. Наиболее распространенным средством аналитического грамматического выражения отрицания в языках разных типов являются отрицательные частицы. При этом одни из них употребляются только с глаголами, другие — только с именами, третьи — и с теми, и с другими. В качестве средств выражения отрицания могут выступать отрицательные местоимения (*никто, некого, нечего*) и наречия (*нигде, никогда*). Средствами отрицания служат служебные глаголы, союзы, предлоги (последние). В том или ином языке отрицание может быть выражено и неявным образом — имплицитно, в составе отдельной положительной словоформы или же целой синтаксической конструкции. К лексическим средствам имплицитного выражения отрицания относятся некоторые слова, словосочетания и фразеологические обороты с отрицательной семантикой (русск. *нет, нельзя*). Для синтаксиса русской разговорной речи характерно использование утвердительных по форме предложений в функции отрицательных: ср. русск. *Стану (буду) я читать!* Отрицание может имплицитно содержаться в вопросительном по форме предложении *Да разве это ответ?* Скрытое отрицание способны выражать предложения типа *До шутки ли ему?* Раскрывая особенность положительной семантики отрицательных по форме предложений, автор отмечает несовпадение в них плана выражения и плана содержания. Такое несовпадение проявляется в том, что отрицательное по форме предложение может передавать утвердительное значение и, наоборот, предложение положительное (без отрицательных средств) способно выражать отрицание (т. е. имплицитное отрицание): *Разве я не говорил тебе об этом?* Побудительные предложения с отрицаниями, как считает автор, выражая значения «предупреждения», «угрозы», не содержат в себе отрицания. Думается, что это ошибка, т. к. такие предложения имеют явно отрицательное значение: *Не опаздывай на лекции!* = *Ты не должен опаздывать на лекции*. К средствам усиления отрицания автор относит наречия меры и степени, указывающие на высокую степень интенсивности признака (*очень, совсем, вовсе, отнюдь, далеко, совершенно, абсолютно, решительно*). Анализируя случаи «отрицания отрицания», автор пишет, что в количественном отношении отрицание может быть однократным, двукратным и многократным. К двукратным отрицаниям автор относит: 1) сочетание отрицательной частицы *не*

с префиксом *без-*(*бес-*), 2) предложения со словом *нет* и предлогом *без*, 3) предложения, где имеется префикс *небез-*. Утверждение и двойное отрицание тождественны друг другу, закон двойного отрицания может рассматриваться как своеобразная модификация другого логического закона — закона тождества. Говоря об «отрицании отрицания» как о логическом средстве выражения утверждения, автор пишет и о таких двойных отрицаниях, которые, с нашей точки зрения, уже не являются «отрицанием отрицания» (*Он ничего не сказал = Он не сказал*). Подводя итоги анализа средств выражения отрицания, автор пишет, что отрицание как языковая универсалия, в отличие от своего противочлена — утверждения, характеризуется нулевым показателем в языке, выражается разнообразными лексическими, морфологическими, синтаксическими и фонетическими средствами.

В третьей главе «Роль отрицания в конституировании структуры предложения и выражаемой им мысли» (с. 141—191), занимающей главенствующее положение в монографии, исследуется функционирование отрицания на синтаксическом и логико-грамматическом уровнях членения предложения и на соответствующих им уровнях структуры суждения. Впервые эта проблема была поставлена и исследована на материале русского языка В. З. Панфиловым [1]. В. Н. Бондаренко исследует эту проблему на материале более широкого круга языков. В разделе «Концепция „общего“ и „частного“ отрицания» автор выражает несогласие с традиционной концепцией, согласно которой отрицательные предложения делятся на «общеотрицательные» и «частноотрицательные». Эта концепция, идущая от А. И. Томпсона и А. М. Пешковского, противоречива и представляется необоснованной главным образом потому, что указанное деление произвольно заимствовано из формальной логики и в то же время принципиально отличается от общепринятой в логике классификации суждений по качеству и количеству. Поэтому, полагает автор, концепция «общего» и «частного» отрицания не просто нуждается в уточнении, в каких-то частных поправках, как считают некоторые лингвисты, а должна быть заменена кардинально новым подходом. Таковым является исследование функционирования отрицания на двух уровнях структуры одного и того же предложения — синтаксическом и логико-грамматическом.

Рассматривая роль отрицания в конституировании структуры предложения на двух указанных уровнях, автор опирается на теорию логико-грамматического членения предложения, разработанную В. З. Панфиловым [2]. Согласно этой концепции существует два уровня структуры суждения: структура суждения как пропозициональная, логическая функция и как субъектно-предикатная структура. Исследовав роль отрицания в конституировании структуры предложения на двух уровнях (синтаксическом и логико-грамматическом) его членения, автор показывает роль отрицания в квалификации суж-

дений по качеству. Отрицательным по качеству будет только то суждение, оба уровня структуры которого совпадают, т. е. такое суждение выражается предложением, в котором синтаксический и логико-грамматический уровни членения тоже совпадают (ср.: *Брат не ходил вчера в библиотеку*, что с точки зрения логики можно интерпретировать как «*Брат не есть ходивший вчера в библиотеку*»). На этой основе автор формулирует общие правила.

В разделе «Функционирование отрицания на синтаксическом и логико-грамматическом уровнях членения предложения» автор рассматривает некоторые конкретные случаи функционирования отрицания на двух уровнях структуры предложения, его связь с логико-грамматическим членением и с семантикой предложения. Такие пары предложений, как 1) *Дорога отнимает не более двух часов — Дорога не отнимает более двух часов*, 2) *Он был не грустен — Он не был грустен* не могут считаться семантическими синонимами, ибо у них разное логико-грамматическое членение: в первых предложениях каждой пары имеет место расхождение синтаксического и логико-грамматического уровней, а во вторых предложениях каждой пары эти уровни совпадают.

Рассмотрев различные аспекты «поведения» отрицательных средств в структуре предложения на двух его уровнях — синтаксическом и логико-грамматическом, — автор приходит к выводу, что отрицание является «структурно-семантическим модификатором» лексического значения и синтаксической структуры предложения. Как модификатор лексического значения отрицание служит для образования слов, выражающих контрадикторные (противоречащие) и контрарные (противоположные) понятия. Как модификатор синтаксической структуры предложения отрицание функционирует следующим образом: предложение с отрицанием в разных его позициях — это вариантная структура того же универсального предложения с известным смысловым приращением. Предложение с отрицанием находится в регулярном отношении и в той или иной степени близости к первичной модели, сохраняя тождество модели и типового значения. В Заключении (с. 192—200) излагаются общие выводы. Завершается монография списком использованной и цитированной литературы.

Подводя итоги анализа монографии, необходимо отметить следующее:

1) Автору удалось убедительно показать, что утверждение и отрицание стоят в ином ряду, чем такие категории мышления (и диалектики), как качество и количество, пространство и время, причина и следствие. Вряд ли кто-либо станет оспаривать, что отрицание есть компонент мысли и предложения, выражающего данную мысль. Не случайно отрицание является в равной мере объектом исследования языковедения и формальной логики. В логике отрицательное суждение — это форма отражения определенного реального отношения и форма выра-

жения знания о ложности мысли. Поскольку качество суждения (утвердительные и отрицательные) имеет определенное онтологическое основание, то утвердительные и отрицательные суждения — равноправные формы отражения действительности. Одни и те же предметы и их признаки могут быть отражены в содержании суждения как в утвердительной, так и в отрицательной форме. Поэтому без изменения смысла утвердительное суждение может быть грамматически преобразовано в отрицательное и наоборот (*Я не уезжаю* = *Я остаюсь*).

2) Автор остановился «на пороге» практической реализации этой теории: теперь необходима массовая обработка эмпирического материала с точки зрения соотношения средств выражения отрицания в естественном языке и в логике. С другой стороны, эмпирический анализ отрицаний с точки зрения языка и логики мышления мог бы пролить дополнительный свет на теорию, постулируемую в рецензируемой монографии. Как показывает опыт анализа отрицаний на стыке языка и логики мышления, естественный язык, репрезентируя логические модусы, для выражения утвердительных суждений часто использует отрицательные средства, а для построения отрицательных суждений избегает отрицательных слов. Естественный язык, обладая богатством и разнообразием форм выражения отрицания и утверждения, использует их по своей «прихоти», иногда одно вместо другого, однако всегда совершенно точно

и однозначно выражая или отрицание, или утверждение, в полном соответствии с правилами каждого логического модуса.

3) Будучи формально-языковым средством, отрицание употребляется для образования слов, выражающих противоположные отношения, которые выступают логической основой антонимии (день *жаркий* — день *нежаркий*). Тем самым открыт путь к исследованию логико-грамматической сущности антонимии: какова конкретная система антонимических отношений в естественном языке на уровне слов, на уровне предложений.

Думается, что рецензируемая монография привлечет внимание лингвистов и логиков. Она не только способствует углублению наших знаний по затронутым в ней вопросам, но и непосредственно подводит лингвистов к необходимости массового исследования средств выражения отрицания в естественном языке с точки зрения соотношения языка и логики мышления.

Кривоносов А. Т.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Панфилов В. З. Отрицание и его роль в конституировании структуры простого предложения и суждения. — ВЯ, 1982, № 2.
2. Панфилов В. З. Взаимоотношение языка и мышления, М., 1971, с. 138—166.

**Типология результативных конструкций (результатив, стative, пассив, перфект).** Под ред. В. П. Недялкова. — Л.: Наука, 1983, 255 с.

Рецензируемая коллективная монография, подготовленная в секторе теории грамматики и типологического изучения языков ЛО Института языкознания АН СССР, продолжает серию публикаций, которые принесли ленинградской типологической школе заслуженную известность [1, 2]. Предметом описания на этот раз стали глагольные формы, обозначающие состояние, которое возникает или может возникать как результат предшествующего действия. В лингвистической литературе такие формы, известные под названиями «результатив», «статальный перфект», «статальный пассив», «(морфологический) стative».

Большая часть монографии посвящена соотношению форм и значений результатива, стative, пассива и перфекта в конкретных языках: китайском (С. Е. Яхонтов), пивхском (В. П. Недялков, Г. А. Отанна), монгольском (Г. Дугарова, Н. С. Яхонтова), эскимосском (Н. Б. Вахтин), чукотском (В. П. Недялков, П. И. Шизликей, В. Г. Рахтилин), арчинском (А. Е. Кибрик), узбекском (Д. М. Насилов), эвенкийском (И. В. Недялков, В. П. Недялков), грузинском (М. В. Мачавариани), гомеров-

ском древнегреческом (И. А. Перельмутер), литературном русском (Ю. П. Князев), литовском (Э. Ш. Генюшене, В. П. Недялков), арабском (В. С. Храковский), индонезийском (Агус Салим, А. К. Оглоблин), немецком (В. П. Недялков), норвежском (В. П. Берков), армянском (Н. А. Козинцева), русских говорах (В. И. Трубинский), финском (А. П. Володин), фула (А. И. Коваль, Б. А. Нялибули). В начале монографии помещены три теоретические главы, в первой из которых В. П. Недялков, С. Е. Яхонтов) разъясняются исходные термины и понятия, перечисляются подлежащие освещению вопросы и формулируется ряд типологических обобщений. Во второй главе (Ю. С. Маслов) рассматривается место результатива в ряду других категорий общей аспектологии, соотношение результатива с формами перфекта и пассива в синхронии и диахронии. В третьей главе (Г. Г. Сильницкий) предлагается семантический аппарат, позволяющий наглядно представить смысловую структуру таких категорий, как стative, процессив, каузатив, декаузатив и результатив.

Под термином «результатив» авторы

объединяют все глагольные формы со значением состояния, образованные регулярным грамматическим способом от глаголов, обозначающих перфективное действие, способное приводить к такому состоянию, ср. (1а) *Его уволили* — (1б) *Он уволен*, (2а) *Он простудился* — (2б) *Он простужен*. Если в значении формы типа (б) входит указание на то, что состояние вызвано предшествующим действием, такая форма называется «собственно результативом». Но формы, регулярно образованные от глаголов действия, могут обозначать только состояния независимо от того, вызваны они соответствующим действием или нет. Так, из (3а) *Точка расположена на отрезке АВ* не обязательно следует (3б) *Точку расположили на отрезке АВ* или (3в) *Точка расположилась на отрезке АВ*. Такие формы называются «стативами». В ряде языков (китайский, монгольский, чукотский, узбекский) у результативов (в широком смысле) преобладает стативное значение, в некоторых языках доминирует собственно результативное значение (нивхский, эскимосский, арчинский). Есть языки, где собственно результативы и стативы образуются различными способами и характеризуются различной степенью продуктивности.

По семантике результативы дополнительно делятся на два типа. Конкретно-результативное значение имеют формы, обозначающие непосредственно наблюдаемые состояния, которые «...могут быть в принципе описаны без ссылки на соответствующее действие» (с. 24), ср. «привязан» = «на привязи», «расположен» — «находится». Из материалов монографии следует, что между конкретно-результативным и стативным значениями существует положительная корреляция: существование стативов обозначает наблюдаемые состояния. Но обратная импликация для трех упомянутых выше языков (нивхского, эскимосского, арчинского) оказывается неверной: несмотря на то, что все или большинство результативов в них обозначают наблюдаемые состояния, все они являются собственно результативами.

Общезначимое значение имеют формы, обозначающие непосредственно не наблюдаемые состояния, которые к тому же обязательно содержат ссылку на предшествующее действие: нельзя сказать, что некто «уволен» или нечто «украдено», не утверждая в то же время, что его «уволнили» или «украли», т. е. такие результативы являются собственно результативами, а не стативами.

Эти тонко подмеченные различия позволили провести нетривиальную типологическую классификацию языков и сформулировать ряд универсальных импликаций: например, если в языке есть формы с общезначимым значением, то в нем есть и формы с конкретно-результативным значением, но обратное неверно.

Можно, однако, заметить, что несомненную положительную корреляцию между ненаблюдаемостью состояния и обязательностью указания на предшествующее действие вряд ли следовало счи-

тать стопроцентной, вводя ее в определение общезначимого значения. При таком подходе за пределами классификации оказываются такие явные стативы как «принято (об обычаях и т. п.)», «оправдано (о решении)», «скрыт», «убежден» и т. п., обозначающие состояния, которые едва ли можно считать наблюдаемыми.

Результативы классифицируются также по диатезным типам, основные из которых — субъектный, объектный и посессивный. Подлежащее субъектного результатива идентично по семантической роли подлежащему производящего интранзитива: (4а) *Он растерялся* — (4б) *Он растерян*. В таком же соотношении находятся подлежащее объектного результатива и прямое дополнение производящего транзитива: (5а) *Он оставлен* следует из (5б) *Его оставили*, но не из (5в) *Он остался*. Двудиазетный результатив объединяет свойства обоих типов: (6а) *Он одет* — (6б) *Он оделся* или (6в) *Его одели*.

Посессивный результатив — это не что иное, как субъектный результатив, образованный от транзитива. Большой заслугой авторов рецензируемой монографии является не только введение данного понятия в лингвистический обиход, но и выделение ряда специфических особенностей этого типа результатива, с большим постоянством проявляющихся в самых различных языках. Термин «посессивный», как и всякий термин, конечно условен, но он хорошо отражает тот факт, что центральное место среди предикатов, образующих данный тип результатива, занимают предикаты, выражающие посессивные или партитивные отношения между субъектом и объектом результативной конструкции (ср. русск. диалектн. (7) *Он деньги получивши*).

Принято считать, что в «канонической» транзитивной ситуации изменяется прежде всего состояние объекта, но не субъекта. Однако не подлежит сомнению, что после совершения действия что-то меняется и для субъекта, и только конкретная прагматика данного речевого акта может определить, состояние какого из партиципантов наиболее существенно. Ясно, например, что в следующем примере речь идет именно о состоянии «быть убийцей», а не о состоянии «быть убитым»: (8) *Убив на пединке друга, / Дожив без цели, без трудов / До двадцати шести годов, / Томясь в бездействии досуга / Без службы, без жены, без дел, / Ничем заняться не умел»* (А. С. Пушкин, Евгений Онегин). Загадка посессивного результатива как раз и заключается в его относительно малой распространенности и семантической ограниченности его лексической базы. Замечание А. Е. Кибрика (с. 113) о естественности такого положения вещей, несомненно, справедливо, но пока не существует теории, которая предсказывала бы повсеместное отсутствие результативов со значением \* «быть убившим», в отличие, например, от форм со значением \* «быть надевшим (шляпу)». То, что такая теория должна учитывать прагматический уровень, подтверждается тем, что в самых разных языках ве-

роятность употребления результата возрастает во второстепенных и зависимых предикативных конструкциях. Так, в китайском (с. 73) есть результаты от транзитивов, которые в функции второстепенного сказуемого могут сохранять исходную транзитивную диатезу, хотя их значения («зажечь», «расстелить») нехарактерны для посессивного результата. В нивхском языке результаты употребляются преимущественно в обстоятельственной и атрибутивной, а не в предикативной функции (с. 88—89). Ограничения на образование результатов с транзитивной диатезой, возможно, объясняются противоречием, возникающим между стательным значением результата и тем, что транзитивная диатеза (по крайней мере в пределах главной предикации) типично связана с обозначением активных действий. Смена диатезы при образовании результата от транзитивов это противоречие устраняет.

В книге отмечены имплицитивные зависимости между диатезными типами результатов: посессивный результат имплицитирует наличие субъектного, а субъектный — наличие объектного (с. 17). К первому утверждению исключением является индонезийский язык, где есть морфологический объектный и посессивный результаты (последний, правда, всего у двух глаголов), но нет субъектного (с. 176). Можно заметить, что объектный результат имплицитируется также наличием адресатного и/или локативного результата. На фоне этих импликаций кажется неожиданным то, что в нивхском языке наиболее частотен в текстах посессивный результат, а в армянском — субъектный; в фула субъектный статив продуктивнее и, видимо, также частотнее в текстах, чем объектный. Интересно, что в двух последних языках форма объектного результата содержит еще и показатель пассива или медиа. В языках, где субъектный результат непродуктивен или отсутствует, посессивный результат также редок или не существует (в такой форме это утверждение справедливо и для индонезийского языка). Обратное часто неверно: при малопродуктивном посессивном результате, субъектный может быть высокопродуктивным (северозападные русские говоры, чукотский, фула).

Очень большое внимание в книге уделяется разграничению результата и смежных категорий, в первую очередь перфекта и пассива. Это вполне естественно, тем более, что, пожалуй, в большинстве привлеченных к сравнению языков особая категория результата впервые выделена именно в данной работе. Позицию авторов можно вкратце резюмировать так: результат указывает на определенное состояние, которое возникло или могло бы возникнуть после завершения некоторого действия; перфект и некоторые формы пассива указывают на определенное действие, которое привело к возникновению некоторого состояния. Кроме того, в книге задается универсальный набор критериев для различения перфекта и результата; в частности, обстоятельства действительности (*весь день, все*

*еще и т. п.*) типичны при результате, но плохо сочетаются с перфектом, обстоятельства момента при перфекте указывают на время действия, при результате — на время обнаружения состояния (с. 12—13), ср.: (9) *Вчера и сегодня с утра магазин был закрыт* (состояние), но *я не знаю, когда он был закрыт* (действие).

Представляется, однако, что в книге недостаточно подчеркнута то, что отношения «результат — перфект» и «объектный результат — пассив» являются принципиально разноплановыми (об этом говорится лишь вскользь на с. 13). Всякая «спорная» словоформа в конкретном употреблении является результатом в той мере, в которой она не является перфектом, и наоборот (в противном случае эта форма имеет две альтернативные — хотя и очень близкие — интерпретации). Но если некоторая форма имеет пассивную диатезу (т. е. подразумевает существование агенса, который, однако, не может быть выражен подлежащим или вообще не может быть выражен), то она по определению [3, с. 285] является пассивом, независимо от наличия или отсутствия у нее тех или иных аспектуальных значений, в том числе результативного. И наоборот, форма с результативным значением является результатом независимо от того, какую диатезу она имеет. Здесь может быть поставлен совершенно другой вопрос: является ли диатеза данного глагола пассивной (т. е. сохраняющей семантическую валентность на агенса, ср.: *ставит/быть поставленным*) или же декаузативной (т. е. не сохраняющей такой валентности, ср.: *ставит/стоит*). Очевидно, что объектный статив может быть только декаузативом, но не пассивом, тогда как собственно результативы могут иметь как пассивную, так и декаузативную диатезу. Поэтому сама постановка вопроса — «пассив или результатив?» — представляется в ряде случаев некорректной. Не случайно, видимо, что универсального набора критериев для данной оппозиции (в отличие от оппозиции «результат — перфект») в книге нет, а критерии, выдвигаемые для отдельных языков, дают иногда результаты, с которыми трудно согласиться. Так, Ю. П. Князев, ссылаясь на известное правило о несочетаемости русского пассива с деепричастным оборотом, приходит к выводу, что соответствующие конструкции от эмотивных глаголов нельзя считать пассивами, так как они допускают деепричастия, ср. (10) *она была бы глубоко оскорблена, догадавшись об этом* (с. 156). Но независимо от оценки степени стилистической корректности этого примера, в русском языке встречаются совершенно безупречные сочетания деепричастий с несомненными акциональными пассивами. Ср. (11) *Однажды странствуя среди долин дикой, / Незапно был объят я скорбью великой / И тяжким бременем подавлен и согбен...* (А. С. Пушкин, Сграницник), где наличие акционального наречия *незапно* и агентивных дополнений не оставляют сомнений в синтаксической интерпретации конструкции. Степень семантической близости перфекта и результата, видимо, связана

с типом последнего. Дальше всего от перфекта статов. Общезначительное значение собственно результатов (особенно обозначающих необратимое состояние) ближе к перфекту, чем конкретно-результативное; так, в примере (9) невозможно заменить «закрыт» на «ограблен».

Вряд ли оправдано то, что в монографии (особенно в ее теоретических главах) совершенно обойден вопрос о так называемом «перфектном» (фактически, результативном) употреблении имперфективных глагольных форм (см. [4], [5]). Имперфективные формы некоторых глаголов могут в одном из своих значений обозначать состояние, возникшее в результате действия, обозначаемого перфективными формами тех же глаголов ср. (14а) *туман окутал огород* — (14б) *туман окутывает город*. С одной стороны, формы типа (14б) во многих языках полностью подходят под данное в книге определение результата (с. 8—9). С другой стороны, свойства таких форм существенно отличаются от свойств «настоящих» результатов: в частности, форма, обозначающая состояние, обычно сохраняет исходную транзитивную диатезу, что для «настоящих» результатов крайне нетипично.

В целом разработанный в монографии концептуально-терминологический аппарат и степень единообразия его использования в описании конкретных языков заслуживают самой высокой оценки. Хотя категория результата начала изучаться только в самые последние годы [6; 7], после выхода данной книги результат можно смело причислять к явлениям, которые относительно хорошо и глубоко изучены в сравнительном плане, а это пока можно сказать лишь об очень немногих лингвистических феноменах. Существенно, что в отличие от предыдущих коллективных монографий ленинградских типологов, предметом которых были более «формальные» категории (каузатив, пассив), в рецензируемой книге анализируется явление, требующее учета необычайно сложных и трудноуловимых семантических параметров. В том, что это удалось сделать без всякого снижения требований к степени внутренней непротиворечивости и единообразия описаний, большая заслуга авторского коллектива и редактора книги. Это свидетельствует о том, что сравнительное изучение аспектологических проблем может быть с успехом проведено на материале широкого круга генетически, типологически и ареально разобщенных языков. Замечания, сделанные выше, никоим образом не ставят под сомнение доказательность основных положений работы. Они лишь призваны обратить внимание на некоторые из воп-

росов, заслуживающих дальнейшего обсуждения и изучения.

Несколько слов о мелких погрешностях. Помещение арабского и индонезийского в группу языков, где результатив совпадает с пассивом, представляется ошибочным. В обоих языках формы, выражающие результативное значение, отличаются от форм «чистого» акционального пассива как по составу, так и (частично) по диатезе. Тот факт, что объективный статов (точнее, одна из его форм) в фула малоупотребителен, вряд ли достаточное основание для утверждения того, что в нем статов образуется только от непереходных глаголов. Кроме того, в фула есть и посессивный статов (с. 239). Перечислять отдельные опечатки и неточности в перекрестных ссылках нет необходимости. Они немногочисленны и в целом не затрудняют чтение.

Результатив — одна из тех глагольных категорий, при изучении которых чисто аспектологическая проблематика тесно переплетается с целым рядом интенсивно исследуемых в последнее время категорий синтаксиса и семантики. Поэтому рецензируемая книга представляет интерес для лингвистов самых различных специальностей. Пользование книгой облегчают указатель языков и диалектов, предметный и именной указатели (составленные Ю. П. Князевым).

Козинский И. Ш.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Типология каузативных конструкций. Морфологический каузатив. Под ред. Холодовича А. А. Л., 1969.
2. Типология пассивных конструкций. Диатезы и залого. Под ред. Холодовича А. А. Л., 1974.
3. Холодович А. А. Залог. I: Определение. Исчисление.— В кн.: Холодович А. А. Проблемы грамматической теории. Л., 1979, с. 277—292.
4. Rodenbusch E. Prasentia in perfectischer Bedeutung.— Indogermanische Forschungen, 1911, Bd. 28, S. 256.
5. Луценко Н. А. О перфектной функции глагольных форм настоящего (на материале причастий современного русского языка).— ФН, 1983, № 5, с. 73—77.
6. Холодович А. А. Перфект — результатив.— В кн.: Холодович А. А. Проблемы грамматической теории. Л., 1979, с. 138—160.
7. Недялков В. П. Заметки о типологии результата (перфектив, результатив, перфект, пассив).— В кн.: Предложение и текст в семантическом аспекте. Калинин, 1980, с. 143—151.

До настоящего времени аустроазиатская языковая семья остается одной из самых малоизученных семей Старого Света. Что касается капитальных исследований, то, если исключить такие известные языки, как вьетнамский, кхмерский, монский, сантали, их количество вряд ли превысит два-три десятка. Подобный уровень изученности давно уже вступил в противоречие с тем комплексом проблем, которые аустроазиатские языки ставят как в плане общей лингвистической теории, так и в плане сравнительно-исторических исследований.

Тем важнее появление книги Я.-О. Свантессона «Фонология и морфология языка кхму». Кхму (камму) — аустроазиатский язык, насчитывающий более 300 тыс. говорящих. Подавляющее большинство из них концентрируется в северном Лаосе. Часть носителей языка проживает также в СРВ, Китае и Таиланде. В книге Я.-О. Свантессона рассматриваются вопросы фонологии, морфологии и морфонологии, затрагиваются также вопросы лексики, компаративистики и исторической фонологии. Таким образом, покрывается большая часть проблем, обычно освещаемых в грамматиках.

Кхму — бесписьменный язык. Как практически все аустроазиатские языки, он обладает чрезвычайно диалектным разнообразием. Отсутствие нормы или хотя бы диалекта, обладающего сильной престижностью, не позволяет считать описание «языка» в полной мере завершенным. Приблизиться к такому описанию можно было бы лишь при условии охвата абсолютно большей части говоров. В настоящее время аустроазиатское языкознание находится на таком уровне, что ни в одной из существующих ныне работ не делается попытки хотя бы отчасти достичь подобного идеала. Максимум, на что может рассчитывать дескриптивная работа по аустроазиатике — описание говора одной деревни с некоторыми параллелями из других диалектов и говоров. В этой связи к достоинствам работы можно отнести четкую локализацию описываемого говора и определение его места среди других говоров и диалектов кхму. Исследование ведется в основном в рамках говора р-на Банмо диалекта юан.

В работе придается большое значение «тональному» характеру диалекта юан. Необходимо хотя бы кратко затронуть этот вопрос, имеющий не столько принципиально-онтологическое, сколько терминологическое значение. Достаточно обоснованной казалась бы следующая система терминов применительно к встречающимся в аустроазиатских языках просодическим различиям. Степень участия голоса при произнесении гласных и включение дополнительных нертовых резонаторов целесообразно было бы называть типом фонации (или, сокращенно, просто фонацией). Различия основного тона по высоте можно назвать регистрами. Наконец, контурные модуляции основного тона следовало бы именовать

тонами. В аустроазиатских языках достаточно широко представлены все три подобных типа просодии. Характерным примером языков с различием фонаций являются тэдрах, седанг, суой. Регистры развились в таких языках, как рианг, кэхо. Наконец, собственно тоны отмечены во вьетнамском, мяонг, данау. При этом количество регистров в языке обязательно равно двум, а количество тонов обязательно больше двух (фонаций, как правило, две, но на этическом уровне может быть и три). Весьма распространен случай комбинации регистровых и фонационных различий в одной эмической единице. В этом случае, как правило, в языке отмечено противопоставление двух просодем: 1) голосовая фонация + высокий регистр, 2) придыхательная или ослабленная фонация + низкий регистр. Подобная ситуация породила тенденцию обозначать фонационные различия термином «регистры». Строго говоря, даже это неверно, так как есть аустроазиатские языки, где регистровые и фонационные различия существуют параллельно и не характеризуются взаимной импликацией. Таков язык ма. Это не единственный случай нестрогого употребления терминов, обозначающих просодические различия. Работы по аустроазиатским языкам изобилуют сочетаниями вроде «глотализованный тон», «придыхательный регистр» и т. п. Фактически здесь мы сталкиваемся с другим более обиходным пониманием термина «тон» — как синонимом термина «просодическое различие». Весьма интересна также проблема перевода подобных терминов с английского языка на русский и обратно. В существующей англоязычной литературе термины «phonation type» и «register» являются синонимами, их следует переводить на русский как «тип фонации (фонация)». Русский термин «регистр» соответствует в английском термину «pitch».

Описываемый диалект — типично регистровый (с. 15, 67). Поэтому использование автором термина «tone (тон)», а также постоянное подчеркивание «тонального» характера северных диалектов кхму и их «тональной» специфики в отличие от регистров и фонаций других аустроазиатских языков ведет к недоразумениям, так как приравнивает кхму юан к таким собственно тональным языкам, как, например, вьетнамский и китайский. Согласно традиционной точке зрения, наличие тонов считается необычным для аустроазиатских языков. Она имеет под собой определенные основания, так как число тональных аустроазиатских языков невелико, а тоны в них, судя по всему, начали возникать сравнительно недавно. В этом отношении аустроазиатские языки «уступают» соседним семьям — тайской и сино-тибетской. В связи с этим представляется неверным и упоминание о «тоногенезе» в северном кхму. В нем не было тоногенеза, а было обычное для аустроазиатских языков возникновение двух регистров, более

низкий из которых образовался после оглушения исконных звонких. В этом плане северные диалекты кхму не представляют никакой специфики, о чем можно было бы подумать, читая работу.

Сам автор определяет свое исследование в большей степени как эмпирическое, а не теоретическое (с. 126). Однако в настоящее время изучение специфической структуры аустроазиатских языков находится на этапе, требующем глубокого осмысления фактов наряду с их изложением. Здесь могли бы оказаться полезными не только глубокие теоретические разработки, но, прежде всего, создание эффективного терминологического аппарата, четкость и системный подход. В этом плане книга Я.-О. Свантессона имеет ряд существенных достоинств. Весьма плодотворным представляется введение термина «word-base» (с. 12 и 15—16), позволяющего адекватно описывать фонологические структуры не только языка кхму, но, и всех аустроазиатских языков Индокитая. В большинстве случаев подобное понятие необходимо для описания. В отличие от хорошо известных сино-тибетских и тайских языков с их моносиллабизмом, для описания которого достаточен термин «слог», аустроазиатские языки характеризуются иным типом структуры со специфическим различием сильного (major) и предшествующего ему слабого (minor) слогов (или силлаба и пресиллаба). Слабый слог подвержен гораздо большему ограничению, чем сильный. Сильный слог является основным. Пресиллаб как бы приписывается к нему, служит его дополнительной характеристикой, атрибутом. Такую ситуацию можно было бы охарактеризовать как расширенный моносиллабизм. У Я.-О. Свантессона с целью подчеркивания неравноправности пресиллабов word-bases, осложненные ими, названы полуторасиллабическими (sesquisyllabic). В этой связи невозможно описывать «слог вообще», целесообразно определять его место в более протяженном фонологическом единстве, которое имеет общие дистрибуционные ограничения и внутри которого реализуются регистровые правила. Это фонологическое единство и есть word-base. Судя по всему, наиболее адекватный перевод этого термина на русский язык — «фонологическое слово».

Несмотря на то, что автор пишет об использовании интуитивного понимания слова, представляется, что дефиниция «потенциального слова» (полная word-base или производное от нее при помощи словообразовательного оператора, с. 127) могла бы послужить определенной основой для строгого определения слова для языков этого ареала.

В книге имеется еще целый ряд изящных теоретических построений, верных решений, принятых на основании хорошего знания аустроазиатского материала, понимания его специфики. Таковы: положение о том, что префиксы и пресиллабы в кхму суть различные вещи и далеко не всегда совпадают материально (с. 35); идея рассмотрения редупликации как операции над корнем, а не как последова-

тельности сегментов (с. 80); свидетельство свободной вариантности, столь характерной для аустроазиатских языков и упорно игнорируемой в описаниях (например, с. 15). Много внимания уделено довольно интересному и важному для многих языков ареала ЮВА феномену — просодические различия (тоны, регистры, фонации) реализуются, в основном, на рифме, но определяются инициально. Решение видится автору в привлечении генеративной фонологии: непротиворечивое описание на глубинном уровне достигается заменой различия регистров на различие согласных инициалей по звонкости/глухости.

Основная задача книги Я.-О. Свантессона — описание. Оно выполнено всесторонне, исчерпывающе, подкреплено значительным корпусом примеров. Фонологически кхму юан предстает как типичный аустроазиатский язык: со специфическим рядом палатальных смычных, довольно развитой четырехугольной системой вокализма с тремя рядами, оппозицией по долготе у большинства гласных и дифтонгами верхнего подъема. Весьма типичны для аустроазиатских языков и дистрибуционные ограничения, например, диссимилятивные ограничения сочетаемости гласных переднего ряда с финальным /j/, а гласных заднего ряда с финальным /w/ в сильном слоге. Наряду с этим кхму юан обладает некоторыми специфическими особенностями. К ним относятся: дополнительное распределение финальных /ʔ/ и /ø/ в сильном слоге после монофтонгов, наличие низкого регистра после инициали /ʔ/, наличие хотя и редко встречающейся фонологической оппозиции регистра в пресиллабе. Интересно правило перехода дифференциального признака палатальности с шумного смычного сегмента на назальный при аффиксации.

Морфологический анализ кхму затрагивает вопросы аффиксации и редупликации. Таким образом, словосложение и использование служебных слов, вероятно, относятся автором к области синтаксиса. Морфологически кхму также весьма напоминает другие аустроазиатские языки Индокитая. Он характеризуется полным отсутствием суффиксов. Среди префиксов и инфиксов преобладают субстантивирующие, каузативные, взаимные, вербализующие. В материальном плане они родственны соответствующим аффиксам других аустроазиатских языков. Несколько более специфичны результативные префиксы, (переводящие каузативные глаголы в разряд некаузативных), а также адвербализующий префикс и префикс, обозначающий принадлежность к руке (handedness). Наиболее яркое своеобразие кхму проявляется в области просодических несегментных (регистровых) префиксов, а также в ассимиляции финали пресиллаба в зависимости от финали сильного слога при аффиксации. Последнее роднит язык кхму скорее с аустроазиатскими языками Малакки, чем с языками Индокитая. Интересно также то, что в кхму категория инволюнтатива выражается аналитически, а категория простого каузатива в основном синтетически.

В книге собран материал, показывающий особый характер некоторых морфологических явлений: расплывчатость значений аффиксальных элементов (с. 80, 113), окказиональность их употребления (с. 99, 122). В кхму, как и в родственных ему языках, эта тенденция настолько сильна, что подобным феноменам можно было бы придать не морфологический, а какой-либо иной статус, однако это потребовало бы серьезных теоретических обобщений. Тем не менее собранный материал настолько полон, что читатель сам вправе судить о необычности морфологических процессов в кхму. Примером может служить редупликация. В кхму представлены все типы полных и частичных повторений корня при морфологических процессах: с изменением инициалей, рифм, финалей, гласных. Измениться или остаться без изменения может любой отрезок корня, при этом изменения нерегулярны и в субстанциональном плане (с. 84, 90). Закономерен вывод, что повторы в большинстве случаев ложные.

Один из разделов книги посвящен частям речи (word-classes). Разбиение на классы фактически производится только на интуитивно-семантических основаниях. Попытки привлечь для этого синтаксические и иные формальные критерии служат лишь иллюстрацией, фрагментарны и, что самое главное, базируются на различных принципах по отношению к каждому классу и не образуют системы. Например, имена характеризуются как составляющие именной фразы (с. 73), а глаголы — как негационные (способные принимать отрицание) слова (с. 76). Практически отсутствуют попытки отделить знаменательные слова от служебных.

Все слова языка кхму разделены на три части речи: имена, глаголы и экспрессивы. Судя по всему, Я.-О. Свантессоном

впервые для аустроазиатских языков подмечено, что глагольные корни в принципе обладают значительно большей способностью присоединять аффиксы, чем именные. Также впервые экспрессивная лексика выделена в особый класс. Последнее обстоятельство может оказаться весьма плодотворным при дальнейшем изучении морфологических и сопредельных с ними проблем в аустроазиатике. Хотя четкой дефиниции специфики экспрессивов не дается, их можно определить через достаточно обширную совокупность фонологических, морфологических и семантических свойств. Выделено девять регулярных экспрессивов, выражающих: продолжительность действия, продолжительность действия для 1-го лица или предмета, продолжительность действия для многих лиц или предметов, процесс (изменение состояния), процесс для многих лиц или предметов, прерывистое действие, прерывистое действие для многих лиц или предметов (ведущее к этому же состоянию), состояние для многих лиц или предметов. Средствами выражения экспрессивной морфологии, как правило, служат комбинированные операторы из редупликаторов и аффиксов.

В целом книга Я.-О. Свантессона представляет собой самое полное (и во многих отношениях исчерпывающее) описание языка кхму на уровне слова. Для аустроазиатских языков Индокитая — это одна из первых работ, содержащая обширный статистический анализ и использующая материал словесных игр и поэзии. Рецензируемая работа должна вызвать интерес как у исследователей языков ЮВА, так и у всех лингвистов, занимающихся вопросами фонологии, морфологии и морфонологии.

*Ефимов А. Ю.*

## НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

### ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

10 января 1985 г. в Институте русского языка АН СССР состоялись шестнадцатые юбилейные чтения, посвященные 90-летию со дня рождения академика В. В. Виноградова. Во вступительном слове директор Института чл.-корр. АН СССР Ю. Н. Караулов отметил, что ежегодные Виноградовские чтения — дань глубочайшего уважения памяти выдающегося ученого, внесшего огромный вклад в развитие отечественного языкознания. С годами идеи В. В. Виноградова плодотворно развиваются и число его последователей не уменьшается, а растет. Непреходящее значение трудов В. В. Виноградова, подчеркнул Ю. Н. Караулов, состоит в том, что в них соединяются основные черты современной русистики, определяющие ведущие направления ее развития: историзм, социальность, системность и психологизм.

С личными воспоминаниями о В. В. Виноградове выступили Е. А. Земская, В. Г. Костомаров, Н. И. Толстой и Ю. В. Рождественский.

Е. А. Земская (Москва) рассказала о малоизвестном периоде деятельности В. В. Виноградова в 1941—1943 гг., о круге его интересов и исследований. И в эти тяжелые для всей страны годы академик В. В. Виноградов оставался патриотом советской науки. Он много и напряженно работает. Из-под его пера выходят работы «Стиль Пушкина», «Величие и мощь русского языка»; В. В. Виноградов начинает исследования по истории слов, по проблемам грамматики, синтаксиса и стилистики.

В. Г. Костомаров (Москва) поделится воспоминаниями о личных встречах и общении с В. В. Виноградовым. Докладчик отметил, что академику В. В. Виноградову как человеку и крупному ученому были свойственны самобытность, доброта и требовательность, постоянный интерес к людям и участие в их судьбе.

Н. И. Толстой (Москва) в воспоминаниях о своих студенческих годах подчеркнул, что общение с В. В. Виноградовым было удивительной школой. В. В. Виноградову всегда была свойственна принципиальность, честность, последовательность во взглядах.

В воспоминаниях Ю. В. Рождественского речь шла о приемах работы В. В. Виноградова, его этике, эстетике и философии. Для работ В. В. Виноградова характерно сочетание максимально полной осведомленности в проблеме и

конструктивность мысли, убежденность в ее правильности. Все работы ученого — единое целое, закономерно развитое, вытекающее одно из другого. Основой философии В. В. Виноградова является реализм в отношении к фактам и методам.

Вопросам отражения философского мировоззрения академика В. В. Виноградова в его научном творчестве был посвящен доклад А. П. Чудакова «О некоторых чертах философско-лингвистического мышления В. В. Виноградова». Наиболее полно философско-лингвистическое мировоззрение В. В. Виноградова проявилось в его интерпретации проблемы роли личности в развитии языка. Доминирующим в формировании литературных языков, по мнению В. В. Виноградова, было индивидуальное авторское влияние. Главная антиномия литературно-лингвистической теории В. В. Виноградова состоит в подходе к тексту как к явлению, порождаемому конкретной личностью, и в «проекционном» подходе, предполагающем существование некоторого набора текстов, отвлеченных от личности. Индивидуальное — общее были полюсами напряжения научной мысли В. В. Виноградова. Докладчик указал, что В. В. Виноградов рассматривал язык не как движение неких элементов в духе естественно-научных представлений, но как постоянное движение сферы духа и стремился в работах передать свое ощущение языка как одушевленной стихии. Наиболее яркой чертой мышления В. В. Виноградова был научный максимализм, проявлявшийся прежде всего в его отношении к двум главным составляющим исследования: полноте фактов и историзму. В заключение А. П. Чудаков подчеркнул, что научному стилю В. В. Виноградова была свойственна последовательность и внутренняя логика изложения, богатство идей, единство формы и содержания.

В докладах, прочитанных молодыми учеными, развивались идеи академика В. В. Виноградова в области лексической и грамматической семантики, синтаксиса предложения, морфологии, словообразования, теории художественной речи.

В докладе Н. К. Бонецкой (Москва) «Категория „образ автора“ в трудах В. В. Виноградова» постулировался тезис, согласно которому категория «образ автора», центральная для разработанной В. В. Виноградовым «науки о языке художественной литературы», оформляет главную филологическую интуицию ученого — направленность на индивидуали-

зированное бытие языка. Была прослежена история данной категории, проходящая на протяжении творческого пути Виноградова через стадии «лингвистическую», «стилистическую» и этап разработки «демиургического» образа автора. Изменение смысла, вкладываемого В. В. Виноградовым в центральное понятие созданной им дисциплины, обусловлено «борьбой» лингвистического и литературоведческого начал в его научном мышлении. Н. К. Бонедкая отметила выдающееся значение данной проблематики для филологической науки: скрытый пафос трудов В. В. Виноградова, выражающийся в тезисе «лик автора — во всем», направлен против овеществляющего подхода к художественному произведению.

В сообщении И. М. Богуславского (Москва) «Семантические валентности и строение сложного предложения» рассматривался вопрос о том, что происходит с простым предложением при включении его в состав сложноподчиненного в роли придаточного изъяснительного. Проанализировав значение частицы *даже* и способы заполнения ее валентностей, И. М. Богуславский показал, что при таком переходе изменяются семантические связи в предложении. В сферу действия анализируемой частицы *даже*, находящейся в придаточном предложении, попадает отрицание, расположенное в главном предложении. Автор продемонстрировал четыре класса контекстов, в которых наблюдается подобное явление.

В. И. Козырев (Мичуринск) в докладе «Предикативность безглагольного высказывания» отметил, что в работах В. В. Виноградова и в более поздних исследованиях вопрос о соотношении содержания предложения с действительностью рассматривается на уровне системы языка (в рамках теории предикативности). Логическим продолжением разработки данной проблематики является анализ актуализационных компонентов конкретных речевых единиц — высказываний (на основе учения об актуализационных признаках). В докладе были изложены результаты изучения актуализационных признаков безглагольных конструкций, к числу которых относятся безглагольные побудительные высказывания. (*Воды!*, *Сюда!*), являющиеся структурами самостоятельного типа, которые обнаруживают тесную связь с соответствующими глагольными конструкциями: Автор показал, что синтаксическая специфика объектного высказывания *Воды!* заключается в его подлинной безглагольности. Аналогичный принцип лежит в основе трактовки компаративных и локативных побудительных высказываний (типа *Скорее!*, *Сюда!* и т. п.). В системе актуализационного комплекса безглагольного побудительного высказывания иерархически доминирующими являются модальные ситуации, представляющие собой сложные семантические структуры, формируемые постоянными и переменными признаками. К числу постоянных относятся признаки потенциальности и побудительности. Побудительность реализуется в переменных признаках, определяемых содержанием и интенсивностью

побуждения. В. И. Козырев охарактеризовал также зависящие от модальных персональные, темпоральные и аспектуальные ситуации. В рамках актуализационного комплекса обнаруживаются постоянные и переменные комбинации актуализационных ситуаций. В число постоянных комбинаций входят персональные ситуации и ситуации временной локализованности. Для переменных ситуаций характерна вариативность. В заключение докладчик отметил, что актуализационные ситуации выражаются системой средств, относящихся к разным сторонам и уровням языка. Их исследование дополняется изучением структуры коммуникативного акта.

В докладе Н. К. Опиенко (Москва) «Субъектная перспектива каузативных конструкций» была рассмотрена проблема «точки зрения говорящего» применительно к традиционному объекту лингвистики — логическим обстоятельствам. Логические обстоятельства трактуются автором доклада как способы каузативного осложнения предложения, способы полипредикативизации модели. Логические обстоятельства обозначаются термином субстантивные каузативные синтаксемы. В докладе обосновывалось теоретическое положение, согласно которому субстантивные каузативные синтаксемы непосредственно связаны с точкой зрения говорящего, с его оценкой каузативной ситуации. Точка зрения говорящего определяет выбор конкретной версии причинности, т. е. конкретной каузативной синтаксемы для выражения познанных причинно-следственных отношений. Субстантивная каузативная синтаксема является средством углубления каузативной перспективы предложения. Н. К. Опиенко на конкретных примерах показала, что субъект познающий, субъект говорящий — это ступени, элементы в структуре художественного текста, через которые каузативная конструкция соотносится с высшей субъектной инстанцией — «образом автора».

В докладе Г. К. Касимовой (Москва) «Глаголы со значением информации и их субъектные связи» развивался тезис, согласно которому изучение больших лексических массивов и их разбиений, доходящих до минимальных подмножеств, открывает новые возможности для исследования лексических и синтаксических характеристик слов. Этот тезис был проиллюстрирован на классе русских глаголов со значением информации, расчлененном на частные группировки, введенные до конечных лексических рядов. Применительно к этим группам были показаны возможности субъектной детерминации всех предикативно функционирующих форм глаголов и выявлены типы их субъектной сочетаемости.

Н. Ю. Авиана (Москва) в докладе «Изучение словообразовательных гнезд в диахроническом аспекте» отметила, что выявление факторов, определяющих развитие словообразовательного гнезда, и установление закономерностей его движения являются важнейшими вопросами диахронической дериватологии. Эти проблемы были рассмотрены на материале

словообразовательного гнезда лексико-семантической группы названий животных. Докладчик показал на конкретном материале, что существенное влияние на эволюцию словообразовательного гнезда оказывают экстралингвистические факторы. Сложность структуры и степень формально-семантических изменений в словообразовательном гнезде зоонимов обусловлены значимостью животного в хозяйственной жизни. Поэтому развитие словообразовательного гнезда в пределах одной лексико-семантической группы слов происходит неодинаково. Всем словообразовательным гнездам присуще изменение, однако не всем из них свойственно развитие в направлении усложнения их структурной организации. Развитие словообразовательного гнезда подчинено воздействию и внутриязыковых факторов. Одним из них является взаимодействие словообразовательных типов, их конкурентная борьба. В заключение Н. Ю. Авица подчеркнула, что основной закономерностью развития словообразовательных гнезд является реализация тех словообразовательных потенций, которые обусловлены составом типовой словообразовательной парадигмы данной лексико-семантической группы.

В выступлении Е. Я. Шмелевой (Москва) «Эмоционально-оценочные компоненты значения мотивированных слов» рассматривались особенности семантики оценочных мотивированных слов и та информация, связанная с оценкой, которая должна включаться в толковые и толково-словообразовательные словари русского языка. Оценка в мотивированном слове может появляться вследствие одной из трех причин: 1) задаваться мотивирующим словом, например, *мазать* «плохо стрелять, не попадать в цель» — *мазла* «тот, кто плохо стреляет, все время промахивается». В этом случае в толковании производного слова оценку можно не указывать; 2) задаваться формантом, ср. слова на *-ак(а)*. В этом случае в толковании мотивированного слова оценку следует как-то пометать, хотя идиоматичности здесь нет; 3) не задаваться ни мотивирующим словом, ни формантом, т. е. слово является идиоматичным, например, *пособник* — «помощник в дурных, преступных действиях» содержит отрицательную оценку, хотя и мотивирующее слово *пособлять*, и суффикс *-ник* —

нейтральны. В докладе были рассмотрены проблемы, возникающие в связи с реализацией предложенной схемы, а также в связи с выявлением типа оценки мотивированного слова.

Проблеме дефектности словоизменятельной парадигмы, которой уделял большое внимание В. В. Виноградов, был посвящен доклад Е. В. Филяковой (Москва) «Дефектность глагольной парадигмы в русском языке». Автор предложила классификацию дефектности применительно к глагольной парадигме. В основе классификации лежит идея о существовании двух типов дефектности — системной и нормативной. Системная дефектность обусловлена системными свойствами парадигматических единиц. Она может быть разделена на несколько подтипов: 1) семантическая дефектность, обусловленная несоответствием «собственно значения» лексической единицы и номинативного значения грамматической единицы; 2) синтаксическая дефектность, обусловленная а) несоответствием между требованиями к синтаксическим связям у лексической и грамматической единиц, б) несоответствиями между требованиями к заполнению синтаксически связанных единиц. Нормативная дефектность делится на подтипы в соответствии с разными функциями нормы: 1) дефектность, предопределяемая выбором среди изофункциональных средств системы (может быть выбран один элемент, несколько или ни одного); 2) дефектность, обусловленная функцией накопления изменений, освоения «инноваций»; 3) дефектность, определяемая тем, что норма уравнивает различные части системы; 4) и, наконец, все случаи, которые не могут быть объяснены с чисто лингвистических позиций. Предложенная классификация не только позволяет единообразно описывать многообразные факты, но она также показывает, что дефектность — не случайное явление в языке, что она обусловлена как синхронными свойствами системы, так и законами развития языка.

Юбилейные чтения закончились прослушиванием магнитофонной записи выступления академика В. В. Виноградова.

Белоусова А. С., Филимонова М. Ю.  
(Москва)

3—5 декабря 1984 г. в Институте языкознания АН СССР состоялась Всесоюзная научная конференция, посвященная 100-летию со дня рождения академика Б. Я. Владимирцова. Она была организована Институтом языкознания и Институтом востоковедения АН СССР<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> К началу конференции были изданы тезисы запланированных докладов (М., 1984).

Оргкомитетом конференции руководил чл.-корр. АН СССР В. М. Солнцев.

В работе юбилейного научного форума активное участие приняли видные монгольские ученые: вице-президент АН МНР акад. Ш. Нацагдорж, акад. Ц. Дамдинсурэн и чл.-корр. АН МНР А. Лувсандэндэв. Открывая конференцию, зам. директора Института языкознания АН СССР Ю. С. Елисеев тепло приветствовал ее участников и почетного гостя — Ольгу Борисовну Макарову, дочь академика Б. Я. Владимирцова.

Проведение специальной научной конференции, на которой обсуждались актуальные проблемы различных отраслей современного монголоведения, явилось данью глубокого уважения памяти выдающегося советского востоковеда, его богатого научного наследия. Работа конференции проходила в двух секциях: 1) Филология; 2) История, археология и этнография. Было прослушано 62 доклада. На первом пленарном заседании состоялось 4 доклада. С. Д. Дылыков (Москва) в докладе «Б. Я. Владимирцов и его роль в развитии мирового монголоведения» отметил, что главная заслуга ученого в области языкознания состоит в сравнительно-генетическом исследовании монгольских языков. Б. Я. Владимирцов внес неоценимый вклад в изучение общественного строя монголов XII — начала XVIII в., экономической основы монгольского кочевого феодализма, роли Чингис-хана в монгольской истории. С одинаковой глубиной он исследовал литературу, фольклор и этнографию монгольских народов.

Чл.-корр. АН МНР А. Лувсандэндэв в докладе «Б. Я. Владимирцов и проблемы периодизации истории монгольского литературного языка» особо подчеркивает, что данная в свое время ученым лингвистическая и историческая характеристика периодов развития монгольского письменного языка в своей основе остается верной и сейчас. На основании анализа некоторых новых материалов автор предложил свою схему развития письменного-литературного языка монголов.

В докладе Н. З. Гаджиевой и акад. Б. А. Серебrenникова (Москва) «Критерии выделения алтайской общности» констатировалось, что попытки доказательства генетического родства алтайских языков наталкиваются на многие трудности и противоречия. Несмотря на большие сходства в области лексики, монгольские и тюркские языки, по их мнению, необычайно контрастны. Докладчики пришли к выводу о том, что установленные алтаистами морфологические параллели весьма сомнительны, а в области исторической фонетики генетическое родство алтайских языков осталось непоказанным. В то же время отмечалась гомогенность некоторых грамматических формативов и необходимость дальнейших исследований.

А. А. Дарбеева (Москва) в докладе «Б. Я. Владимирцов и проблема языковых контактов» рассмотрела контактно-обусловленные изменения в двух группах современных монгольских языков — письменных и бесписьменных. В калмыцком и бурятском языках, обладающих литературно-письменной формой и испытывающих большое влияние русского языка, происходит фонологизация отдельных аллофонов гласных и согласных, появляются новые дистрибуции звуков на почве прямых заимствований русских слов. Для бесписьменных монгольских языков, контактирующих с китайским и тибетским языками, характерны утрата некоторых конструктивно-дифференциальных признаков монголь-

ских фонем, нарушение гармонии гласных и т. д.

На заседаниях филологической секции было прочитано 38 докладов, в которых рассматривались разные аспекты изучения монгольских языков и диалектов, памятников письменности и фольклора, старой и современной литературы монгольских народов. Заседание секции открылось докладом зам. директора Калмыцкого НИИ ИФЭ (Элиста) П. Ц. Биткеева «Академик Б. Я. Владимирцов и историко-лингвистические исследования в монголистике», в котором обращалось внимание на то, что в трудах ученого были исследованы наиболее кардинальные проблемы сравнительно-исторической фонетики монгольских языков, в частности явления переломов гласных и механизм образования долгих гласных. Труды Б. Я. Владимирцова помогли определить место монгольских языков в семье алтайских языков, способствовали интенсивному росту отечественной монголистики.

Д. А. Павлов (Элиста) остановился на некоторых спорных вопросах грамматики и графики монгольских литературных языков. Он ратовал за то, чтобы в нормативных изданиях, особенно в учебных и научных грамматиках, излагались достаточно обоснованные и общепризнанные точки зрения. Л. Д. Шагдаров (Улаан-Удэ) на конкретных фактах показал, что становление современного бурятского литературного языка началось еще в графических рамках старописьменного мошольского языка, употреблявшегося в Бурятии до перехода на латинизированный алфавит. Это был во многом новый язык, основанный на синтезе старомонгольской письменности и разговорного бурятского языка.

Г. Ц. Пюрбеев (Москва) посвятил свой доклад фразеологии памятников монгольской феодальной права XVII—XVIII вв. «Их цааз» и «Халхаджурум». В этих законодательных сборниках содержится немало оригинальных фразеологизмов, относящихся к разным сферам быта и общественной жизни монголов. Они свидетельствуют о национально-языковой самобытности монгольских письменных памятников. М. Н. Орловская (Москва) рассказала об истории изучения интереснейшего памятника монгольской письменности догласнического периода — свободного перевода с китайского на монгольский язык сочинения Сяо-цзиня «Книга сыновнего почтения». Ценность этого памятника состоит в том, что это единственная печатная книга на уйгуро-монгольском алфавите XIII—XIV вв., сохранившаяся до наших дней. В. Э. Раднаев (Москва) остановился на истории дешифровки одного из первых дошедших до нас памятников уйгуро-монгольской письменности — надписи на стеле Исунке, выявив спорные моменты в чтении и переводе этого памятника XIII в. Н. О. Шакишинова (Иркутск) осветила некоторые вопросы изучения рукописных материалов выдающегося востоковеда XIX в. О. М. Ковалевского по языку, фольклору, литературе, истории, этнографии монгольских народов. Д. Г. Дамдинов

(Улан-Удэ) рассказал об истории изучения и дешифровки писаницы мангутской пещеры на р. Онон. Ш. Н а р а н ч и м э г (Москва) остановилась на роли старописьменного монгольского языка в создании новой монгольской терминологии.

Чл.-корр. АН СССР Э. Р. Т е н и ш е в (Москва) на большом, разнообразном материале показал образование центральноазиатского языкового союза, охватывающего группу различных языков от Прибайкалья до Гималаев, включая монгольские и тюркские языки, которые обладают такими общими признаками, которые могли развиваться лишь под внешним воздействием со стороны инструкторных языков, в частности китайского и тибетского. В. И. Р а с с а д и н (Улан-Удэ) представил результаты своих наблюдений над ролью заимствованных слов в формировании пластов специфической лексики в монгольских языках. Было отмечено, что тюркизмы, не имеющих параллелей в других монгольских языках, больше всего в калмыцком и бурятском. С. С. Х а р ь к о в а (Элиста) сообщила о некоторых критериях выявления тюркизмов в монгольских языках. Н. Б. Б а д г а е в (Элиста) изложил свои наблюдения над происхождением свистящих аффрикат в монгольских языках с позиции ареальной лингвистики. И. В. К о р м у ш и н (Москва) поделился результатами своих изысканий в области реконструкции общемонгольской системы времён. В частности, в докладе речь шла о структурно-морфологических аспектах реконструкции общемонгольского претерита (<перфекта) на *-а*.

Ц. Б. Б у д а е в (Улан-Удэ) на основе изучения различных источников, прежде всего записей бурятской речи XVII—XIX вв., выделил три основных периода развития бурятских диалектов и их лексики: общемонгольский, период после присоединения Бурятии к России и советский период. Э. Ч. Б а р д а е в (Элиста) проанализировал названия птиц, общие для монгольских языков и имеющие параллели в тюркских и некоторых тунгусо-маньчжурских языках. Л. В. Ш у л у н о в а (Улан-Удэ) выявила лексическую и грамматическую структуру бурятских топонимов Предбайкалья, среди которых бытуют географические названия с палеоазиатской, тюркской, монгольской, бурятской и русской языковыми основами. О семантике бурятских топонимов *Боргой, Джида* и *Няки* сообщила Л. Б. Б а д м а е в а (Улан-Удэ). Г. С. Б и т к е е в а (Элиста) выступила с докладом об особенностях состава калмыцких женских имен, их социальной сущности.

Е. А. К у з ь м е н к о в (Ленинград), раскрывая статус служебного слова в монгольском языке, констатировал, что сумма признаков: «не член предложения» + «регулярность» может рассматриваться как достаточный признак служебного слова. Было признано, что служебные слова и аффиксы имеют изоморфную дистрибуцию, а различия между аналитическими и синтетическими формами не качественные, а количественные. Э. В. Ш е в е р н и н а (Москва), выявив

внутрипарадигматические признаки форм желательного наклонения монгольского языка и определив его инвариантное модальное значение, пришла к заключению о неправомерности объединения всех выделяемых форм в одно наклонение. Э. У. О м а к а е в а (Элиста) в своем докладе обратила внимание на то, что при установлении грамматических признаков подлежащего в монгольском языке, которое может быть маркированным и немаркированным, помимо морфологической формы выражения подлежащего, должно учитываться функционирование его в составе предложения. Н. С. Я х о н т о в а (Ленинград) выявила особенности перфекта в монгольском языке, состоящего из причастия прошедшего времени на *-сан* основного глагола и связки *байх*, в сопоставлении с соответствующей формой в английском языке. С. Л. Ч а р е к о в (Ленинград) изложил результаты своих наблюдений над развитием суффиксов *-тай* и *-ын* в бурятском языке от конкретного значения падежного аффикса к абстрактно-грамматическому значению прилагательных.

Специальное заседание секции было посвящено обсуждению дискуссионных проблем, затронутых в ряде докладов и сообщений. Подводя итоги работы филологической секции, Г. Ц. П ю р б е е в подчеркнул, что тематика докладов была достаточно разнообразной, актуальной в теоретическом и практическом отношениях. Основное внимание уделялось малозученным аспектам монголоведной филологии. Среди языковедческих докладов заметно выделялась группа докладов, в которых с учетом фонетических, лексических и грамматических данных обсуждалась проблема тюрко-монгольской и шире — алтайской языковой общности. Были проанализированы характер языковых контактов, конкретные виды двуязычия и специфика регионального развития монгольских языков. В ряде докладов рассматривались такие дискуссионные вопросы грамматики монгольских языков, как, например, критерии выделения частей речи, статус служебных слов, категории вида и наклонения, соотношение и роль отдельных форм времени, периодизация истории монгольских языков. Значительное внимание привлекли проблемы языка памятников старомонгольской письменности, лингвистические и социальные аспекты ономастики, вопросы совершенствования графики и т. д. На заключительном пленарном заседании был зачитан доклад акад. АН МНР Ц. Д а м д и н с у р э н а о развитии гласных в монгольском языке. Перед участниками конференции выступила О. Б. М а к а р о в а, которая поделилась своими воспоминаниями об отце — Б. Я. Владимирове как ученом и человеке.

Юбилейная научная конференция являлась крупным событием в развитии монголоведения, она продемонстрировала возросший уровень советской монголистики, дифференциацию которой на ряд самостоятельных научных дисциплин способствовали фундаментальные исследования акад. Б. Я. Владимирова. Круг

обсуждавшихся на конференции проблем был весьма широким. В докладах наряду с теоретическими обобщениями представлены новые материалы, использована современная методика лингвистического анализа. В определенной части докладов нашли отражение результаты работы совместных советско-монгольских экспедиций, что свидетельствует о расширяющихся научных связях филологов СССР и МНР. Конференция признала необходимым: 1) ускорить издание тру-

дов акад. Б. Я. Владимирцова в 4-х томах; 2) издать материалы конференции; 3) возобновить публикацию серии памятников фольклора монгольских народов и наиболее значительных памятников письменности; 4) проводить всесоюзные монголоведные конференции с регулярностью один раз в 2—3 года.

*Шагдаров Л. Д. (Улан-Удэ), Пюрбе-ев Г. Ц. (Москва)*

В Московском ордена Дружбы народов государственном педагогическом институте иностранных языков имени Мориса Тореза 12—13 декабря 1984 г. была проведена Всесоюзная научная конференция «Коммуникативные единицы языка», на которой были представлены 115 вузов из 60 городов 15 союзных республик, Институт языкознания АН СССР, ряд научно-исследовательских институтов и издательств, а также редакции ведущих лингвистических журналов. Среди участников конференции, кроме советских лингвистов, были также представители ВНР, ГДР, КНДР, НРБ. Работа конференции проходила на двух пленарных заседаниях и пяти секциях. Было прослушано 58 докладов и 54 сообщения.

В приветствии участникам конференции ректор МГПИИЯ им. Мориса Тореза М. К. Б о р о д у л и н а отметила, что в настоящее время, характеризующееся обострением идеологической борьбы, коммуникативная лингвистика, в свете которой язык предстает как форма социальной деятельности, приобретает особую актуальность.

Во вступительном слове директор Института языкознания акад. Г. В. С т е п а н о в (Москва) подчеркнул, что одной из основных черт современного языкознания является учет человеческого фактора, при котором объектом анализа становятся люди — участники акта коммуникации. В результате такого подхода проблемы семантики соединяются с проблемами языка и культуры. Это обуславливает широту решаемых лингвистикой проблем, отраженных в программе конференции. Тема конференции, сказал Г. В. Степанов, является особо актуальной в связи с необходимостью дальнейшего усовершенствования преподавания иностранных языков, которое должно исходить из текста как высшей коммуникативной единицы.

Ряд докладов был посвящен кардинальным проблемам коммуникативной лингвистики. И. А. Х а б а р о в (Москва) в докладе «Методологические основы коммуникативной лингвистики» выдвинул следующие основные положения: а) о наличии двух типов единиц языковой коммуникации — строевых, или микроединиц, существующих в границах языка и функционирующих в пределах языкового мак-

роколлектива, и собственно коммуникативных, или микроединиц, обнаруживающихся в границах тех языковых коллективов, в общении которых они воспроизводятся или оформляются; б) о несостоятельности дихотомий язык/речь, синхрония/диахрония; в) о важности процесса коммуникации для изучения микроединиц языка, которые с точки зрения их исторической преемственности в культуре, способов использования и интерпретации составляют предмет филологии, а с точки зрения структуры коммуникации и материала знаков — предмет семиотики.

В докладе И. П. С у с о в а (Калинин) «Проблемы языкового общения, его единиц и правил» была рассмотрена коммуникативно-прагматическая модель лингвистики, ориентирующаяся на языковое общение как специфическую деятельность. Одной из актуальных проблем прагматической лингвистики является исследование комбинаторики коммуникативных функций, а также трех единиц деятельности общения: речевого действия, блока речевых действий и речевого события. Их изучение предполагает учет как внутрисистемных, так и внешних — психических, интерперсональных, социокультурных — факторов, управляющих процессом развертывания речевого события и его частей.

Совместный доклад А. М. Ш а х н а р о в и ч а и В. И. Г о л о д а (Москва) «Когнитивные и коммуникативные компоненты речевого общения: психолингвистический аспект» был посвящен анализу механизмов речепорождения и речевосприятия, являющихся внутренними компонентами речевого общения.

Е. В. Т а р а с о в (Москва) в докладе «Деятельность, общение, речь (к формированию деятельностной концепции речи)» обратился к анализу методологической основы деятельностной концепции речи, в соответствии с которой как речевое общение, так и сама речь могут быть адекватно описаны только в структуре неречевого взаимодействия, организованного в процессе речевого общения.

М. Я. Б л о х (Москва) выступил с докладом «Проблемы основной единицы текста», в котором на базе принципа парадигматики предложил различать две основные единицы текста: предложение, являющееся предельной единицей, и диктету — непосредственное звено пере-

хода от предложения к целому тексту. В диктете проявляются четыре важнейших функционально-языковых аспекта речи: номинация, предикация, тематизация и стилизация. Лишь совместное выявление компонентов выражения, относящихся к каждому из отмеченных аспектов речи, реализует полноценный текст как продукт отражательно-мыслительной деятельности человека.

В докладе С. К. Ф о л о м к н о й (Москва) «Статус текста в процессе овладения иностранным языком» было отмечено, что признание текста в качестве основной коммуникативной единицы дает основание трактовать практические цели обучения иностранному языку как приобретение учащимися умения (умений) создавать и понимать тексты, номенклатура типов которых различна для разных категорий учащихся.

Э. М. Е д н и к о в а (Москва) посвятила свой доклад «Прагматика и семантика коммуникативных единиц» прагматическому аспекту лингвистических исследований.

В докладе «Национально-культурный аспект коммуникативных единиц языка» А. Д. Р а й х ш т е й н (Москва) обратился к анализу художественных текстов, выступающих одновременно в трех основных качествах, — как источник объективной, идейно-художественной и собственно языковой информации. Соответственно все отрезки художественного текста обладают тремя автономными видами национально-культурной значимости — общекультурной, текстовой и языковой. Макроконтекст является основным фактором формирования окончательной имплицитной национально-специфической информации входящих в него коммуникативных единиц.

Доклад Е. С. К у б р я к о в о й (Москва) «Коммуникативная лингвистика и проблемы семантики» был посвящен определению места, которое занимает языковое значение в процессах коммуникации и речевой деятельности. Коммуникативный подход к проблемам семантики ставит в новом свете вопрос об определении значений языковых выражений, связывая феномен значения по крайней мере со следующими величинами — предметным миром, всей предметной и когнитивной деятельностью человека, условиями речевого общения, а также с особенностями существования и фиксации данного значения в конкретной языковой системе и с реализующими его формами.

В докладе «Коммуникативная функция языка и коммуникативно-функциональные грамматики» Ю. М. С к р е б н е в (Горький) раскрыл неправомочность смещения понятия коммуникативности как виртуального свойства языка и его единиц с понятием коммуникативности как материальной выраженности. Задача коммуникативно-грамматических описаний заключается в установлении формальных средств осуществления актов сообщения.

Ряд докладов и сообщений был посвящен общим проблемам коммуникативной лингвистики. В. И. К о м и с с а р о в (Москва) в докладе «Коммуникативная

функция языкового знака» подчеркнул, что все основные аспекты содержания высказывания возникают и осознаются через отбор и интерпретацию определенной конфигурации языковых знаков. Коммуникативная функция языка реализуется прежде всего потому, что он состоит из единиц, способных репрезентировать и передавать «кирпичики смысла». В. В. Б о г д а н о в (Ленинград) в докладе «Компоненты перформативного высказывания в коммуникативном фокусе» обратился к анализу особенностей перформативных высказываний и раскрыл, каким образом перестановка коммуникативных акцентов может перевести перформативные высказывания в класс высказываний иного типа. М. В. Н и к и т и н (Ленинград) в докладе «Имплицитные значения в структуре вербальной коммуникации» показал, что имплицитные значения существуют на базе эксплицитных значений и производны от них посредством импликации, моделирования или компрессии. В совместном докладе Г. И. С к е п с к о й п. Е. Б. А н т о н о в о й (Москва) «Аргументирующая функция коммуникации» речь шла о том, что каждый язык имеет свои концептуальные схемы, в основе которых лежат правила логических формул и способы их реализации. Эти способы связаны, в первую очередь, с действием операторов, переводящих систему логических отношений в систему отношений синтаксических. Коммуникативная грамматика должна прежде всего быть грамматикой концептуальной. В. Н. Т е л я н (Москва) в докладе «Коннотативный аспект семантики языковых существительных и ее роль в формировании смысла предложения» предложила интерпретацию коннотации как не выражаемой формально информации о коммуникативных намерениях говорящего. Г. Г. П о ч е п ц о в (Киев) в докладе «Фактор слушателя» показал, каким образом присутствие/отсутствие 3-го лица, находящегося в пределах приема сообщения, влияет на самый акт коммуникации и на характер продуцируемого сообщения. В докладе В. Д. Д е в к и н а (Москва) «Типология метакоммуникативных высказываний разговорной речи» была рассмотрена типология высказываний данного типа, которая представляется многомерной и расчлененной в зависимости от следующих факторов: степени обязательности и специализированности, функционального назначения, адресованности, взаимодействия ролей коммуникантов, синтаксической и интонационной структуры, стилистических, этических и эстетических регистров, тематико-жанровой принадлежности и др. Доклад С. И. К а н о н и ч (Москва) «Коммуникативная стратегия адресанта в деятельности аспекте» был посвящен анализу речевого поведения адресанта, направленного на успешную реализацию контакта. Н. И. Ф о р м а н о в с к а я (Москва) выступила с докладом «Коммуникативные единицы речевого этикета как перформативные высказывания», в котором был проведен всесторонний анализ единиц речевого этикета.

Значительное количество докладов и

сообщений было также посвящено следующим проблемам: текст как коммуникативная единица, коммуникативные единицы как компоненты текста, стилистический аспект коммуникации, коммуникативная лингвистика и методика.

В рекомендациях конференции было отмечено, что прослушанные доклады и сообщения позволяют судить о широком спектре обсуждаемых вопросов. Дискуссионный характер многих из них, таких, как статус коммуникативных единиц, критерии их определения, используемая терминология, остался не решенным до конца, что указывает на необходимость проведения дальнейших исследований и обсуждений. Вместе с тем необходимо отметить, что по основным положениям теории речевой деятельности,

разрабатываемой в советском языкознании, существует единство взглядов. К таким положениям относятся: необходимость рассмотрения наряду с системной организацией языка его динамических коммуникативных свойств, понимание текста как продукта речевой деятельности, признание существования коммуникативных единиц наряду со строевыми единицами, учет коммуникативного аспекта в методике преподавания иностранного языка.

Тезисы докладов опубликованы в сборнике «Всесоюзная научная конференция „Коммуникативные единицы языка“. Тезисы докладов» (М., 1984).

*Сателъ М. Э.* (Москва)

2—4 апреля 1984 г. в Ленинграде состоялся III симпозиум по лингвистическим проблемам искусственного интеллекта (ИИ). Он был организован секцией инженерной лингвистики Ленинградского областного правления научно-технического общества радиотехники, электроники и связи им. А. С. Попова совместно с общесоюзной инициативной группой «Статистика речи». В работе симпозиума участвовало более 150 лингвистов, инженеров-программистов, психологов, математиков, кибернетиков Ленинграда, Москвы, Киева, Минска, Горького, Харькова, Тарту, Кишинева, Тбилиси, Еревана и других городов — ученых вузов, союзных и республиканских академий наук, отраслевых НИИ, представителей предприятий и организаций.

Основная задача симпозиума заключалась в организационной и научной координации работ по применению инженерно-лингвистических идей и методов в создании лингвистических автоматов-роботов на пути построения систем ИИ. Открывая совещание, И. М. Алексеев в оставшийся на практических достижениях в построении лингвистических автоматов, обеспечивающих понимание и устойчивую переработку естественного языка.

Работа симпозиума развернулась вокруг обсуждения таких актуальных проблем ИИ, как проблема общения между человеком и ЭВМ на естественном языке, формирование однозначных синтаксических, семантических и прагматических сведений в системе, служащей обеспечению взаимопонимания участников диалога. Обсуждались также вопросы научно-теоретической стратегии при построении лингвистических автоматов.

В докладе Р. Г. Пятровского «Человечко-машинный диалог и его информационно-семантические аспекты» было подчеркнута своеобразие настоящего момента в истории автоматической пере-

работки текста. С одной стороны — ясное осознание бесперспективности «бумажного» машинного перевода и других видов переработки текстов на ЭВМ, не ориентированных на практическое использование; с другой стороны — пословно-пооборотный перевод с последующим редактированием машинных результатов на дисплее, функционирующий в промышленных системах ЛГПИ им. А. И. Герцена и Чимкентского педагогического и химико-технологического институтов, хотя и внес весомый вклад в развитие переводческого обслуживания специалистов, имеет небольшие лингвистические перспективы с точки зрения улучшения его качества. Усовершенствование этих систем должно осуществляться в эргономическом русле. В то же время нельзя прекращать работ в области лингвистических аспектов искусственного интеллекта, представляющих собой первостепенный интерес для робототехники.

В коллективном докладе Р. Г. Котова, А. И. Новикова и др. «Лингвистические и экстралингвистические вопросы порождения и восприятия сообщения» рассматривалась структура сообщений в актах коммуникации между человеком и ЭВМ.

Проблеме классификации знаний в системах ИИ, а также объекту лингвистики и месту лингвиста был посвящен доклад А. С. Герда. В докладе была высказана мысль о необходимости четкого определения объекта лингвистики среди других объектов ИИ и разработки собственно лингвистической теории.

Проблеме представлений знаний, а именно способу их извлечения, описания и организации в памяти ЭВМ было посвящено большинство докладов. В докладе Е. А. Шингаревой «Смысловая автоматическая обработка текста в системе реферирования» обсуждались вопросы распознавания и представления смысла текста с помощью фреймов. Модель распознавания смысла с позиций данного

подхода была реализована А. А. С е р е б р я к о в ы м с помощью аппарата формальных грамматик и семантических матриц. Л. И. Б е л я е в а в своем докладе «Лингвистическая информационная база как модель памяти в системах ИИ» рассматривала модель деятельности синхронного переводчика как аналог для системы МП (автор выделяет семиотическую модель перевода и структурную модель памяти как базу знаний). А. В. З у б о в изложил способ порождения текста заданного содержания с использованием специально разработанной энциклопедической информации и вероятностно-детерминированных связей между абзацами текста. В. И. Г о р ь к о в а в своем докладе «Указатели связей лексических единиц в текстах на естественном языке» предложила аппарат определения семантических связей посредством использования служебной лексики и предикатов.

Указанные проблемы обсуждались и на секционных заседаниях. На первой секции — «Семантно-информационные и лингвистические аспекты ИИ» — рассматривались вопросы универсальной статистической структуры текста, а также возможности формализации семантики и синтаксиса естественного языка, способы устранения многозначности языковых единиц. Особое внимание было уделено формам и способам представления энциклопедических и лингвистических знаний в памяти ЭВМ. Т. Р о о с м а и М. С а л у в е э р остановились на трудностях фреймового метода моделирования знаний, заключающихся в отсутствии четкого представления о внутренней структуре фрейма. На второй секции — «Базы данных систем ИИ» — рассматривались проблемы организации лингвистических и попятинных знаний. Было предложено значительное количество

реализованных лингвистических процессоров. Распирению лингвистических возможностей функционирования интеллектуальных систем был посвящен доклад коллектива разработчиков Института радиоэлектроники г. Харькова. На третьей секции — «Человеко-машинные диалоговые системы» — рассматривались вопросы, связанные с процессом общения между человеком и ЭВМ в форме диалога. Было сообщено о диалоговой системе, позволяющей параллельно строить базу данных, словарь и процедуру для распознавания вопросов в информационно-справочном режиме (Н. П. Ч е м е р н е и Н. Т. Ш у л я к), а также предложен математический аппарат принятия решений в интерактивных процедурах на основе матриц перебора вариантов (В. И. В о л к о в а, А. И. Л е о н о в а). Проблеме общения с ЭВМ не только на естественном языке, но и с помощью других средств, а именно, рисунков и чертежей, был посвящен доклад Ю. Г. К а р д а ш е в с к о и и Г. О. Ч у л к о в а. Разработка системы извлечения информации из графических изображений строится на достижениях лингвистической семантики и шпильерной лингвистики.

Закрывая симпозиум, Р. Г. П и о т р о в с к и и отметили, что установившаяся тесная связь между разработчиками систем ИИ и потребителями этих систем способствует практической целенаправленности исследований лингвистических аспектов ИИ, которые, как показали доклады, выходят за привычные рамки автоматической переработки текста, проникая в такие казалось бы далекие от АИТ области, как разработка автоматических графическопечателей.

*Сабчикова Г. В. (Чимбент),  
Кочугина И. И. (Ленинград)*

## CONTENTS

**Articles:** Trubačev O. N. (Moscow). Linguistics and the ethnogenesis of the Slavs; Sveicer A. D. Sociolinguistic foundations of translation-theory; **Discussions:** Kononenko V. I. (Kiev). The use of the Russian language in the Ukraine; Vaxtin N. B. (Leningrad). Some features of Russian-Aleut bilingualism in the Komandore islands; Jul'magomedov A. G. (Makhachkala). The role of the Russian language in activating some processes in the Lesguinian literary language; Repina T. A. (Leningrad). Linguistic aspects of literary text study in Sismarev's works; Beregovskaja E. M. (Smolensk). The study of zeugma as a rhetoric figure; **Materials and notes:** Volkov S. S. (Leningrad). Historical dictionaries of literary and regional Russian as a base for historical lexicology of the Russian language; Kutina L. L. (Leningrad). Elements of etymological analysis of foreign words in a historical dictionary; Sudakov G. V. (Vologda). The use of lexical dialectisms in the language of the Moscovite Russia; Xolodov N. N. (Ivanovo). The problem of analogic and non-analogic relations in syntax; Logacheva E. P. (Pskov). On the prototype of grammatical terminology in Aristotle's «Organon»; Bitykeev P. C. (Elista). The length of vowels in the phonological system of the Oïrot language; **Reviews; Scientific life.**

## SOMMAIRE

**Articles:** Trubačev O. N. (Moscou). Linguistique et ethnogenèse des slaves; Sveicer A. D. (Moscou). Principes sociolinguistiques de la théorie de traduction; **Discussions:** Kononenko V. I. (Kiev). L'emploi de la langue russe en Ukraine; Vaxtin N. B. (Leningrad). Quelques caractéristiques de la bilinguisme russe-aleute aux îles comandores; Jul'magomedov A. G. (Makhachkala). Le rôle de la langue russe dans l'activation de quelques processus de la langue littéraire lesguinienne; Repina T. A. (Leningrad). Aspects linguistiques de l'étude des textes littéraires dans l'oeuvre de Sismarev; Beregovskaja E. M. (Smolensk). L'étude de zeugma en tant que figure rhétorique; **Matériaux et notices:** Volkov S. S. (Leningrad). Dictionnaires historiques de langue littéraire et de dialectes régionaux en tant que base pour lexicologie historique du russe; Kutina L. L. (Leningrad). Eléments de l'analyse étymologique des mots étrangers dans les dictionnaires historiques; Sudakov G. V. (Vologda). L'emploi des dialectismes lexiques dans la langue de la Russie moscovite; Xolodov N. N. (Ivanovo). Problèmes des rapports analogiques et non-analogiques dans la syntaxe; Logacheva E. P. (Pskov). Le prototype de terminologie grammaticale dans «L'Organon» de Aristote; Bitykeev P. C. (Elista). La longueur des voyelles dans le système phonologique de la langue oïrotienne: **Comptes rendus; Vie scientifique.**

Технический редактор Радина Т. И.

---

Сдано в набор 28.06.85      Подписано к печати 16.08.85      Т-16725      Формат бумаги 70×108<sup>1/16</sup>  
Высокая печать      Усл. печ. л. 12,6      Усл. кр.-отт. 73,6 тыс.      Уч.-изд. л. 15,9      Бум. л. 4,5  
Тираж 5758 экз.      Зак. 1544

---

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Наука»,  
103717 ГСП, Москва, К-62, Подсосенский пер., 21  
2-я типография издательства «Наука», 121099, Москва, Шубинский пер., 6